ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ

СЕРИЯ:

ЛИНГВИСТИКА

2018 Том 22 № 2

Научный журнал
Издается с 1997 г.

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) **Свидетельство о регистрации** ПИ № ФС 77-61212 от 30.03.2015 г. **Учредитель:** Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»

RUSSIAN JOURNAL OF LINGUISTICS

2018 Volume 22 No. 2

Founded in 1997
by the Peoples' Friendship University of Russia

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2

ISSN 2312-9182 e-ISSN 2312-9212

4 выпуска в год.
Языки: русский, английский.
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ.
Включен в каталог периодических изданий Scopus, Web of Science Core Collection (ESCI), DOAJ, Ульрих (Ulrich's Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com).
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals Library Cyberleninka, Google Scholar,WorldCat.
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать: 36436.

Цели и тематика

Журнал Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика — периодическое международное рецензируемое научное издание в области междисциплинарных лингвистических исследований. Журнал является международным как по составу редакционной коллегии и экспертного совета, так и по авторам и тематике публикаций.

Цели журнала:

- способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными лингвистами, а также специалистами смежных областей;
- знакомить читателей с новейшими направлениями и теориями в области лингвистических исследований, разрабатываемых как в России, так и за рубежом, и их практическим применением;
- публиковать результаты оригинальных научных исследований по широкому кругу актуальных лингвистических проблем междисциплинарного характера, касающихся языка, культуры, сознания и коммуникации;
- освещать научную деятельность как российского, так и международного научного сообщества.

Будучи международным по своей направленности, журнал нацелен на обсуждение теоретических и практических вопросов, касающихся взаимодействия культуры, языка и коммуникации. Особый акцент делается на междисциплинарные исследования. Основные рубрики журнала: *язык и культура, сопоставительное языкознание, социолингвистика, психолингвистика, когнитивная лингвистика, прагматика, анализ дискурса, межкультурная коммуникация, теория и практика перевода*. Кроме научных статей публикуется хроника научной жизни, включающая рецензии, научные обзоры, информацию о конференциях, научных проектах.

Перечень отраслей науки и групп специальностей научных работников в соответствии с номенклатурой ВАК РФ: Отрасль науки: 10.00.00 — филологические науки; Специальности научных работников: 10.02.01 — русский язык, 10.02.04 — германские языки, 10.02.05 — романские языки, 10.02.19 — теория языка, 10.02.20 — сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, сформулированных в документе *COPE* (*Committee on Publication Ethics*) **http://publicationethics.org**.

Правила оформления статей, архив и дополнительная информация размещены на сайте: **http://journals.rudn.ru/linguistics**.

Электронный адрес: **lingj@rudn.university**.

---

4 issues per year
Languages: Russian, English.
Indexed/abstracted in Scopus, Web of Science Core Collection (ESCI), DOAJ, Ulrich's Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com, Electronic Journals Library Cyberleninka, Google Scholar, WorldCat.

Aims and Scope

The Russian Journal of Linguistics is a peer-reviewed international academic journal publishing research in Linguistics and related fields. It is international with regard to its editorial board, contributing authors and thematic foci of the publications.

The aims of the journal:

- to promote scholarly exchange and cooperation among Russian and international linguists and specialists in related areas of investigation;
- to disseminate theoretically grounded research and advance knowledge pertaining to the field of Linguistics developed both in Russia and abroad;
- to publish results of original research on a broad range of interdisciplinary issues relating to language, culture, cognition and communication;
- to cover scholarly activities of the Russian and international academia.

As a Russian journal with international character, it aims at discussing relevant intercultural/linguistic themes and exploring general implications of intercultural issues in human interaction in an interdisciplinary perspective. The most common topics include *language and culture, comparative linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics, cognitive linguistics, pragmatics, discourse analysis, intercultural communication, and theory and practice of translation*. In addition to research articles, the journal welcomes book reviews, literature overviews, conference reports and research project announcements.

The Journal is published in accordance with the policies of *COPE* (*Committee on Publication Ethics*) **http://publicationethics.org**.

The editors are open to thematic issue initiatives with guest editors.

Further information regarding notes for contributors, subscription, open access and back volumes is available at **http://journals.rudn.ru/linguistics**.

E-mail: lingj@rudn.university.

Подписано в печать 10.05.2018. Выход в свет 24.05.2018. Формат 70×100/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Times New Roman».
Усл. печ. л. 31,62. Тираж 500 экз. Заказ № 453. Цена свободная.
Отпечатано в типографии ИПК РУДН: 115419, Москва, Россия, ул. Орджоникидзе, 3

Printed at the RUDN Publishing House: 3, Ordzhonikidze str., 115419 Moscow, Russia,
+7 (495) 952-04-41; E-mail: ipk@rudn.university

© Российский университет дружбы народов, 2018

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Т.В. Ларина, РУДН, Россия. E-mail: larina_tv@rudn.university

ПОЧЕТНЫЙ РЕДАКТОР
Иштван Кечкеш, Университет Штата Нью-Йорк, Олбани, США. E-mail: ikecskes@albany.edu

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
А.С. Борисова, РУДН, Россия. E-mail: borisova_as@rudn.university

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ
Альба-Хуэс Лаура, Национальный университет дистанционного образования UNED (Мадрид, Испания)
Биби Стивен А., Университет штата Техас (Сан Маркос, США)
Богданова Людмила Ивановна, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия)
Гусман Тирадо Рафаэль, Гранадский университет (Гранада, Испания)
Деваеле Жан-Марк, Лондонский университет (Лондон, Великобритания)
Дементьев Вадим Викторович, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Саратов, Россия)
Еленевская Мария, Технион — Израильский политехнический институт (Хайфа, Израиль)
Еслами Зохрэ, Техасский университет A&M в Катаре (Доха, Катар / Техас, США)
Жельвис Владимир Ильич, Ярославский государственный педагогический университет (Ярославль, Россия)
Зализняк Анна Андреевна, Институт языкознания РАН (Москва, Россия)
Иванова Светлана Викторовна, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина (Санкт-Петербург, Россия)
Ирисханова Ольга Камалудиновна, Московский государственный лингвистический университет, Институт языкознания РАН (Москва, Россия)
Карасик Владимир Ильич, Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, Россия)
Карбо Донал, Массачусетский университет (Амхерст, США)
Лассан Элеонора, Вильнюсский университет (Вильнюс, Литва)
Леонтович Ольга Аркадьевна, Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, Россия)
Миллс Сара, Университет Шеффилд Холлэм (Шеффилд, Великобритания)
Ойши Етсуко, Токийский исследовательский университет (Токио, Япония)
Павленко Анета, Университет Осло (Осло, Норвегия)
Понтон Дуглас Марк, Университет Катании (Катания, Италия)
Путц Мартин, Университет Кобленц-Ландау (Ландау, Германия)
Сифьяну Мария, Афинский национальный университет им. Каподистрии (Афины, Греция)
Сунь Юйхуа, Даляньский университет иностранных языков (Далянь, КНР)
Сурьянараян Нилакши, доктор, профессор, Делийский университет (Дели, Индия)
Шнайдер Клаус, Боннский университет (Бонн, Германия)
Эбзеева Юлия Николаевна, РУДН (Москва, Россия)

Литературный редактор ***К.В. Зенкин***
Компьютерная верстка ***Е.П. Довголевская***

Адрес редакции:
115419, Москва, Россия, ул. Орджоникидзе, д. 3
Тел.: (495) 955-07-16; e-mail: ipk@rudn.university

Почтовый адрес редакции:
117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2
Тел.: (495) 434-20-12; e-mail: lingj@rudn.university; vestnik_linguistics@mail.ru

EDITOR-IN-CHIEF
Tatiana Larina, RUDN University, Moscow, Russia. E-mail: larina_tv@rudn.university

HONORARY EDITOR
Istvan Kecskes, State University of New York at Albany, USA. E-mail: ikecskes@albany.edu

EXECUTIVE SECRETARY
Anna Borisova, RUDN University, Moscow, Russia. E-mail: borisova_as@rudn.university

EDITORIAL BOARD
Laura Alba-Juez, National Distance Education University (Madrid, Spain)
Steven A. Beebe, Texas State University (San Marcos, USA)
Liudmila Bogdanova, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)
Donal Carbaugh, University of Massachusetts (Amherst, USA)
Vadim Dementyev, Saratov State University (Saratov, Russia)
Jean-Marc Dewaele, Birkbeck, University of London (London, UK)
Julia Ebzeeva, RUDN University (Moscow, Russia)
Zohreh Eslami, Texas A&M University at Qatar (Doha, Qatar / Texas, USA)
Rafael Guzman Tirado, University of Granada (Granada, Spain)
Olga Iriskhanova, Moscow State Linguistic University (Moscow, Russia)
Svetlana Ivanova, Pushkin Leningrad State University (St. Petersburg, Russia)
Vladimir Karasik, Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia)
Eleonora Lassan, Vilnius University (Vilnius, Lithuania)
Olga Leontovich, Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia)
Sara Mills, Sheffield Hallam University (Sheffield, UK)
Etsuko Oishi, Tokyo University of Science (Tokyo, Japan)
Aneta Pavlenko, University of Oslo (Oslo, Norway)
Douglas Mark Ponton, University of Catania (Catania, Italy)
Martin Pütz, University of Koblenz-Landau (Landau, Germany)
Klaus Schneider, University of Bonn (Bonn, Germany)
Maria Sifianou, National and Kapodistrian University of Athens (Athens, Greece)
Sun Yuhua, Dalian University of Foreign Languages (Dalian, China)
Neelakshi Suryanarayan, Delhi University (New Delhi, India)
Maria Yelenevskaya, Technion — Israel Institute of Technology (Haifa, Israel)
Anna Zalizniak, the Institute of Linguistics of Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia)

Review Editor ***Konstantin V. Zenkin***
Computer Design ***Ekaterina P. Dovgolevskaya***

Editorial office:
10/2 Miklukho-Maklaya str., 117198 Moscow, Russia
Tel.: +7 (495) 434-20-12;
e-mail: lingj@rudn.university; vestnik_linguistics@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, СОЗНАНИЕ

Балясникова О.В., Уфимцева Н.В., Черкасова Г.А., Чулкина Н.Л. (Москва, Россия) Языковое сознание: региональный аспект 232

Olga Chesnokova (Moscow, Russia), Pedro Leonardo Talavera-Ibarra (USA), Ksenia Bolotina (Moscow, Russia) New World Basque Toponymy in the Dialogue of Languages and Cultures (Баскская топонимия Нового Света в диалоге языков и культур) 251

Сакаева Л.Р. (Казань, Россия), Багаутдинова Г.Г. (Чистополь, Россия) Вертикальный вид родства в лексико-семантическом поле «семья» в русском, английском и кумыкском языках 265

ПОЛИТИЧЕСКИЙ И МЕДИАДИСКУРС

Minoo Alemi, Ashkan Latifi, Arash Nematzadeh (Tehran, Iran) Persuasion in Political Discourse: Barak Obama's Presidential Speeches against ISIS (Стратегия убеждения в политическом дискурсе: выступления президента Барака Обамы против ИГИЛ) 278

Tatiana Dubrovskaya (Penza, Russia), Agnieszka Sowińska (Antofagasta, Chile and Toruń, Poland) Construction of Categories 'Strength' and 'Weakness' in Russian and Polish Foreign Policy Discourse (Конструирование категорий «сила» и «слабость» в российском и польском внешнеполитическом дискурсе) 292

Солопова О.А (Челябинск, Россия), Чудинов А.П. (Екатеринбург, Россия) Диахронический анализ метафор в британском корпусе текстов: колокола победы и Russia's V-Day 313

Flavia Cavaliere (Naples, Italy) Discursive Mechanisms of News Media — Investigating Attribution and Attitudinal Positioning (Дискурсивные механизмы СМИ: технологии атрибуции и позиционирования) 338

РИТОРИКА, ГРАММАТИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Хазагеров Г.Г. (Ростов-на-Дону, Россия) Риторика, грамматика, дискурс, гомеостаз 357

Милославский И.Г. (Москва, Россия) О принципиальных различиях между русскими грамматиками для рецепции и для продукции 373

Irina B. Korotkina (Moscow, Russia) Classical Elements and Word-formation in Academic Discourse (Элементы латинско-греческого словообразования в академическом дискурсе) 389

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА

Łukasz Grabowski (Opole, Poland) Stance bundles in English-to-Polish Translation: a Corpus-Informed Study (Лексические связки со значением оценки и отношения в переводе с английского языка на польский: корпусное исследование) 404

Klaudia Bednárová-Gibová, Sandra Zákutná (Prešov, Slovak Republic) Terminological Equivalence in Translation of Philosophical Texts (Терминологическая эквивалентность в переводе философских текстов) 423

Ловцевич Г.Н., Гич О.Н. (Владивосток, Россия) «Носитель языка» и «Native Speaker»: иллюзорное соответствие 436

Борисова А.С., Кургузенкова Ж.В., Никишин В.Д. (Москва, Россия) Проблема перевода религиозно-экстремистских текстов в процессе судебной лингвистической экспертизы 448

ХРОНИКА

Рецензии

Маслова В.А. (Витебск, Беларусь) Рецензия на коллективную монографию *Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии* / отв. ред. В.В. Фещенко. М.: Культурная революция, 2016. — 500 с. ... 474

Харламова Т.В. (Саратов, Россия) Рецензия на монографию Дубровская Т.В., Рева Е.К., Кожемякин Е.А., Ярославцева Я.Ф., Арехина Д.В. / под общ. ред. Дубровской Т.В. *Политический, юридический и массмедийный дискурс в аспекте конструирования межнациональных отношений Российской Федерации*. М.: Флинта: Наука, 2017. — 248 с. 480

Конференции

Нилакши Сурьянараян (Дели, Индия) Международная научная конференция *Индия и Россия: кросс-культурная синергия*, Дели, Индия, 22—23 февраля 2018 г. 489

CONTENTS

LANGUAGE, CULTURE AND COGNITION

Olga V. Balyasnikova, Natalya V. Ufimtseva, Galina A. Cherkasova, Nina L. Chulkina (Moscow, Russia) Language and Cognition: Regional Perspective 232

Olga Chesnokova (Moscow, Russia), Pedro Leonardo Talavera-Ibarra (USA), Ksenia Bolotina (Moscow, Russia) New World Basque Toponymy in the Dialogue of Languages and Cultures 251

Liliya R. Sakayeva (Kazan, Russia), Gulnara G. Bagautdinova (Chistopol, Russia) The Vertical Type of Relationship in the Lexical and Semantic Field «Family» in the Russian, English and Kumyk Languages 265

POLITICAL AND MEDIA DISCOURSE

Minoo Alemi, Ashkan Latifi, Arash Nematzadeh (Tehran, Iran) Persuasion in Political Discourse: Barak Obama's Presidential Speeches against ISIS 278

Tatiana Dubrovskaya (Penza, Russia), Agnieszka Sowińska (Antofagasta, Chile and Toruń, Poland) Construction of Categories 'Strength' and 'Weakness' in Russian and Polish Foreign Policy Discourse 292

Olga A. Solopova (Chelyabinsk, Russia), Anatoly P. Chudinov (Ekaterinburg, Russia) Diachronic Analysis of Political Metaphors in the British Corpus: from Victory Bells to Russia's V-Day 313

Flavia Cavaliere (Naples, Italy) Discursive Mechanisms of News Media — Investigating Attribution and Attitudinal Positioning 338

RHETORIC, GRAMMAR AND WORD-FORMATION

Georgiy G. Khazagerov (Rostov-on-Don, Russia) Rhetoric, Grammar, Discourse and Homeostasis 357

Igor G. Miloslavsky (Moscow, Russia) Russian Grammar for Reception and Production: Main Differences 373

Irina B. Korotkina (Moscow, Russia) Classical Elements and Word-formation in Academic Discourse 389

THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION

Łukasz Grabowski (Opole, Poland) Stance bundles in English-to-Polish Translation: a Corpus-Informed Study 404

Klaudia Bednárová-Gibová, Sandra Zákutná (Prešov, Slovak Repulic) Terminological Equivalence in Translation of Philosophical Texts 423

Galina N. Lovtsevich, Olga N. Gich (Vladivostok, Russia) English and Russian Terms "Native Speaker": Illusory Equivalents 436

Anna S. Borissova, Zhanna V. Kurguzenkova, Vladimir D. Nikishin (Mocow, Russia) Translation of Religious and Extremist Texts: Forensic-Linguistic Expert Examination 448

CHRONICLE

Book reviews

Valentina A. Maslova (Vitebsk, Belarus) Review of V.V. Feshhenko (ed.) (2016). *Linguistics and Semiotics of Cultural Transfer: Methods, Principles,Ttechnology.* Moscow: Kul'turnaja revoljucija Publ, 500 pp. (In Russ.)..... 474

Tatiana V. Kharlamova (Saratov, Russia) Review of T.V. Dubrovskaya, E.K. Reva, E.A. Kozhemyakin, Ya.F. Yaroslavtseva, D.V. Arekhina (2017). *Political, legal and mass media discourse in terms of discursive construction of Russia's international and interethnic relations.* Moscow: Flinta: Nauka Publ, 248 pp. (In Russ.)..... 480

Conferences

Neelakshi Suryanarayan (Delhi, India) International Conference *India and Russia: Cross-Cultural Synergy*, Delhi, India, 22—23 February 2018 489

Дорогие авторы и читатели нашего журнала!

Мы рады сообщить, что журнал «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика» включен в международную базу данных Scopus.

Мы выражаем вам благодарность за интересные статьи, постоянную поддержку и внимание. Включение журнала в Scopus — важный этап в его развитии и признание его высокого качества. В этом достижении есть и ваша заслуга. Надеемся, что с вашей помощью он станет еще более интересным, содержательным и привлекательным для взыскательной читательской аудитории и все вместе мы добьемся новых успехов.

Редколлегия

Dear authors and readers of the Russian Journal of Linguistics,

We are happy to inform you that the Russian Journal of Linguistics has been accepted for coverage in the Scopus database.

We are expressing our gratitude to you for your informative and insightful articles and never-ending support. The fact that the journal is included in Scopus is a significant stage in its development and acknowledgement of its high quality publications. That is your achievement as well. Hope that with your contribution the journal will be even more interesting, thought-provoking and catering to a demanding audience and we will all achieve mutual success.

Editorial Board

Russian Journal of Linguistics
Вестник РУДН. Серия: ЛИНГВИСТИКА
2018 Vol. 22 No. 2 232—250
http://journals.rudn.ru/linguistics

ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, СОЗНАНИЕ
LANGUAGE, CULTURE AND COGNITION

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-232-250

ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

О.В. БАЛЯСНИКОВА[1], Н.В. УФИМЦЕВА[1], Г.А. ЧЕРКАСОВА[1], Н.Л. ЧУЛКИНА[2]

[1]Институт языкознания РАН
125009, Россия, Москва, Большой Кисловский переулок, д. 1, стр. 1

[2]Российский университет дружбы народов
117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

В статье представлены результаты психолингвистического исследования, целью которого было выявление влияния культуры и языка на содержание образов языкового сознания, связанных с социально значимыми понятиями. Материалом исследования послужили данные массового ассоциативного эксперимента, проведенного в Республиках Татарстан и Саха (Якутия) с группами респондентов: русских, якутов-билингвов и татар-билингвов. Общей теоретической основой исследования является концепция языкового сознания, разрабатываемая в отечественной психолингвистике и связанная с такими понятиями, как «речевая деятельность», «сознание» и «культура». Языковое сознание понимается как отражение деятельности в ее обусловленности психическими (когнитивными) процессами и актуализация этих отношений в коммуникации. Методом получения данных стал свободный ассоциативный эксперимент с регистрацией первого ответа. Полученный материал представлен в виде модели «ассоциативный гештальт» по Ю.Н. Караулову, модифицированной в соответствии с целью исследования. В данной модели были выделены семантические зоны и субзоны, которые сравнивались далее в разных выборках. Результаты исследования показали, что в ассоциативном значении лексем-стимулов выявляются компоненты, очевидно обусловленные не только различиями структур национальных языков, но и различиями русской, якутской и татарской культур и взамовлиянием языков/культур в процессе взаимодействия народов в жизненно важных сферах деятельности.

Ключевые слова: *языковое сознание, психолингвистический эксперимент, ассоциативное значение, якуты, татары, русские*

1. ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях приобретает особую важность описание изменений, отражающихся в значениях языковых знаков, прежде всего слов. Индивидуальное сознание формируется через действия с предметами по правилам данной культуры

путем усвоения различных видов значений: операциональных, предметных и вербальных. Таким образом, за системой языковых значений индивида стоит *субъективный образ объективного мира*, в котором взаимодействуют элементы, содержащие и общечеловеческие, и культурноспецифические знания. Содержание этих знаний отражено в обыденном сознании носителя языка/культуры и в определенной степени поддается изучению (и рефлексии) через свои вербальные репрезентации. Свободный ассоциативный эксперимент (Караулов 2000, Kiss G. 1968, Kiss G. & al. 1972, De Deyne S., & Storms G 2008a, b, 2012) предоставляет возможность для выявления этих знаний, отраженных в ассоциативных значениях слов национального языка. Таким образом, построенная по материалам массовых ассоциативных экспериментов ассоциативно-вербальная сеть может считаться моделью обыденного сознания человека (см. Ufimtseva 2014). Целью данной статьи является описание и обсуждение результатов исследования особенностей регионального языкового сознания одной социальной группы — студентов, проживающих в Республиках Татарстан и Саха (Якутия): русских, татар и якутов.

2. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Методологические основы исследования

Общей теоретической основой исследования является концепция языкового сознания, разрабатываемая в отечественной психолингвистике и связанная с такими понятиями, как «речевая деятельность», «сознание» и «культура». Языковое сознание понимается как отражение деятельности в ее обусловленности психическими (когнитивными) процессами и актуализация этих отношений в коммуникации через посредство языкового знака. Подход к исследованию феномена «языковое сознание» с позиций теории речевой деятельности (московской школы психолингвистики) методологически является наиболее корректным.

Основным инструментом исследования является широко используемая в психологии и психолингвистике методика свободного ассоциативного эксперимента с регистрацией первого ответа. Материалы массовых ассоциативных экспериментов отражают реальное состояние обыденного сознания носителя определенной культуры/языка и могут использоваться как для анализа его синхронного состояния, так и для фиксации происходящих в нем изменений в течение определенного периода (диахронический аспект). Предполагается, что сформированный у любого индивида образ мира своей культуры, отражающийся в его языковом сознании, характеризуется определенной системностью, и эта системность остается стабильной на протяжении длительного времени.

Применение методов сравнения и сопоставления данных, полученных на материале разных языков, обусловлено необходимостью выявления «культурного компонента» в содержании ассоциативного поля. Значительная роль здесь принадлежит презумпции ценностно-оценочной (прескриптивной) функции культуры, играющей важную роль в восприятии объектов или явлений ее представителями. Таким образом, система ценностей культуры оказывает влияние на индивида,

направляет его взаимодействие с культурными предметами, определяет соответствующее восприятие/оценку того или иного явления, формируя в конечном счете представления о нормах взаимодействия с ними.

Процесс глобализации, инициирующий интенсификацию межкультурных отношений, неизбежно приводит к сближению не только различных культур, но и этнических сознаний их носителей. К негативным последствиям такого процесса относится тенденция к обострению межэтнической нетерпимости, кризис национальной идентичности, распространенность негативных стереотипов в отношении других народов, затрудняющая межкультурное общение. В этих условиях необходимо изучение несоответствий в содержании образа мира взаимодействующих народов и выявление причин такого несоответствия. Предлагаемый нами метод — один из многих, позволяющих зафиксировать сходства и различия (национально-культурную специфику) в содержании образов сознания носителей языков/культур, находящихся в условиях длительного взаимодействия и в то же время испытывающих сильное влияние глобализационных процессов на свой национальный язык и культуру.

Регионы, в которых было проведено исследование, несмотря на общую принадлежность к одному государству, имеют свои особенности: различную историю взаимоотношений населяющих их народов, различие многих элементов культур, наконец, различие самих взаимодействующих языков, за исключением русского, которым владеют все наши респонденты. Выбор данных регионов определяется их полиэтничностью и спецификой языковой ситуации (подробно см.: Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности. 2014, Байрамова 1996, Васильев и др. 2015, Васильева 2012, Гузельбаева 2013, Ибрагимова Э.Р., Исхакова и др. 2002, Михальченко 2015, Современная этноязыковая ситуация в Республике Саха (Якутия): социопсихолингвистический аспект. 2013, Ходжаева 2011). Кроме того, в полиэтничных регионах в современных условиях наблюдается варьирование разных критериев идентичности в тех случаях, когда происходит более или менее выраженная культурная ассимиляция (Anderson 1983, Fogelson 1982, Hurrel 1995, Robertson 1998). В частности, типичным является фактическое незнание родного языка при определении своей идентичности по национальному признаку, при указании национального языка в качестве родного, а также двойственная этническая и языковая идентификация.

2.2. Испытуемые

В Республике Саха (Якутия) были опрошены на русском и якутском языках три группы испытуемых — русские (на русском языке) и якуты-билингвы (на русском и якутском языках), в Республике Татарстан — три группы испытуемых — русские (на русском языке) и татары (на татарском и русском языках), постоянно проживающие в республиках. Объем каждой выборки составлял 200–300 человек в возрасте от 17 до 26 лет; соотношение респондентов мужского и женского пола было представлено в равном количестве. Анкетирование проводилось в студенческих группах. В анкетах, содежащих список из 116 стимульных слов, фиксировались следующие данные о респондентах: *пол, возраст, национальность, родной язык, город, вуз.*

Исследование проводилось в три этапа. В 2015 г. был проведен пилотажный эксперимент, в 2016 г. — основной эксперимент в Республике Татарстан с респондентами-русскими и татарами-билингвами, а в 2017 г. — основной эксперимент в Республике Саха (Якутия) с респондентами — русскими и якутами билингвами. С билингвами эксперимент проводился на двух языках.

2.3. Обработка экспериментального материала

Обработке подвергались ответы с частотностью два и более. По материалам ассоциативного эксперимента были построены для каждого слова-стимула семантические гештальты (по методу Ю.Н. Караулова), включающие несколько семантических зон и субзон. Последние не были сконструированы заранее, а определялись характером полученных данных.

В результате было выделены следующие зоны:

Субъект — в зону включались обобщенные номинации (*люди, человек*), номинации по социальным, половым, возрастным, оценочным характеристикам (*учитель, женщина, ребенок, враг*), названия общностей (*коллектив, семья*), а также названия животных и мифологических существ.

Объект — зону составили названия неодушевленных объектов, конкретных и абстрактных; отдельно указывались названия ценностей. Содержание зоны определяется особенностями семантики стимульного слова и поэтому, при статистической значимости, отличается неоднородностью.

Характеристика — в данной зоне выделяется в целом три стандартные субзоны, содержание которых связано с положительной, отрицательной или нейтральной характеристикой объекта, обозначенного стимульным словом.

Действия и состояния — в зоне представлены названия действий или состояний объекта, обозначенного стимульным словом, или действий по отношению к объекту и связанных с ним состояний.

Локус — зона содержит названия территориальных объектов с актуализацией местонахождения или границы.

Эго — зона включает местоимения и другие дейктические слова.

Устойчивые словосочетания составили отдельную зону — это паремии, фразеологизмы и клише.

Прочие слова, представляющие собой, как правило, случаи реагирования не на содержание, а на форму стимула, составили отдельную зону.

Каждая зона ассоциативного гештальта подразделялась на субзоны, например, выделялись субзоны ***конкретных*** и ***абстрактных*** **Объектов**, ***положительных*** и ***отрицательных*** **Характеристик** и т.д. Отнесение конкретного ассоциата в ту или иную субзону, а также количество субзон и их обозначение определялись для каждого стимула в зависимости от его значения и характера ассоциативной связи со словом-реакцией.

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Структура и содержание полученных ассоциативных полей обнаружили как сходства, так и различия образов сознания респондентов. Рассмотрим ассоциативные гешальты слова-стимула **страх** как пример таких различий.

Таблица 1

Ассоциативный гештальт слова-стимула *страх**
(по данным эксперимента с русскими респондентами в Республике Татарстан, проанализировано 258 ассоциатов с частотой 2 и более)

Table 1

Associative Gestalt of the stimulus word *fear*
(according to the experiment with the Russian respondents in the Republic of Tatarstan, analyzed 258 associates with a frequency of 2 or more)

Семантическая зона / % в семантическом гештальте	***Семантическая субзона***	**Реакции**	**% в семантическом гештальте**
Субъект 2,7	***Человек***	—	0
	Животное	*пауки / паук, змея*	2,7
Объект 66,3	***Причина***	*смерть / смерти / перед смертью, темнота / темноты / тьма, высота / высоты, потеря / потери, боль, одиночество, сессия / перед экзаменом, болезнь, жизни, ночь, перед бедой, перед чем-то, перед будущим*	40,3
	Синонимы, антонимы и атрибуты	*ненависть, чувство, адреналин, присутствие, слабость, боязнь, ужас, паника, гнев, испуг, незнание, отсутствие, порок, преимущество, состояние, стремление*	26,0
Характеристика 2,7	***Положительная***	—	0
	Нейтральная	*маленький, сильный*	1,9
	Отрицательная	*плохо*	0,8
Действие, состояние 17,0	***Действие***	*потерять, умереть, бояться, преодолеть, не суметь, откинут, перебороть, победить, тревожит*	11,6
	Состояние	*нет, есть*	5,4
Локус 3,9	***Определенный***	*в темноте, внутри, в глазах / глаза*	3,9
Время 2,3	—	*с детства / детства*	2,3
Эго 1,6	—	*перед собой*	1,6
ФЕ 1,2	—	*риск*	1,2
Прочие 1,2	—	*крах*	1,2

*Здесь и далее слово-стимул выделено **полужирным** шрифтом, слово-реакция — *курсивом*.

Данные показывают, что источник **страха** мыслится прежде всего как объект (событие), связанный с обстоятельствами жизни человека, как правило естественными — это *смерть*, *темнота* и *высота* (семантическая зона **Объект**). Значительно реже (единично) **страх** оказывается связан с живыми существами — *пауками* и *змеями*. Синонимы, антонимы и атрибуты указывают на связь страха с другими более сильными чувствами (*ужас, ненависть, гнев*), более слабыми (*боязнь, испуг*), указывают на поведение, обусловленное страхом (*паника, слабость*). Неоднозначность трактовки допускают реакции *присутствие, отсутствие, преимущество, стремление*, представляющие собой, очевидно, трансформированные устойчивые словосочетания. Зона **Действия, состояния** включает две основные группы реакций: первые указывают на действие по отношению к **страху** как объекту (такие как преодолеть, перебороть), другие — на причину **страха** (в этом отношении субзона ***Действия*** отличается от субзоны ***Причина*** (**страха**) лишь грамматически): это слова *умереть, не суметь, потерять*. Немногочисленные реакции типа *бояться* семантически сходны со стимулом, а реакция *тревожит* представляет собой частотную предикацию.

Таблица 2

Ассоциативный гештальт слова-стимула *страх*
(по данным эксперимента с респондентами-татарами на русском языке, проанализировано 308 ассоциатов с частотой 2 и более)

Table 2

Associative Gestalt stimulus word *fear*
(according to the experiment with respondents-Tatars in the Russian language, analyzed 308 associates with a frequency of 2 or more)

Семантическая зона / % в семантическом гештальте	***Семантическая субзона***	**Реакции**	**% в семантическом гештальте**
Субъект 5,5	***Человек***	*перед людьми, человека*	1,3
	Животное	*паук, пауки*	4,2
Объект 62,6	***Причина***	*темнота / темноты, боль / перед болью, высота / высоты, смерть / смерти / умереть, сессия / перед сессией / экзамен / экзаменов, одиночества / одиночество, опасность, выбор / перед выбором, слабость, болезнь, потери / потеря, будущее, непонимание, обиды, перед целью, перед чем-то, фильм*	42,2
	Синонимы, антонимы, атрибуты	*ненависть, необходимость, боязнь, фобия, инстинкт, мучение, эмоции чувство, ужас, добро, паника, бессилие, нечестность*	21,4
Характеристика 5,5	***Положительная***	—	0
	Нейтральная	*близок, сильный*	0,6
	Отрицательная	*черный, плохо / это плохо, жуткий, неодолим*	4,9
Действие, состояние 19,1	***Действие***	*потерять, перебороть / побороть, преодолевается / преодолевать / преодолеть* *бьет, не бойся, отсутствует, пройдет, убивает, ушел* *быть отвергнутым, все испортить, остаться одному, не получится*	14,6
	Состояние	*нет / его нет, есть*	4,5
Локус 3,2	—	*в глазах, в голове в чем-либо, внутри*	
Время 1,0	—	*детства*	1,0
Эго 1,0	—	*перед собой*	1,0
ФЕ 1,9	—	*Божий, это сила / сила, риск, природа*	1,9
Прочие	—		0

Отметим, что в данном гештальте совсем не представлена субзона ***Человек*** и ***Положительная*** **Характеристика**.

Семантический гештальт, построенный на экспериментальном материале, полученном от данной выборки респондентов, обнаруживает некоторые отличия от того, который представлен в таблице 1. В зоне **Субъект** выделяются нечастотные реакции субзоны ***Человек*** (*перед людьми, человека*), различные по характеру актуализируемой связи со стимулом и обозначающие источник и субъекта переживаемого состояния. Зона ***Объект*** довольно многочисленна, частотные реакции в этой зоне те же, что у русских респондентов в Татарстане (см. табл. 1), однако отличаются большим разнообразием семантики и грамматических вариантов. Ср. **страх** — *сессии / перед сессией, экзамен / экзаменов* и др.; в одном случае испытуемый достраивает стимул до целой синтагмы, в другом — просто называет

ее компоненты. В последнем случае пары стимул—реакция можно трактовать как тематические ассоциативные структуры.

Зона **Объект** включает несколько семантических подгрупп, реакции в которых обозначают чувства, связанные со **страхом** (*ненависть, ужас, боязнь, фобия*), а также поведение, обусловленное **страхом** (*паника, бессилие*). Страх квалифицируется как *инстинкт, эмоции, чувство*.

Субзоны ***нейтральных*** и ***отрицательных*** **Характеристик** оказываются близки благодаря присутствию в них интенсификаторов: *сильный, жуткий, неодолим*. Среди отрицательных реакций зафиксирована *это плохо* (*плохо*), так же, как и в таблице 1. Среди действий, связанных со страхом, выделяются действия по отношению к объекту (*преодолеть, побороть, перебороть*), действий, приписываемых объекту (*пройдет, убивает, ушел*) и прогнозируемых состояний, вызывающих страх (*быть отвергнутым, все испортить, остаться одному*). Последние семантически связаны с субзоной ***Причина*** (зона **Объект**). Остальные зоны ассоциативного гештальта наполнены слабо.

Таблица 3

Ассоциативный гештальт слова-стимула *курку* ‘страх’
(по данным эксперимента с респондентами-татарами на татарском языке, проанализировано 223 ассоциата с частотой 2 и более)

Table 3

Associative Gestalt of the stimulus word *курку* ‘fear’
(according to the experiment with respondents-Tatars in the Tatar language, analyzed 223 associate with a frequency of 2 or more)

Семантическая зона / % в семантическом гештальте	***Семантическая субзона***	**Реакции**	**% в семантическом гештальте**
Субъект 18,0	***Человек***	*кешедән* ‘от человека’, *кеше* ‘человек’ *батыр* ‘герой’	4,5
	Животное	*куян* ‘заяц’, *эт* ‘собака’, *аю* ‘медведь’, *елан* ‘змея’	13,5
Объект 47,6	***Причина***	*үлем* ‘смерть’, *имтихан* ‘экзамен’, *караңгылык* ‘темнота’ / *караңгыдан* ‘темноты’, *сугыш* ‘война’, *төн* ‘ночь’, *сессия*, *көче* ‘сила’, *алдау* ‘обман’, *чир* болезнь, *яшен* ‘молния’	22,9
	Синонимы, антонимы и атрибуты	*батырлык* ‘героизм’, *кыюлык* ‘смелость, отвага, бойкость, решительность’ *хисе* ‘чувство’ / *хис* ‘чувство’, *борчылу* ‘беспокойство’, *оят* ‘стыд, позор, срам’, *авырлык* ‘тяжесть’, *шом* ‘тревога’	24,7
Характеристика 13,0	***Положительная***	—	0
	Нейтральная	—	2,7
	Отрицательная	*караңгы* ‘темно, темный’, *начар* ‘плохой, скверный’, *куркыныч* ‘опасный’, *начарлык* ‘плохое, лихое’	10,3
Действие и состояние 23,8	***Действие***	*курыкмау* ‘не бояться’, *белмәү* ‘не знать’, *калтырау* ‘дрожать’, *елау* ‘плакать’, *качу* ‘убегать’, *оялу* ‘стесняться’, *кайгыру* ‘горевать, печалиться, скорбеть, убиваться’, *каушау* ‘смущаться’, *көлү* ‘смеяться, насмехаться, издеваться’, *тудыру* ‘создавать, рождать’, *югалту* ‘терять’	16,6
	Состояние	*кирәк түгел* ‘не надо’, *бар* ‘есть’, *юк* ‘нет’	7,2
Локус	—	—	0
Эго	—	—	0
ФЕ	—	—	0
Прочие	—	*булмасын* ‘пусть не будет’	0,9

У респондентов-татар на татарском языке появляется больше реакций, входящих в зону **Субъект**: к имеющимся в таблице 2 добавляется реакция *батыр* ‘герой’, в субзоне ***Животные*** отсутствует реакция *паук*, но добавляются другие слова: *эт* ‘собака’, *аю* ‘медведь’, *куян* ‘заяц’ — последнее можно трактовать не как источник, а как символ **страха**. Среди ***Причин*** **страха** (зона **Объект**) называются те же, что и в предыдущих выборках, наименования источника **страха** — это *смерть*, *темнота*, *экзамен* (*сессия*), *болезнь*, — но более разнообразные: к ним добавляются *сугыш* ‘война’, *яшен* ‘молния’. Как и в двух предыдущих выборках, **страх** не получает ***положительных*** **Характеристик**, а ***отрицательные*** характеризуют объект как *темный* и *плохой*. Отметим, что последняя характеристика присутствует и у русских, а опреление **страха** как *черный/темный* присуща только респондентам-татарам.

Зона **Объект** включает несколько реакций-антонимов: *батырлык* ‘героизм’, *кыюлык* ‘смелость, отвага, бойкость, решительность’ и реакций-синонимов: *оят* ‘стыд, позор, срам’, а также реакции, называющие чувства: *хисе*/*хис* ‘чувство’, *борчылу* ‘беспокойство’, *шом* ‘тревога’.

Довольно много ассоциатов наполняют зону **Действие, состояние**: они называют в большинстве своем действия и состояния, связанные со **страхом** как их причиной (*калтырау* ‘дрожать’, *елау* ‘плакать’, *качу* ‘убегать’, *оялу* ‘стесняться’, *кайгыру* ‘горевать, печалиться, скорбеть, убиваться’ и др.).

Таблица 4

Ассоциативный гештальт слова-стимула *страх*
(по данным эксперимента с русскими респондентами в Республике Саха (Якутия), проанализировано 99 ассоциатов с частотой 2 и более)

Table 4

Associative Gestalt of the stimulus word *fear*
(according to the experiment with the Russian respondents in the Republic of Sakha (Yakutia), analyzed 99 associates with a frequency of 2 or more)

Семантическая зона / % в семантическом гештальте	***Семантическая субзона***	**Реакции**	**% в семантическом гештальте**
Субъект 10,1	***Человек***	*людей / человека / враг*	10,1
	Животное	—	0
Объект 62,2	***Причина***	*смерть / смерти / перед смертью, темнота / темноты, одиночество / одиночества, высота / высоты, боль, опасность, чего-либо*	41,4
	Синонимы, антонимы и атрибуты	*боязнь, ужас, сила, слабость*	21,2
Характеристика 9,1	***Положительная***	—	0
	Нейтральная	*сильный / силен, большой*	9,1
	Отрицательная	—	0
Действие, состояние 5,0	***Направленное на объект***	*потерять*	3,0
	Состояние	*нет*	2,0
Локус 3,0	—	*в глазах*	3,0
Время	—	—	0
Эго 2,0	—	*мой*	2,0
ФЕ 6,0	—	*Божий, риск*	6,0
Прочие 2,0	—	*страшный*	2,0

Как демонстрируют данные таблицы 4, реакции, представленные в зоне **Субъект**, не отличаются разнообразием: указания на ***животных*** как источник **страха** отсутствуют. Ассоциаты, содержащиеся в зоне **Объект**, сходны с ассоциатами той же зоны в других выборках (см. табл. 1—3). **Страх** получает ту же характеристику, что и в ответах других групп испытуемых — *сильный*. Среди устойчивых словосочетаний зафиксирована особая реакция *Божий*; прочие реакции представляют сообой дериваты стимула.

Таблица 5

Ассоциативный гештальт слова-стимула *страх*
(по данным эксперимента с респондентами-якутами на русском языке,
проанализировано 99 ассоциатов с частотой 2 и более)

Table 5

Associative Gestalt of the stimulus word *fear*
(according to the experiment respondents Yakuts in Russian language
analyzed 99 associates with a frequency of 2 or more)

Семантическая зона / % в семантическом гештальте	***Семантическая субзона***	**Реакции**	**% в семантическом гештальте**
Субъект	—	—	0
Объект 85,8	***Стимул***	*смерть / смерти, высота / высоты, темнота / тьма, боль, потеря, экзамен, жизнь, перед чем-то*	52,5
	Синонимы, антонимы и атрибуты	*боязнь, ужас / ужасы, смелость, слабость, фобия, чувство, получить 3-ку*	33,3
Характеристика 2,0	***Положительная***	—	0
	Нейтральная	*большой*	2,0
	Отрицательная	—	0
Действие, Состояние 5,0	***Действие***	*преодолеть*	2,0
	Состояние	*нет*	3,0
Локус 2,0	***Определенный***	*сердце*	2,0
Время	—	—	0
Эго	—	—	0
ФЕ 3,0	—	*Божий*	3,0
Прочие 3,0	—	*перед*	3,0

Данные, представленные в таблице 5, в целом повторяют те же реакции, что содержатся и в других ассоциативных гештальтах, рассмотренных ранее. *Смерть, высота* и *темнота* указываются всеми респондентами в качестве типичных источников **страха**. Другая субзона зоны **Объект** свидетельствует о наиболее типичной стратегии включать стимул в синонимические (*ужас, фобия, боязнь*), антонимические (*смелость*) или гипо-гиперонимические отношения (*чувство*). В данной семантической субзоне содержатся реакции, обусловленные характером деятельности наших респондентов. Остальные зоны содержат незначительное число реакций.

Таблица 6

Ассоциативный гештальт слова-стимула *куттал* ‘страх’
(по данным эксперимента с респондентами-якутами на якутском языке, проанализировано 132 ассоциатов с частотой 2 и более)

Table 6

Associative Gestalt stimulus word was *куттал* ‘fear’
(according to the experiment respondents Yakutia in the Yakut language, analyzed 132 associates with a frequency of 2 or more)

Семантическая зона / % в семантическом гештальте	***Семантические субзоны***	**Реакции**	**% в семантическом гештальте**
Субъект 13,7	***Человек***	*киһи* ‘человек’	3,8
	Животное	*куобах* ‘заяц’	2,3
	Мифологическое существо	*абааһы* мифол., фольк. ‘злой дух, злое начало’	7,6
Объект 77,3	***Причина***	*баттал* ‘гнет, притеснение, насилие, гонение’ / *баттабыл* ‘притеснение, угнетение, гонение’, *өлүү* ‘смерть, гибель’, *барыта* ‘всё’, *киинэфильм*, *сэрии* ‘война’, *хараҥа* ‘темнота, тьма’, *сессия*	70,5
	Синонимы, антонимы и атрибуты	*ыксал* ‘спешность, срочность, спешка’, *соһуйуу* ‘вздрагивание (от испуга), удивление (от неожиданности)’, *долгуйуу* ‘волнение’, *сэрэх* ‘осторожность’	6,8
Характеристика 2,3	***Положительная***	—	0
	Нейтральная	—	0
	Отрицательная	*куһаҕан* ‘плохой, дурной’	2,3
Действие состояние 6,8	***Направленное на объект***	*суоһаата* ‘нависать’(перен)	1,5
	Состояние	*суох* ‘нет’, *баар* ‘есть, имеется’	5,3
Локус	—	—	0
Время	—	—	0
Эго	—	—	0
ФЕ	—	—	0
Прочие	—	—	0

Ассоциации, данные респондентами-якутами на якутском языке, обнаруживают определенные отличия от тех реакций, которые получены в других выборках испытуемых.

Больше половины всех реакций зоны **Субъект** занимает ассоциат *абааһы* миф., фольк. ‘злой дух, злое начало’ — субзона ***Мифологическое существо*** выделяется только в этом гештальте. Из зоонимов встречается только *куобах* ‘заяц’ — так же, как и у респондентов-татар, отвечавших на татарском языке. Данная реакция на русском языке не зафиксирована ни у билингвов, ни у русских. Существенно отличается от аналогичных в других выборках зона **Объект**: значительное число реакций в ней занимают ассоциаты *баттал* ‘гнет, притеснение, насилие, гонение’, *баттабыл* ‘притеснение, угнетение, гонение’, в то же время отсутствуют характерные для других выборок указания на **страх** *высоты*. Другая субзона зоны **Объект** содержит слова, называющие наблюдаемые действия человека и испытываемые им состояния: *ыксал* ‘спешность, срочность, спешка’, *соһуйуу* ‘вздрагивание (от испуга), удивление (от неожиданности)’, *долгуйуу* ‘волнение’, *сэрэх* ‘осторожность’. Вообще, основное количество ассоциатов сконцентрированно именно в зоне **Объект**: они составляют 77,3% от общего числа ас-

социатов и имеют четкое ядро, формируемое значительным числом ассоциатов со значением гнета, притеснения и гонения. Среди характеристик представлены только ***отрицательные*** оценочные реакции. В субзоне **Состояние** констатируется его наличие или отсутствие, что сходно с ассоциатами соответствующей субзоны в других ассоциативных гештальтах.

Представим данные по всем проанализированным выборкам в виде сводной таблицы 7.

Таблица 7

Наполненность семантических зон и субзон ассоциативного гештальта слова-стимула *страх* в шести выборках
(данные в %)

Table 7

Fullness semantic zones and sub-zones associative Gestalt of the stimulus word *fear* in six samples
(data in %)

Зона / Регион	Русские в Татарстане (ТатРР)	Татары на русском языке (ТатТР)	Татары на татарском языке (ТатТТ)	Русские в Якутии (ЯкРР)	Якуты на русском языке (ЯкЯР)	Якуты на якутском языке (ЯкЯЯ)
Субъект	**2,7**	**5,5**	**18,0**	**10,1**	—	**13,7**
Животное	2,7	4,2	13,5	—	—	2,3
Человек	—	1,3	4,5	10,1	—	3,8
Мифологическое существо	—	—	—	—	—	7,6
Объект	**66,3**	**62,6**	**47,6**	**62,2**	**85,8**	**77,2**
Причина	40,3	42,2	22,9	41,4	52,5	71,9
Синонимы, антонимы и атрибуты	26,0	21,4	24,7	21,2	33,3	5,3
Характеристика	**2,7**	**5,5**	**13,0**	**9,1**	**2,0**	**2,2**
Положительная	—	—	—	—	—	—
Нейтральная	1,9	0,6	2,7	9,1	2,0	—
Отрицательная	0,8	4,9	10,3	—	—	2,2
Действие, состояние	17,0	19,1	23,8	5,0	5,0	6,8
Локус	3,9	3,2	—	3,0	2,0	—
Эго	1,6	1,0	—	2,0	—	—
Время	2,3	1,0	—	—	—	—
ФЕ	1,2	1,9	—	6,0	3,0	—
Прочие	1,2	—	0,9	2,0	3,0	—

Как видно из представленных в таблице 7 данных, семантические зоны различаются по своей наполненности в разных выборках. Наиболее значимой во всех ассоциативных гештальтах является зона **Объект**; наполненность этой зоны наиболее высока у респондентов-якутов (на русском и якутском языках), а наименее — у респондентов-татар, отвечавших на татарском языке. На русском языке у этой группы респондентов показатели приближаются к показателям, полученным от русских испытуемых, составляя чуть более 60% всех ответов. Существенно различается и количественное распределение субзон в зоне **Объект**: указание на ***причины*** **страха** встречается почти в два раза чаще, чем прочие ассоциаты, у всех групп репондентов, кроме татар, отвечавших на татарском языке, где эти показатели приблизительно равны, и у якутов, отвечавших на якутском языке, где разница между субзонами — более чем в 13 раз. Очевидно, что такая картина

обусловлена влиянием языка опроса на стратегии ассоциирования, на которые опирается билингв в каждом случае.

Различия между выборками обнаруживаются также при обращении к зоне ***Действие, состояние***. Зона в количественном отношении особенно выражена у татар, отвечавших на татарском языке, и у татар, отвечавших на русском языке. Вообще, обнаруживается значительно большее количество и разнообразие ассоциаций этой зоны у респондентов в Татарстане (русских и татар), нежели у респондентов в Якутии (русских и якутов).

По характеру семантических субзон зоны **Действие, состояние** видно, что реакции респондентов-татар более разнообразны, чем реакции русских, и что у татар реакции качественно различаются при ответах на русском и татарском языке, в то время как ответы на русском языке у русских и у татар в основном сходны. При ответе на русском языке у татар-билингвов актуализируются синтагматические (текстовые) связи, где употребляется частотный глагол в инфинитиве с существительным-объектом (*побороть / преодолеть страх*), стимул в функции субъекта (*страх ушел / пройдет*), а также сочетания с инфинитивом в атрибутивной функции (*страх быть отвергнутым / все испортить / остаться одному*).

Характерно, что в данной субзоне почти не встречается случаев нарушения грамматических (синтагматических) связей между стимулом и реакцией, исключение составляет, пожалуй, только пара **страх** — *не бойся*, которая не является отклонением от нормы. Полагаем, что это связано с хорошим владением респондентами-татарами русским языком как основным языком обучения. При ассоциировании на татарском языке актуализируются иные связи со стимулом, прежде всего парадигматические и тематические, что обусловлено особенностями татарского языка.

В выборке якутов, отвечавших на якутском и на русском языках, данная зона оказывается почти не представленной; на русском реализуется типичное сочетание *преодолеть* страх, а на якутском страх, очевидно, мыслится в своем статичном состоянии: *суох* ‘нет’, *баар* ‘есть, имеется’.

Семантическая зона **Субъект** актуализируется при ответе испытуемых-билингвов на национальном языке, в то время как на русском языке количество ассоциатов, входящих в эту зону, существенно уменьшается, а у якутов вообще отсутствует. Состав реакций в пределах субзон обнаруживает определенные отличия. Респоденты-татары употрбляют зооним в связи со **страхом** и на русском и на татарском языках, причем на татарском языке субзона ***Животные*** представлена значительно более разнообразно. Вообще, указание на животное как на источник страха типично для всех испытуемых, в том числе и русских, а на татарском и якутском языках встречается зооним «заяц». При ответе на якутском языке респонденты-якуты несколько чаще употребляют название человека и в два раза больше упоминают *злое начало* (*дух*). Указание на последнее не встречается ни в какой другой выборке.

Характерно, что упоминание ***мифологических существ*** чаще имеет место при ассоциировании на национальных языках. Приведем в качестве примера фрагмент сводной таблицы на стимул **зло** в тех же выборках.

Таблица 8

Наполненность семантической зоны *Субъект* (слово-стимул *зло*)

Table 8

Fullness semantic zones the *Subject* (stimulus word *evil*)

Зона/Регион	Русские в Татарстане (ТатРР)	Татары на русском языке (ТатТР)	Татары на татарском языке (ТатТТ)	Русские в Якутии (ЯкРР)	Якуты на русском языке (ЯкЯР)	Якуты на якутском языке (ЯкЯЯ)
Субъект	**3,9**	**4,9**	**12,5**	**2,7**	**8,3**	**9,3**
Животное	—	—	2,5	—	—	—
Человек	3,9	4,4	9,0	2,7	2,5	1,7
Мифологическое существо	—	—	1,0	—	5,8	7,6

Как видно из приведенных данных, зона особенно актуализируется при ответе билингвов на своих национальных языках, а при ответе на русском языке ее вес больше по сравнению с той же зоной, смоделированной по ответам русских испытуемых. Русские не упоминают в связи со стимулом названия мифологических существ, у татар оно нечастотно (*шайтан* ‘черт’), а у якутов эти названия разнообразны и встречаются значительно чаще, чем в других выборках: *дьявол, демон, нечисть*, *абаанhы* ‘злой дух, злое начало; чудовище’. Что касается зоонимов, то, как видно из таблицы 8, они фиксируются только в одной выборке респондентов: (тат.) *эт* ‘собака’, *бүре* ‘волк’. Вообще, тенденция к актуализации зоны Субъект при ответе на национальных языках, а также субзон ***Животные*** и ***Мифологические существа*** в зависимости от национальности респондентов и региона проживания была отмечена нами ранее (см. Балясникова, Уфимцева 2016а, Балясникова Уфимцева, Черкасова 2016б, Балясникова, Степанова, Черкасова, Уфимцева 2017, Региональное языковое сознание коми, русских, татар: проблемы взаимовлияния 2016, Чулкина 2016).

Сходство и различие ассоциативных стратегий испытуемых всех шести обследованных групп можно увидеть на графике (рис. 1).

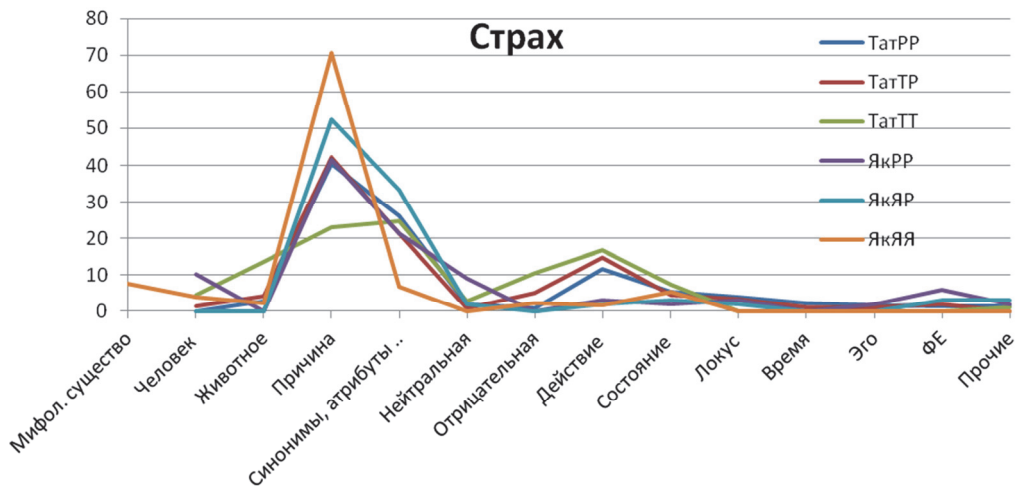

Рис. 1. График распределения реакций на стимул **страх** по семантическим субзонам
Fig. 1. Graph of distribution of responses to the **fear** stimulus by semantic sub-zones

На графике видно, что наибольшее количество ассоциаций приходится на субзону ***Причина*** — называется источник страха, и здесь выделяются обе группы респондентов-якутов. Реакции респондентов-татар, отвечавших на русском языке, в этой точке сближаются с реакциями русских испытуемых. Различие в реакциях групп респондентов в зависимости от национальности видно также в субзоне ***Действие***. Наибольшее различие демонстрируют графики, построенные на материале ассоциаций татар (на татарском языке) и якутов (на якутском языке). Сближение ассоциативных субзон и сходство ассоциативных стратегий наблюдается при ассоциировании на русском языке, однако их совпадения не происходит.

4. ВЫВОДЫ

Страх как общечеловеческое чувство (и как «культурный предмет») вербализуется в зависимости как от языка, так и от особенностей культуры (национальности) респондентов. Судя по ассоциациям, страх связан в их сознании с обстоятельствами жизни человека и с общечелоческими чувствами и эмоциями. В характере этих ассоциаций обнаруживается как биологическая, так и социальная основа страха: люди боятся естественных жизненных событий, над которыми они не имеют власти, такими как смерть, а также тех, которые в значительной степени связаны с его обычной, например, учебной, деятельностью. В определенной степени страх связан с другими людьми и исходит от них — например, страх остаться одному или быть отвергнутым. Наконец, страх связан с животными, вызывающими негативные эмоции, — чаще упоминаются определенные насекомые или пресмыкающиеся.

Страх в обыденном языковом сознании связан с другми чувствами и эмоциями и имеет разную интенсивность проявления — от боязни до фобии. В негативной оценке состояния страха (например, *плохо*) проявляется социальная оценка этого явления. Страх ассоциируется с темнотой или чернотой как источником негативных ощущений.

В представлени о страхе респоденты-татары обнаруживают большую, нежели другие испыуемые, ориентированность на субъекта и большее, чем другие, упоминание объектов и действий, связанных с ним. Вообще, как это проявляется и на других ассоциациях, мир носителей татарской культуры связан с осознанием человеческого (субъектного) окружения. Татарам свойственно ощущение разнообразных социальных связей, что и находит выражение в многообразных обозначениях. Данные, которые мы могли исследовать на ограниченном материале, позволяет судить о том, что у татар образ мира является динамичным и позитивным, очевидно потому, что, с одной стороны, несмотря на глобализационные процессы, элементы национальной культуры сохраняют свое традиционное содержание, а с другой — существует выраженный коллективизм татарской культуры.

Якутскому языковому сознанию свойственно достаточно определенное и более конкретное представление о страхе. Страх связан у них с ощущением влияния внешней силы: так, якуты дают частотные реакции со значением «гнет, притеснение», а также упоминают мифологические образы. Эта особенность проявляется

чаще на родном языке: разница между ассоциированием на родном и на русском языках особенно характерна для респондентов-якутов.

В ответах на русском языке респонденты — татары и якуты — обнаруживают сходную с русскими испытуемыми, но не идентичную стратегию ассоциирования. Одной из них, довольно устойчивой, судя и по другим стимулам (см., например, Региональное языковое сознание коми, русских, татар: проблемы взаимовлияния 2017), является возрастание количества устойчивых словосочетаний.

Возможное объяснение причин выявленных нами тенденций опирается на психолингвистические представления о закономерностях формирования знаний, связанных со словами родного и неродного языков.

К языку как деятельностной структуре (а именно такое понимание языка разделяется учеными московской психолингвистической школы) «принадлежат значения как социальные по своей сущности единицы, универсальная организация речевой деятельности по единицам и уровням и, наконец, специфические для каждого языка операторы (непосредственные средства речепорождения и речевосприятия)» (А.А. Леонтьев 1997: 42). Представленный таким образом язык превращается в универсальное средство связи человека с культурой и образом мира как ее основной составляющей (через значения). Эта связь двусторонняя: в процессе онтогенеза и социализации происходит формирование индивидуального образа мира на основе общекультурного через присвоение значений (в деятельности и общении) и их осмысление, а затем — постоянный обмен значениями между индивидуальным и общественным сознанием.

Исследования речевых произведений билингвов косвенно подтверждают эти положения: так, морально-этические представления, эмоциональные ощущения оказываются связанными именно с родным языком (Sedivy 2016, Hayakawa & Keysar 2017).

За словом родного языка стоит множество знаний и умений, связанных с культурным предметом, которое оно (слово) обозначает. Когда же человек переходит на язык другой культуры, особенно если он является языком обучения, то во многих случаях оказывается важнее то, какие тексты мы читаем. Слово родного языка несет в себе потенциальную энергию живого действия, а слово чужого языка такой потенциальной энергией не обладает. Именно поэтому первое, предъявленное в ассоциативном эксперименте, вызывает как реакцию комплекс культурно обусловленных знаний, а второе — комплекс структурных (сочетаемостных) связей данного слова с другими словами данного языка.

© О.В. Балясникова, Н.В.Уфимцева,
Г.А. Черкасова, Н.Л. Чулкина, 2018

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности. М.: Фонд «Развития фундаментальных лингвистических исследований». 2014. Кн. 1. С. 237—257. [Aktualnye etnojazykovye i etnokulturnye problem sovremennosti (Modern Ethnolinguistic and Ethnocultural Issues) (2014). Moscow: Fond “Razvitija fundamentalnyh linvisticheskih issledovaniy”. Kn. 1, 237—257. (In Russ.)]

Байрамова Л.К. Языковая модель Татарстана // *Модели национальных языков*. Казань, 1996. С. 13—22. [Bayramova, L. (1996). Jazykovaja model Tayarstana (Language Model of Tatarstan). *Modeli natsionalnyh jazykov*. Kazan, 13—22. (In Russ.)]

Балясникова О.В., Уфимцева Н.В. Значение как социокультурный феномен и его отражение в ассоциативной лексикографии // *Культурное наследие традиционных сообществ в контексте мировой цивилизации: Проблемы перевода и межкультурного диалога*. Якутск, 10—11 ноября 2016 г. Материалы конференции. С. 232—37. [Baljasnikova, O., Ufimtseva N. (2016). Znachenie kak sotsiokulturnyj fenomen i jego otraszenie v assotsiativnoy leksikografii (Meaning as Sociocultural Phenomena and its Reflection in Associative Lexicography). Kulturnoe nasledie traditsionnyh soobschestv v kontekste mirovoy tsivilizatsii: problem perevoda i meszkulturnogo dialoga. Jakutsk, 10—11 nojabrja. Materialy konferentsii, 232—237. (In Russ.)]

Балясникова О.В., Уфимцева Н.В., Черкасова Г.А. Содержание и структура образа «закон» в языковом сознании татар-билингвов (экспериментальное исследование) // *Русский язык в иноязычном окружении: современное состояние, перспективы развития, культурно-речевые проблемы*. Материалы российской научной конференции с международным участием. Элиста, 24—26 октября 2016 г. Элиста: ЗАО НПП «Джангар», 2016. С. 228—237. [Baljasnikova, O., Ufimtseva, N., Cherkasova, G. (2016). Soderszanie i struktura obraza “zakon” v jazykovom soznanii tatar-bilingvov (eksperimentalnoye issledovanie) (The Content and Structure of the Image “Law” in Language Consciousness of Bilingual Tatars). Russkiy jazyk v inojazychnom okruszenii: sovremennoye sostojanie, perspektivy razvitija, kulturno-rechevye problemy. Materialy rossiyskoy nauchnoy konferentsii s meszdunarodnym uchastiem. Elista, 24—26 oktjabrja 2016. Elista: ZAO NPP “Djangar”, 228—237. (In Russ.)]

Балясникова О.В., Степанова А.А., Черкасова Г.А. Уфимцева Н.В. Этнолингвистический аспект регионального языкового сознания // *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика,* № 4, 2017, том 8 (№ 4), с. 1161—1170. [Balyasnikova, O.V., Cherkasova, G.A., Stepanova, A.A., Ufimtseva, N.V. (2017). Ethnopsycholinguistic aspect of Regional Language Consciousness. *RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics*, 8(4), 1161—1170. doi: 10.22363/2313-2299-2017-8-4-1161-1170. (In Russ.)]

Васильев А.Д., Васильева С.П., Тимченко А.Г. Этнокультурное сознание: самосознание сибиряка, отраженное в языке. Красноярск, 2015. [Vasiliev, A., Vasilieva, S., Timchenko, A. (2015). Etnokulturnoye soznanie: samosoznanie sibirjaka, otraszennoye v jazyke (Ethnocultural Consciousness: Siberian Self-Consciousness in Language). Krasnojarsk. (In Russ.)]

Васильева Р.И. Языковая ситуация в республике Саха (Якутия) (на материале Приленья) // *Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация*. 2012. № 1. С. 88—91. [Vasilieva, R.I. (2012). Yazykovaja situatsija v respublike Saha (Jakutija) (na material Prilenja) (Language Situation in Prilensky region of the Sakha Republic (Yakutia). *Proceedings of Voronezh State University. Series: Linguistics and intercultural communication, 1,* 88—91. (In Russ.)]

Гузельбаева Г.Я. Практики использования государственных языков жителями Татарстана в ситуации официального двуязычия // *Вестник ТГГПУ*. 2013. № 4. С. 44—51. [Guzelbaeva, G. (2013). Praktiki ispolzovanija gosudarstvtennyh jazykov szitеljami Tatarstana v situatsii ofitsialnogo dvujazychija (Official Languages in Tatarstan in Bilingual Situation. *Vestnik TGGPU*, 4, 44—51. (In Russ.)]

Ибрагимова Э.Р., Тиригулова Р.Х. Полилингвальная языковая ситуация в республике Татарстан [Электронный ресурс] // http: www.sworld.com.ua/index.php/en/philosophy-and-philology-

112/linguistics-and-foreign-languages-in-the-world-today-112/12294-112-658 [Ibragimova, E., Tirigulova, R. Polilingvalaja jazykovaja situatsija v respublike Tatarstan (Polylingual Situation in Tatarstan). Retrieved from: http://www.sworld.com.ua/index.php/en/philosophy-and-philology-112/linguistics-and-foreign-languages-in-the-world-today-112/12294-112-658. (In Russ.)]

Михальченко В.Ю. Языковая ситуация и языковая политика в современной России // Языковая ситуация в Европе начала XXI века: Сб. обзоров / РАН ИНИОН Центр гуманит науч. информ. исслед. Отдел языкознания; Отв. ред. Трошина Н.Н. М., 2015. (Сер. Теория и история языкознания). С. 14—31. [Mihalchenko, V. (2015). Jazykovaja situatsija i jazykovaja politika v sovremennoy Rossii (Language Situation and Language Policy in Modern Russia). Jazykovaja situatsija v Evrope nachala XXI veka: sb. obzorov. RAN INION Tsentr gumanit. Nauchno-inform. issled. Otdel jazykoznanija; In Troshina N.N. (ed.). Moscow. (Ser. Teorija i istoriya jazykoznanija), 14—31. (In Russ.)]

Региональное языковое сознание коми, русских и татар: проблемы взаимовлияния. Уфимцева Н.В., Черкасова Г.А., Балясникова О.В., Разумкова А.В, Степанова А.А. Коллективная монография / Под ред. Н.В. Уфимцевой. М.: Ярославль: Издательство «Канцлер», 2017. [Ufimtseva, N., Cherkasova, G., Baljasnikova, O., Razumkova, A., Stepanova, A. (2017). Regionalnoe jazykovoe soznannie komi, russkikh i tatar: problem vzaimovlijanija (Regional Language Consciousness of Komi, Russians and Tatars: problem of mutual influence). In Ufimtseva, N. (ed.). M.: Yaroslavl: Izdatelstvo “Kansler”. (In Russ.)]

Современная этноязыковая ситуация в Республике Саха (Якутия): социопсихолингвистический аспект / Р.И. Васильева, М.Г. Дегтярева, Н.И. Иванова, Л.Н. Семенова. Новосибирск: Наука, 2013. [Vasilieva, R., Degtjareva, M., Ivanova, N., Semenova, L. (2013). Sovremennaja etnojazykovaja situatsija v Respublike Saha (Jakutija): sotsiopsyholingvisticheskiy aspect (Modern Ethnolinguistic Situation in the Sakha Republic (Yakutia): socio and psycho-linguistic aspect). Novosibirsk: Nauka. (In Russ.)]

Ходжаева Е. Татарский язык в школах Татарстана: общественные дебаты и мнение населения // *Неприкосновенный запас*, 2011, № 6 (80). С. 246—247. [Hodszaeva, E. (2011). Tatarskiy jazyk v shkolah Tatarstana: obschestvennye debaty i mnenie naselenija (The Tatar Language in Tatarstan Schools: Public Debates and Opinions. Neprikosnovenny zapas, 6 (80), 246—247. (In Russ.)]

Чулкина Н.Л. Морально-этические регулятивы «совесть», «стыд», «хорошо/плохо», «нельзя» в русском и татарском обыденном языковом сознании (по материалам «Русского ассоциативного словаря» (РАС-1) и пилотажного эксперимента в Татарстане) // *Вопросы психолингвистики*. 2016, № 4(30). С. 266—273. [Chulkina, N. (2016). Moral and ethical “regulatives”: “Conscience”, “Shame”, “Good/Bad”, “One cannot do” in Russian and Tatar everyday language consciousness (based on a pilot experiment in Tatarstan). *Journal of Psycholinguistics,* 4 (30), 266—273. (In Russ.)]

Anderson, B. (1983).Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London.

Breakwell, G.M. (1986). Coping with Threatened Identities. L.; N.Y.

De Deyne S., & Storms, G. (2008a). Word Associations: Norms for 1,424 Dutch words in a continuous task. Behavior Research Methods, 40,198—205.

De Deyne, S., & Navarro, D., & Storms, G. (2012). Better explanations of lexical and semantic cognition using networks derived from continued rather than single word associations, Behavior Research Methods., 45, 480—498.

De Deyne, S., & Storms, G. (2008b). Word associations: Network and semantic properties. Behavior Research Methods, 40, 213—231.

Fogelson, R.D. (1082). Person, self and identity. Psychosocial theories of the self. N.Y., L., 15—132.

Hurrel, A. (1995). Expanding in Resurgence of Regionalism in World Politics. *Review of International Studies*, 21(4), 323—343.

Kiss, G. (1968). Words, associations, and networks. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior,* 7, 707—713.

Kiss, G., Armstrong, C., Milroy, R. (1972). The Associative Thesaurus of English. Edinburg: Univ. of Edinb., MRC Speech and Communication Unit.

Lawrence R. Robertson (1998). Ethnic Politics in the Russian Republics: Ethnic Revivials and Language Policies. Prepared for the Regional Russia Workshop, the Kennan Institute, Woodraw Wilson Center meeting. Washington DC, January 22—24.

Ufimtseva, N. (2014). Russian Psycholinguistics: Contribution to the Theory of Intercultural Communication. *Intercultural Communication Studies*. Vol. XIII: I, 1—13.

Sayuri Hayakawa, Boaz Keysar. Using a Foreign Language Reduces Mental Imagery. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.cognition.2017.12.010.

Sedivy, J. (2016). Morality Changes in a Foreign Language. Fascinating ethnical shifts come with thinking in a different language. Retrieved from: http:// https://www.scientificamerican.com/article/how-morality-changes-in-a-foreign-language/.

История статьи:
Дата поступления в редакцию: 20 декабря 2017
Дата принятия к печати: 12 февраля 2018

Для цитирования:
Балясникова О.В., Уфимцева Н.В., Черкасова Г.А., Чулкина Н.Л. Языковое сознание: региональный аспект // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2018. Т. 22. № 2. С. 232—250. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-232-250.

Сведения об авторах:
БАЛЯСНИКОВА ОЛЬГА ВЕНИАМИНОВНА — кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института языкознания РАН; *Сфера научных интересов*: психолингвистика, лингвоконфликтология. *Контактная информация:* e-mail: bn.post@yandex.ru

УФИМЦЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА — доктор филологических наук, профессор, зав. сектором этнопсихолингвистики Института языкознания РАН; *Сфера научных интересов*: психолингвистика, этнопсихолингвистика, языковое сознание. *Контактная информация:* e-mail: nufimtseva@yandex

ЧЕРКАСОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА — научный сотрудник Института языкознания РАН; *Сфера научных интересов*: психолингвистика, компьютерная лингвистика. *Контактная информация:* e-mail: gacherk@mail.ru

ЧУЛКИНА НИНА ЛЕОНИДОВНА — доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры общего и русского языкознания, филологического факультета Российского университета дружбы народов. *Сфера научных интересов:* психолингвистика, этнопсихолингвистика, лингвокультурология, когнитивная лингвистика, семиотика, межкультурная коммуникация. *Контактная информация*: e-mail: nina.chulkina@yandex.ru

ФИНАНСИРОВАНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 15-34-14007/17 «Региональное языковое сознание коми, русских, татар: проблемы взаимовлияния» и гранта РФФИ № 15-04-00378а «Конфликтогенные зоны в языковом сознании русских, коми, якутов, татар и бурят: межъязыковые параллели».

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-232-250

LANGUAGE AND COGNITION: REGIONAL PERSPECTIVE

OLGA V. BALYASNIKOVA[1], NATALYA V. UFIMTSEVA[1], GALINA A. CHERKASOVA[1], NINA L. CHULKINA[2]

[1]Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences
1/1, Bolshoy Kislovskiy per., Moscow, 125009, Russian Federation

[2]Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University)
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, 117198, Russian Federation

Abstract

The psycholinguistic study is aimed at investigating the impact of culture and language on the images of socially important concepts in linguistic consciousness. The study is based on the data obtained in the massive associative research implemented in Tatarstan and Sakha (Yakutia), which involved sample groups of Russians, bilingual Yakutians and bilingual Tatarians. It employs the conceptual framework of linguistic consciousness developed by Russian psycholinguists and associated with the notions of speech act, consciousness and culture. Linguistic consciousness reflects speech acts in relation to cognitive processes and the transformation of these acts into communication. The sample was obtained by a free associative experiment which registered the first reply. The study presents the obtained results as Karaulov's model of "associated gestalt", modified to meet the requirements of the study. The model is divided into semantic zones and subzones which are further compared in different samples. The paper demonstrates that the associative meanings of lexemes-stimuli contain components clearly dependent on the differences between not only the ethnic language structures, but also between the Russian, Yakutian and Tatarian cultures and their mutual influences in the course of intercultural communication and interaction in vitally important areas.

Keywords: *language consciousness, psycholinguistic experiment, associative meaning, Yakuts, Tatars, Russians*

Article history:
Received: 20 December 2017
Revised: 23 January 2018
Accepted: 12 February 2018

For citation:
Balyasnikova, Olga, Natalia Ufimtseva, Galina Cherkasova, and Nina Chulkina (2018). Language and Cognition: Regional perspective. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (2), 232—250. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-232-250.

Bionote:

OLGA V. BALYASNIKOVA is a PhD, Senior Researcher at the Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences. Her research interests are focused on psycholinguistics and linguoconflictology. *Contact information:* e-mail: gacherk@mail.ru

NATALIA V. UFIMTSEVA is Full Professor, Doctor of Philology, Head of Ethnopsycholinguistics Department at the Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences. Her research interests are focused on psycholinguistics, ethnopsycholinguistics, language and cognition. *Contact information:* e-mail: nufimtseva@yandex.ru

GALINA A. CHERKASOVA is a Researcher at the Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences. Her research interests are focused on psycholinguistics, computer linguistics. *Contact information:* e-mail: gacherk@mail.ru

NINA CHULKINA is a full professor at the Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University). Her research interests cover psycholinguistics, ethnopsycholinguistics, linguoculturology, cognitive linguistics, semiotics, intercultural communication. *Contact information:* e-mail: nina.chulkina@yandex.ru

FINANCE AND ACKNOWLEDGEMENTS

The research has been funded by Russian Foundation of Basic Research (research grant: RFBR № 15-34-14007/17 and RFBR № 15-04-00378a).

Russian Journal of Linguistics
Вестник РУДН. Серия: ЛИНГВИСТИКА
2018 Vol. 22 No. 2 251—264
http://journals.rudn.ru/linguistics

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-251-264

NEW WORLD BASQUE TOPONYMY IN THE DIALOGUE OF LANGUAGES AND CULTURES

OLGA CHESNOKOVA[1], PEDRO LEONARDO TALAVERA-IBARRA[2], KSENIA BOLOTINA[1]

[1]Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University)
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, 117198, Russian Federation

[2]Missouri Southern State University
950 Newman Rd., Joplin, MO 64801, USA

Abstract

This paper investigates the Basque toponymy in Canada, the USA, and Spanish speaking Latin America and determines various aspects of its static and dynamic. The authors examine and systematise the Basque toponymical heritages present on maps of the United States, Canada, and Spanish speaking Latin America, and propose a broader conception of Basque toponymy taking into account its dissemination beyond the original Basque residences. Approximately seventy place names cited in this article were selected due to their lingua-cultural, geographical, associative, and commemorative significance. Historical, linguistic, semiotic analysis and dialogic approach (introduced by M. Bakhtin), proposed in this research reveal Basque history and the Basque (Euskara) language's interactions with other languages and cultures reflected in New World place names. As modern studies (e.g., Loewen, Bakker, Igartua, Zabaltza) typically concern the Basque language's history, it is crucial to analyse the Basque influence on other languages and cultures and Basque toponymy based on the Euskara's linguistic contacts with the English, French and Spanish languages and corresponding cultures. For instance, calque toponyms, toponymical allusions, and anthropotoponyms that commemorate the Basques can be found in the toponymical heritages of the New World. Moreover, Basque place names in the New World feature a plane of expression that coincides with the lexical units underlying them, in addition to another plane that has been transformed through linguistic contact with dominant languages. Basque toponymical allusions can be explicit or implicit; in most cases, however, they are anthropotoponyms that can often be identified through Basque onomastic models of family names. Hence, the systematisation of Basque toponymy in the New World is an exciting and creative transdisciplinary undertaking for modern onomastics, general/applied linguistics, foreign languages teaching, as well as a stepping stone toward the creation of a typology that reflects diverse types of Basque onomastic heritages. The authors conclude that the New World Basque toponymy is a singular phenomenon in time and space.

Keywords: *theoretical onomastics, toponymy, Basque language, Spanish language, English language, French language, topoformative elements, linguistic contacts, Basque toponymical allusion*

1. INTRODUCTION

The interest in Basque toponymy is evident during classes in Spanish, English and French lexicology, Spanish and Latin American civilisations, USA and Canada civilisations, linguistic contacts investigations in toponomy. As the contemporary theoretical philology perceives the multinational languages as a set of parameters of divergence and convergence, we can approach place names of Spanish-speaking, French-speaking and English-speaking countries of the New World as markers of the perception of the universe by speakers of their different varieties.

By investigating Basque toponymy from beyond the original places of Basque residence, the captivating historical evolution of the Basque language and its community is revealed. Nowadays, the Basque language (*Euskara, Euskera*) is an isolated language spoken by approximately one million people in the North-West of Spain and the South-West of France, and the most credible hypothesis about its origins ties the Basque language to the Aquitanian language (Igartua, Zabaltza 2012: 33). Basque namers left multiple place names conserved on their autochthonous territories. Nevertheless, the present Basque toponymy is not limited to the historical borders of its people and the modern Basqueland. On the contrary, it represents an extraordinary onomastic phenomenon in time and space.

Using the term '*The New World' (Mundus Novus)* in its historical meaning as one of the names for the Western Hemisphere, we define the purpose of this research as to examine contemporary Basque toponymy of the New World, determine its frontiers, delineate its dissemination and establish its relevant features within the paradigm of time and space and a dialogue of languages and cultures.

To achieve our aim, the Basque place names throughout the New World chosen for their geographical, associative, and commemorative significance, are analysed on the basis of cartographic materials, lexicographical sources, a variety of texts and discourses. Also, the primary Basque toponymy is examined through the contacts of the Basque language with other languages and cultures, which left their mark on the Basque toponymy of the New World. The methodology for such a study includes the onomastic and discourse analysis as well as the lingua-cultural, semiotic analysis, dialogic approach and the survey of native speakers. This paper builds on our prior studies on the Basque place names (Chesnokova, Talavera-Ibarra 2016, Bolotina 2016, Chesnokova, Bolotina, Talavera-Ibarra 2017).

2. THEORETICAL BASIS

Place names reflect and catalogue space, and consequently, can be considered an onomastic reflection of the namers' model of the universe. The etymology and original meaning(s) of place names, as well as their motivation and morphological structure, are the traditional and constant object of toponymical studies. In newer semiotic studies of toponyms, their place among other systems of signs, as well as their three-dimensional interpretation, concerning semantic, syntactic, and pragmatic aspects, the three primary dimensions of any sign, is considered.

The place name lexicon is an inherent part of any language and, thus, uncovers a series of principles, which can be seen in the preservation of old toponymical roots as part of contemporary demonyms (*Hispalense* as a name for the inhabitants of Seville, Spain, mentioning the place name *Híspalis*, prior to *Seville*, which is used as a synonym to *Sevillano*), names of colors and numbers, and in anthropomorphic metaphors, for example. Once a name found, a principle of certainty is at work; we perceive the name as a part of a system since even a single place name can be explained through the systematic analysis of a series of place names.

The Basques have always been brave navigators, fishermen, sailors, whalers. Many Basques became famous as naval commanders and admirals (Caro Baroja 2004:

124) and have contributed to the exploration and conquest of the New World since the first voyage of Christopher Columbus in 1492. That's why it is essential to establish diverse types of Basque onomastic heritages of the New World and to propose its typology on the basis of multidisciplinary paradigms. Cultural and onomastic analysis provides the backbone to the principal methodology used in this work. Such analysis combines the achievements of geography, history, onomastics, and traditional studies in dialectology, which can be aided by the semiotic approach, paying particular attention to the national toponymical lexicon and systems, their formation in the dialogue of languages and cultures, and their comparison.

The outstanding Russian linguist and philosopher M.M. Bakhtin stated in his work *"The Aesthetics of Verbal Creativity"* that in the interactions of cultures one culture puts questions to another one, and due to such issues, one culture opens its depths to another one (Bakhtin 1979: 283). A dialogical approach to Basque Toponomy of the New World focuses mainly on the Basque influence on Canadian, the USA, and Latin American place names' systems. It also shows some aspects which arise during the interaction of Basque culture in an anthropological sense of the word. Consequently, the dialogic approach to the New World Basque Toponymy derives both from linguistic and cultural factors and facilitates a complete description of Basque place names in a broader context.

3. LINGUISTIC FEATURES OF BASQUE TOPONYMY IN THE ORIGINAL BASQUE RESIDENCES

Basque toponymical landscape includes *Hegoalde* 'The South Country' and *Iparralde* 'The North Country', situated respectively in Spain and France and also known as *País Vasco Español* and *País Vasco Francés*. The South Country is made up of the Basque Autonomous Community (*País Vasco*; Euskadi, Basque: *Euskal Autonomia Erkidegoa*), the provinces of *Álava (Araba), Guipúzcoa (Gipuzkoa), Vizcaya (Bizkaia)*, and the Autonomous Community of Navarra *(Comunidad Foral de Navarra*, Basque: *Nafarroako Foru Erkidegoa)*. The North Country is part of France's Department 64, *Pyrénées-Atlantiques* (Basque: *Pirinio Atlantikoak*).

From ethnic and historic point of view, the Basque-speaking space is given the name of *Euskal Herria* or *Vasconia*. However, to name the entirety of the autochthonous Basque territories, Sabino Arana (1863—1903), known to be 'the Father of Basque Nationalism', proposed the term *Euzkadi*, which came to be accepted in the variant *Euskadi* in many types of modern Spanish discourse, for instance, in the mass media discourse, as a synonym for the Spanish autonomous region Basque Country (*País Vasco*): (1) "Podemos *Euskadi* ha reclamado hoy... la estrategia de pactos o la elaboración de candidaturas electorales en el ámbito del *País Vasco*, sin interferencias ni imposiciones ... El partido que dirige en *Euskadi* Roberto Uriarte ha querido así expresar su malestar ... en las tres provincias vascas" (Toña 2015).

It is critical to underline that Basque place names are common not only in historical *Vasconia* but outside Euskadi's territories as well. One particular explanation, for instance, links the presence of Basque names to the Reconquest in the Autonomous Community of Rioja (Agud 1973: 7).

The Basque language stands aside in the genealogy of world languages. In the Iberian Peninsula, the Basque language is the only remaining language among languages dating before the advent of the Romance languages. The Basques themselves call their language *Euskara* (dialect variations: *euskera, eskuara*, and *uskara*), and they prefer to be known as *euskaldunak*, i.e. 'the people that speak Euskara'. Terms such as *Basque*, *Vasco*, and *Vascuence* have their origins in Latin. For Basque people, *Euskara* is a symbol of their national identity and a tool for the reconstruction of Basque history and the interpretation of Basque culture (Caro Baroja 2004: 236).

One of the greatest linguistic mysteries of our times, *Euskara* has given rise to multiple hypotheses about its onset. Along those lines, toponymical parallelisms have been established between the Basque and Armenian languages, for example (Sarkisian 2000). The most credible theory, however, ties the Basque language to the Aquitanian language, based on epigraphs from the first throughout the third century containing evidence of close to four hundred names of people and seventy names of deities (Igartua, Zabaltza, 2016, 33). Still the lexicon of the language as a topic of study has been rarely addressed. It has been possible to establish that the bulk of the Basque lexicon is made up of monosyllabic words, even if their etymology is not clear yet. As Igartua and Zabaltza state, about a half of the contemporary Basque lexicon has Latin origin (Igartua, Zabaltza 2016: 33).

The Basque toponymy as it is now came to be as the result of a dialogue between languages and cultures, an exchange that took place within the territories of the indigenous Basque settlings and with neighbouring regions, as well as their transfer to more distant locations. And this toponymy can be studied through the fixation method by uncovering its dialogic-associative links and its semiotic parameters in their three aspects: semantic, syntactic and pragmatic.

The agglutinative character of the Basque language results in the fact that in many geographical terms, we can explicitly set the topoformative elements. Many toponymy forming elements observed in modern Basque place names refer to landscape and nature (Caro Baroja 2004: 38), as the Basque language possesses a rich vocabulary for natural phenomena (Kurlansky 1999: 21). Also, the Basque place names of Spain refer mainly to proper personal names (Michelena 1989). We find the most significant number of native Basque names in the province of Guipuzcoa (Agud 1973: 39). For instance, the municipality of Zumarraga includes the root *-zumar-* ('elm') and the suffix *-aga* ('place'), which gives us the phytonymic version of 'place where the elms grow'.

The most productive topoformative elements are suffixes having the meaning of 'place' such as *-ola* and *-oz(os)* as well as roots *-ibar-*, *-berri(barri)-* and *-uri-* (Caro Baroja 2004: 38—40). The semantic content of 'place' is also expressed through the suffixes *-eta, -aga, -doi (doki/dui/di)*. Here are some examples of place names with topoformants in question: *Bañu**eta***, 'place of baths'; *Sagarmin**aga***, 'place of bitter apples' and *Sagar**doqui***, 'place of apples'; *Urqui**ola***, 'birch forest'; *Zurri**ola***, 'timber smithery'; *Pag**ola***, 'place of beech', *Arrat**ola***, 'hut or smithy of passage', and *Arraz**ola***, 'place of broom'; *Basa**uri***, 'population in the forest', ***Uri**barrena*, 'the part of the city', *Ochand**uri***, 'village of Otxando', ***Uri**arte*, 'between cities', *Isa**uri***, 'village of the ferns'.

The origin of many of the Basque place names is still subject to debates. For this reason, Igartua and Zabaltza, authors of the *"Brief History of Basque language"*, emphasise the urgent need for an etymological dictionary of Basque language (Igartua, Zabaltza 2016: 25). Possible interpretations of the name *Bilbao* (*Bilbo* in Euskara), the administrative centre of the province of Vizcaya, show the controversial character the etymology of original Basque place names has. It is generally accepted that the name comes from the Latin *bellum vadum* 'beautiful ford' (Pospelov 1998: 68). However, according to studies by G. S. Sudar', based on ideas of the Spanish toponymist García Berlanga, the toponym *Bilbao* contains the formant *bil* 'small town' — a formant of high frequency in Basque-Iberian toponymy (Sudar' 2007: 115).

An essential feature of modern Basque toponymy in Spain is the existence of double, Basque and Spanish, names (*Gernika — Guernica, Bilbo — Bilbao, Donostia — San Sebastián*), reflecting the centuries-old contacts of the Basque and Spanish languages. Double names are in the process of standardisation in the framework of state policy, and the unification of the literary standard Basque language (*Euskara batua*). Language consciousness of modern Basques preserves the original Basque toponymy as an essential part of national heritage, although in some cases the Spanish toponyms are preferred to the Basque ones (*Bilbao*, not *Bilbo,* for example).

4. BASQUE TOPONYMICAL HERITAGES IN CANADA

4.1. English speaking Canada

The Basques have always been referred to as seasoned fishermen. One of the specialities of Basque cuisine is cod. Euskara counts of many dialectal names for cod (Kurlansky 1999: 59), likewise there are many hybrid place names that refer to cod in English-speaking provinces of Canada. Here are few of them: *Baccaro Point* in southwestern Nova Scotia; *Baccallieiu* Island, off the north of the Avalon Peninsula; two small islands called *Baccalhao* (Rayburn 2001: 108).

A. Rayburn speaks of about three hundred different toponyms of Basque origin in Newfoundland and the Gulf of St. Lawrence (Rayburn 2001: 196). According to A.I. Il'ina, place names of Basque origin prove varying degrees of assimilation in such English-speaking provinces of Canada as Newfoundland and Labrador (Il'ina 2013: 106—110).

4.2. Quebec

The Basques were one of the first European nations to play the seas of Nord Atlantic near the island of Newfoundland looking for the best places for cod fishing and whaling. However, fishing couldn't be the only reason for Basque expeditions. The fact that many territories along St. Lawrence estuary bear witness of Basque presence (Egaña Goya 1995) justifies this statement.

Quebec researcher Brad Loewen (Loewen 2016), having analysed the etymology of the ethnonym *Iroquois*, agrees with Charles Martijn (Martijn 1990) on the assertion that the Basques had some kind of 'privileged relationship' with the Iroquois. How could

one come to such a conclusion by studying the origin of the name? As Danish linguist Peter Bakker (Bakker 1989, 1991), who B. Loewen (Loewen 2016) refers to, states in his research, certain names of Native peoples, adapted by French colonists at the turn of the XVII century, have Basque origin. In particular, all the ethnonyms ending in *-quois* are French assimilation of demonyms featuring a productive Basque suffix *-ko+a* which means 'the people of'.

The idea of the close relationship existing between the Basques and Iroquois, the relationship that possibly thwarted French explorer Jacques Cartier's plans to build a colony in the New World and ended for a certain period of time French expeditions, is supported by the fact that "all the Native groups involved in the Wabanaki schism <...> already had Basque names by the time the French encountered them. These names show a precise knowledge of Native groups, their territories, what they called themselves, and possibly their political history. ... all [names] follow Basque linguistic rules, indicating they were coined by Basque speakers who had direct knowledge of these groups before French got to know them" (Loewen 2016: 60—61).

Basque presence on the present-day territory of the province of Quebec was noticed by a French explorer, founder of Quebec City, Samuel de Champlain (Champlain 1613, 1632). According to the Canadian researcher and journalist Alan Rayburn, the gulf *Chafaud aux Basques* owes its name to the encounter of Samuel de Champlain and some Basque fishermen dehydrating fish on a wooden scaffold (fr. *échafaud*) (Rayburn 2001: 110). Among other explicit toponymical allusions *Lac du Basque, Île aux Basques, Anse aux Basques, Rivière du Basque* are worth mentioning. All these place names designate different areas on the opposite sides of the St. Lawrence River.

The cited examples reflect the Basque presence on the territory of Quebec before and during the French colonisation. However, these place names are not of Basque origin. Among those toponyms that have Basque etymology, we can state all the place names featuring *Orignal* 'moose' *(Orignac, Orignaux)*. As it is stated in the Loanwords dictionary, the etymology of this word ascends to the Basque word *oregnac* (Tardivel 1991: 253). More than 200 place names in Quebec honour this majestic animal, inhabiting the forests near St. Lawrence River.

Some researchers see Basque etymology in the place name *Gaspé*. Quebec toponymist Jean Poirier (Poirier 2006 XXXVI), as well as the Basque researcher L. Michelena, attributes Basque origin to the name of the city tracing it to the Basque word *gerizpe, kerizpe* (shelter). M. Egaña Goya agrees with the statement, mentioning the introduction of the place name *Caispe* on the map of the Basque explorer Piarres Detcheverry in 1677 (Egaña Goya 1995).

According to the Basque journalist Xabier Harluxet, among other place names of Basque origin in Quebec, one should take into account the name *Barachois* (Harluxet 2003). In his opinion, the Basques originally used the word *barachois* to denote small basins by the side of St. Lawrence River, where the fishing boats were anchored.

It is toponymy of Basque origin as well as French, English, and Amerindian which is widely spread in Quebec. This fact develops the idea on the Basque toponymy in time and space.

5. BASQUE TOPONYMICAL HERITAGES IN THE USA

Basque place names in the USA, as in other territories once constituting New Spain, record the successful efforts of Basque colonists. Since Southwestern and Central States of America were parts of the Spanish Empire, Basque missionaries and explorers visited the area.

For instance, Basque missionaries, Franciscan friars, played a crucial role in the exploration of California, as it is well shown in John O'Hagan's book "*When the Basques Ruled California 1784—1834*" (O'Hagan 2015). Place names commemorating Basque missionaries are not rare in the toponymy of the region. To cite a few, they are *Point Lasuen* and *Point Fermin* (*Firmin* on some maps) — places named in honour of Padre Fermín de Lasuén, a Basque, the founder of a number of Franciscan missions in California (Gudde 2004: 130, 205).

Examples of Basque toponyms in California are numerous. Mostly, they are anthropotoponyms. Such place names as *Aigare, Sopiago Creek, Yparraguirre Canyon* come from Basques surnames.

Names of some of the most prominent figures in exploring New World are commemorated in Californian place names. *Anza, Anza-Borrego Desert State Park, Lake Anza, Anza Valley* are named for Juan Bautista Anza, a leader of a famous expedition. *Bolivar Lookout* commemorates South American revolutionary leader of Basque descent, Símon Bolivar. Interesting is an example of a place name *Arlanza,* which is a combination of a toponym *Arlington* and an anthropotoponym *Anza.*

Basque personalities played a significant part in creating American place names. Such names as *Cupertino, Mission Dolores, Escondido (Escondida), Lake Merced, Natividad Valley/Creek, San Fernando* are the names introduced by Anza expedition and are first mentioned in Anza's diaries.

Basques received lands as payment for their services of seafaring and exploring territories. Hence, many places bear names of Basque ranchers, sheepherders, and landowners. As in *Agoura, Agureberry Point, Amesti, Leonis, Mendico, Rambaud Peak.*

Even though among American place names of Basque origin commemorative anthropotoponyms are dominant, there are few other toponymical allusions to cite. As, for example, transfer name of *Navarro*, CA, is an allusion to the Spanish Province Navarra (Gudde 2004: 257).

Basques' presence is the most notable in the state of California. Still, they have left an imprint on the toponymical worldview of various states of America. To cite a few more examples of Basque legacy in the USA, they are the community place name *Arriola*, CO, an anthropotoponym, referring to a Basque last name (Bensone 1994: 10) and *Durango*, CO. The Basque connection is obvious, when it comes to the place name *Durango*, whether in Colorado, Texas, or Iowa, as it derives from *Durango*, Bizkaia.

St. Ignace, MI, as *St. Xavier*, MT, honours the Basques saints — Saint Ignatus of Loiola and Saint Francis Xabier respectively.

Presented material is not a complete list of place names of Basque origin in the USA. Still, the selection reveals the role Basques played in the exploration of the territories consisting the modern United States. Being instrumental in the discovery, they formed groups of colonising settlers in different regions of America, creating the Basque-American legacy.

6. BASQUE TOPONYMICAL HERITAGES IN LATIN AMERICA

Remarkable is Basque toponymical influence on the toponymy of Latin America. Beginning with the fact that Basques were many members of Columbus expedition, many Latin American Presidents have had Basque surnames (Salaberri 2011).

Contemporary Latin Americans in response to the question 'what place names in their countries have Basque etymology' usually identify them by Basque surnames, a phenomenon corresponding to anthropotoponyms.

As far as the Latin American Presidents' toponymical legacy is concerned, the family name Bolivar, of Simon Bolivar (Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar de la Concepción y Ponte Palacios y Blanco; 1783—1830), eminent military leader, fighting for independence of Spanish colonies in Latin America, national hero of Colombia, Venezuela, Ecuador, Panama, Bolivia and Peru, is widely represented in the national toponymy of many Latin American countries. For the countries cited above Simon Bolivar is *El Libertador* 'The Liberator', *El Padre de la Patria* 'The Father of The Motherland'.

According to Salaberri, Basque last name *Bolivar* comes from *Bolibar* (Salaberri 2011: 146). The official name of Venezuela — *Bolivarian Republic of Venezuela (República Bolivariana de Venezuela)* — perpetuates the memory of Simon Bolivar (Simón Bolívar).

Colombia is divided into thirty-two departments. The name of the department of *Bolivar*, founded in 1905, memorialises the surname of the famous hero of Latin America.

There are about fifteen place names *Bolívar* in Latin America. Apart from being the name of the department in Colombia, *Bolívar* is the name of a province in Ecuador, state in Venezuela, as well as oiconyms in Argentina (province of Buenos Aires), Bolivia (department of Beni, department of La Paz), Colombia (Department of Antioquia, Department of Valle del Cauca, Department of Cauca, Department of Santander), Peru (Department of Libertad), Uruguay (Department of Canelones).

Basque and Spanish colonists, as it is widespread among shift names and calque toponyms, gave Basque place names to new lands.

Here are some of many examples: the city of *Laredo* situated in Cantabria, bordering the Basque Country, has Basque etymology — 'good field'. The name of Laredo functioning as calque place name can be seen on the map of the USA and Mexico, in the states of Texas and Tamaulipas respectively.

There are three cities in Mexico duplicating the name of the capital of Vizcaya, i.e. Basque toponym *Bilbao*.

Mexico City is one of the most significant urban agglomeration of the world. It is divided into colonies. Colonies of *Narvarte* and *Echegaray* in the Mexican capital and some of its prospects such as *Echegaray, Juan Sánchez Azcona, Concepción Beistegui* are of Basque origin.

The famous Mexican supermarket chain is called *Bodegas Aurrera* ('forward' in Basque).

Basques have played a significant role in the development of Colombian Antioquia and the formation of the Antioquia's ethnic type known as *paisa*. The department of

Antioquia counts of numerous examples of Basque anthropotoponyms which spelling coincide with Basque surnames and thus they are identified by them. For example, *Puerto Berrío*. *Berrio* is the paternal surname of a Colombian lawyer, military, and politician, Don Pedro Justo Berrío. His patronym is immortalised in the name of the port of Puerto Berrio, the central square of Medellin, in the name of the city park, synonymous to is *corazón de Medellín* 'the heart of Medellin'. The same name is found in many urbanonyms: the name of the railway station, the main street and the park in Santa Rosa de Osos which happens to be Pedro Berrio's birthplace.

Basques played a unique role in the history of Chile. Basque onomastic heritages are perceived in Chilean urban place names. In the modern Santiago, the capital of the Republic of Chile, there are, for instance, *Plaza Gernika* 'the square Gernika', *calle Bilbao* 'Bilbao Street', duplicating original Basque place names Gernika, Bilbao, respectively.

One of the famous Chilean vineyards has a name of Basque origin, *Eyzaguirre*, which is a family name of emigrants from Vizcaya, Spain, who founded the *Vino de Eyzaguirre* in Colchagua Valley, renowned for the perfect climate for growing grapes.

Chilean oronym *Euzkadi* is a calque of Sabino Arana's neologism. Here is an example from media discourse to explain nomination means: (2) "Una cita y otra conducen estas líneas hacia las faldas del cerro Euskadi, una mole de 3.615 metros que existe bautizado en el país andino desde tiempos de la Guerra civil española y que son contadas las personas en el mundo que saben de su ser. Vizcainos exiliados en Chile le dieron tal nombre -en un comienzo prohibido- con el fin de dedicarle la cumbre a su patria y a la llegada al enclave americano del lehendakari José Antonio Aguirre" (Trinidad 2014). To a degree, as it is proper for Chilean toponomy on the whole, the article *Lo* is combined with some Basque elements: *Lo Elizondo.*

Argentina being an exceptional example shows the historical presence of Basques on its territories (Zorroguieta 2012). Let us point out that Buenos Aires was founded by Juan de Garay (1528—1583), a Basque from Orduña or Biscay (Basque Country). The south part of Buenos Aires, finds an avenue named after Juan de Garay: La *Avenida Juan de Garay*. Modern Buenos Aires is divided into *barrios* 'quarters'. One of the quarters bears name of *Barrio Villa Ortuzar*. This place name is an anthropotoponym immortalising the surname of Santiago de Ortuzar. In 1862, a native from Vizcaya, Santiago de Ortuzar moved to Argentina and bought the land that gave birth to the current name of the quarter.

Amidst other Latin American anthropotoponyms, referring to Basques, it's worth to mention the city of Lascano which is situated in the Department of Rocha, north-eastern part of Uruguay. It was named after a Basque explorer and seafarer Francisco de Lascano.

The Republic of Paraguay is a mostly bilingual country, with the official status of Spanish and Guarani, the indigenous language of the Tupian family. Place names *Zeballos cué*, *Zeballos cué* are identified by Basque surnames and are notorious by archaic Guarani topoformative *cué* (modern *kue*) meaning 'which belonged to'. In the Republic of Paraguay, there are many interesting examples of commemorative anthropotoponyms, memorialising Basques. *Iturbe,* a town in the Guairá Department, received its name in honour of Vicente Ignacio Iturbe (1786—1837), Paraguay national hero, of Basque origin.

Latin American Basque onomastic heritages represent a flexible and developing phenomenon in the present socio-cultural context. To commemorate the tragic bombing of Basque town of Gernika (April, 26, 1937), reflected in Pablo Picasso's famous anti-war painting *Guernika* (1937), several locations in Latin America received its name in addition to numerous calque toponyms (González-Allende 2016: 151—152) in both Basque (Gernika) and Spanish (Guernica) versions of the original name of the town Gernika (Euskara) — Guernica (Spanish version) in the province of Biscay.

7. BASQUE PLACE NAMES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Basque toponymical commentaries in courses on Spanish, French and English lexicology, Spanish, French and English dialectology, semiotics, culture-oriented linguistics, New World civilisation, and the theory and practice of translation achieve the aim of multiculturalism of modern languages teaching.

Place names *per se* represent particularly interesting sites to explore individuals' discursive work. Basque toponymical commentaries can be students' research on the etymology of toponyms of Basque origin, the results of their assimilation by the dominant language. In case of anthropotoponyms, special commentaries on their protagonists and their significance for the history are welcome. Attention to toponymical commentaries contributes to the creative dialogue between the Basque and other cultures, as well as to the dialogue between the national cultures of the Spanish, French and English speaking world.

8. CONCLUSION

New World Basque toponymy casts light on the history of the Basque people and the current state of Euskara considering the contacts of languages and cultures.

The concept of Basque toponymy appears as a broad spatial and temporal model. Basque calque toponyms in the toponymy of the New World, toponymical allusions and anthropotoponyms that commemorate the Basques, have both a plane of expression coinciding with lexical units motivating them and a plane of expression that has been transformed due to linguistic contacts with the dominant language.

Basque toponymical allusions can be either explicit or implicit. In most cases, they are anthropotoponyms, identified by Basque onomastic models of family names, mostly.

Systematization of the Basque toponymy outside the original area of Basque residence is an exciting and creative task of modern onomastics, theoretical and applied linguistics. Basque place names are an inherent part of orientation not only in original Basque geographical space but also in New World geographical and cultural space. A broader concept of Basque place name studies proposed in this paper reveals various aspects of their statics and dynamics, enriches the understanding of their lingvocreative manifestations and aesthetics, and becomes an effective tool in teaching foreign languages at Bachelor and Masters levels, contributing to students' intellectual activities and plurilingual identities.

© Olga Chesnokova, Pedro Leonardo Talavera-Ibarra,
Ksenia Bolotina, 2018

REFERENCES

Agud, Manuel (1973). *Areas toponimicas en el País Vasco* [Toponymical areas in the Basque Country (In Spanish)]. *ASJU 7*. 37—56. Retrieved from: http://www.ehu.es/ojs/index.php/asju. [Last viewed 09.09.17].

Bakker, Peter (1989). 'The language of the Coast Tribes is Half Basque': A Basque-Amerindian Pidgin in Use between Europeans and Native Americans in North America, ca. *1540 — ca. 1640*. *Anthropological Linguistics,* 31, 117—147.

Bakker, Peter (1991). A Basque etymology for the Amerindian tribal name Iroquois. *Annuario del Seminario de Filologia Vasca* (ASJU Geh), 14 (2). Bizkaia: Universidad del País Vasco, 1119—1124.

Bakhtin, Mikhail (1979). Aesthetics of Verbal Creativity. Moscow: Iskusstvo. (In Russ.)

Bensone, Maxine (1994). *1001 Colorado place names*. Illustrations by Robin Richards. Lawrence, KS: University Press of Kansas.

Bolotina, Ksenia (2016). Quebec toponymy: linguistic-culturological analysis. *Philological Sciences. Issues of Theory and Practice* 2016. № 11. Part 3, 74—77.

Caro Baroja, Julio (2004). The Basques. Translated from Spanish. Moscow: URSS. (In Russ.)

Chesnokova, Olga, Talavera-Ibarra, Pedro Leonardo (2016). El diálogo de lenguas y culturas en la toponimia vasca. *Ibero-American studies*, 2(12). Moscow: MGIMO University, 72—76.

Chesnokova, Olga, Bolotina, Ksenia, Talavera-Ibarra, Pedro Leonardo (2017), Basque toponymy in the New World. *Acta Onomastica*, 1/LVIII/2017, 53—62.

de Champlain, Samuel. (1613), (1632). *Les voyages du sieur de Champlain Xaintongeois, capitaine ordinaire pour le roy, en la marine...* Paris, éditions de 1613 et 1632.

Egaña Goya, M. (1995). Les toponymes basques au Québec. *Le Naturaliste Canadien*. Hiver 1995. QC: Les Editions l'Ardoise, 54—57.

González-Allende, Iker (coord.). (2016). *El exilio vasco: estudios en homenaje al profesor José Angel Ascunce Arrieta.* Madrid: Ediciones Deusto.

Gudde, Erwin G. (2004). *California Place Names*. Berkeley: University of California Press.

Harluxet, Xabier. (2003). *La langue basque et quelques traces des basques au Quebec!* Retrieved from: http://www.euskonews.com/0198zbk/kosmo19802fr.html. [Last viewed: 01.06.17].

Igartua, Ivan, Zabaltza, Xabier. (2016). *Breve historia de la lengua vasca*.Donostia-San Sebastián: Instituto Vasco Etxeparre. Retrieved from: www.etxepareinstitutua.net. [Last viewed: 26.08.17].

Il'ina, Anna. (2013). Inhomogeneity of toponymical naming units of English speaking Canada as an image of Canadian linguistic world view. Ph.D. thesis. (In Russ.).

Kurlansky, Mark. (1999). *The Basque History of the World*. New York: Penguin Group.

Loewen, Brad (2016). Interwined Enigmas: Basques and Saint Lawrence Iroquoians in the Sixteenth Century. *Contact in the 16th century. Networks among Fishers, Foragers and Farmers*. Edited by: Brad Loewen, Claude Chapdelaine. Mercury Series. Ottawa: University of Ottawa Press, 57—75.

Martijn, Charles A. (1990). The Iroquoian Presence in the Estuary and Gulf of St. Lawrence River Valley: A Reevaluation. *Man in the Northeast* 40. Rindge, N.H.: Anthropological Research Center of Northern New England, 45—63.

Michelena, Luis (1989). *Apellidos vascos*. San Sebastian: Cuarta edición.

O'Hagan, John (2015). *When the Basques Ruled California 1784—1834*. Caldwell, Idaho: Caxton Press.

Poirier, Jean (2006). La toponymie du Québec. *Dictionnaire illustré — Noms et lieux du Québec.* Quebec: LES PUBLICATIONS DU QUÉBEC. XXXIII—XLV.

Pospelov, Evgeniy (1998). *Geograficheskie nazvaniya stran mira: Toponimicheskiy slovar': Svyshe 5 000 edinits.* [Geographic names of world's countries: Toponymical dictionary: More than 5000 naming units. Moscow: AST. (In Russ.)].

Rayburn, A. (2001). *Naming Canada*. Toronto: University of Toronto Press.

Salaberri, Patxi, Salaberri Iker (2011). Basque Legacy in the New World: on the Surnames of Latin American Presidents — *ASJU,* xlv-2. Bizkaia: Universidad del País Vasco, 115—151.

Sarkisian, Vahan (2000). *Vascos y armenios: Documentos y materiales*. Erevan: Asoghik.

Sudar', Galina (2007). *Ispanskaya toponimiya* [Spanish toponymy]. Moscow: RosNOU. (In Russ.).

Tardivel, Louis (1991). *Répertoire des emprunts du français aux langues étrangères*. Quebec: Septentrion.

Toña, Miguel (2015). Las listas de Podemos *Euskadi* abren una brecha con la dirección nacional, *El País*, 15 de noviembre de 2015. EDICIONES EL PAÍS S.L. Retrieved from: https://elpais.com/ccaa/2015/11/04/paisvasco/1446654187_649430.html [Last viewed: 15.09.17].

Trinidad, Víctor (2014). Repetí el ascenso al cerro Euskadi para subir a su cima una ikurriña comprada en Durango. *About Basque Country*. Retrieved from: https://aboutbasquecountry.eus/2014/09/09/la-cima-vasca-mas-alta-tiene-3-615-metros-de-altura-y-esta-en-los-andes/ [Last viewed: 20.08.17].

Zorroguieta, Jorge, Goyenechea, Mauricio (2012). *Los vascos en la Argentina: familias y protagonismo.* Anuario de la Fundación Vasco Argentina "Juan de Garay". Buenos Aires.

Article history:
Received: 20 November 2017
Revised: 15 December 2017
Accepted: 15 January 2018

For citation:
Chesnokova, Olga, Pedro Leonardo Talavera-Ibarra, and Ksenia Bolotina (2018). New World Basque Toponymy in the Dialogue of Languages and Cultures. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (2), 251—264. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-251-264.

Bionotes:

OLGA S. CHESNOKOVA is Full Professor at the Department of Foreign Languages at RUDN University. He has authored more than 190 publications on diversity in the Spanish language, intercultural communication, linguistic contact, Spanish-Russian-English translation, and toponymy. Altogether, 12 students have defended their PhD dissertations under her supervision, six on Toponymy in Latin America, Canada, and the USA. *Contact information*: e-mail: tchesnokova_olga@mail.ru

PEDRO LEONARDO TALAVERA-IBARRA is PhD in Comparative Literature (UT, Austin Texas, USA), full-time Professor at the Department of Foreign Languages of Missouri Southern State University, USA. He is a specialist on Spanish and Latin American civilizations, the author of 40 publications and original methodologies of teaching Spanish, and has more than 30 years of teaching and research experience in Mexico and the USA. *Contact information*: e-mail: Talavera-P@mssu.edu

KSENIA BOLOTINA is PhD student completing her Doctoral dissertation and is devoted to the onomastics of Quebec, Canada and Quebec ethno specific discourse. She is the winner of the best postgraduate student award (Master of Linguistics) — 2015, awardee of the government scholarship for scientific research 2016—2018, and is a current participant of full employment PhD program at RUDN University. *Contact information*: k.e.bolotina@gmail.com

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-251-264

БАСКСКАЯ ТОПОНИМИЯ НОВОГО СВЕТА В ДИАЛОГЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР

О.С. ЧЕСНОКОВА[1], ПЕДРО ЛЕОНАРДО ТАЛАВЕРА-ИБАРА[2], К.Э. БОЛОТИНА[1]

[1]Российский университет дружбы народов
117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

[2]Южный Университет Штата Миссури
950 Newman Rd., Joplin, MO 64801, USA

В статье обобщаются результаты исследования баскской топонимии Канады, США и испаноговорящих стран Латинской Америки; в статике и динамике определяются ее экстра- и интралингвистические параметры. Авторы анализируют и систематизируют баскское топонимическое наследие, представленное на картах Канады, Соединенных Штатов Америки и испаноговорящих стран Латинской Америки, и предлагают широкое понимание баскской топонимии, принимая во внимание ее распространение за пределами ареала исконного проживания басков. Примерно 70 упомянутых и проанализированных в статье топонимов было отобрано на основании их лингвокультурной, географической, ассоциативной и коммеморативной значимости. Исторический, лингвистический, семиотический и диалогический (по М.М. Бахтину) подходы, использованные в исследовании, раскрывают особенности баскской истории, а также взаимодействие баскского языка (Euskara) с другими языками и культурами, что нашло отражение в топонимии Нового Света. В связи с тем что современные исследования баскского языка (см. Loewen, Bakker, Igartua, Zabaltza) в основном сосредоточиваются на его истории, авторам представилось важным изучить баскское топонимическое влияние на другие языки и культуры, а также рассмотреть баскскую топонимию через призму языковых контактов баскского языка с английским, французским и испанским языками и соответствующими лингвокультурами Нового Света. Топонимы-кальки, топонимические аллюзии и коммеморативные антропотопонимы, воздающие дань баскам, являются частью топонимического наследия Нового Света. Установлено, что план выражения баскских топонимов Нового Света соответствует лексическим единицам, используемым для обозначения соответствующих географических объектов, а план содержания подвергся изменениям ввиду языковых контактов с доминантным языком. Баскские топонимические аллюзии могут быть как эксплицитными, так и имплицитными; в большинстве случаев это антропотопонимы, баскская этимология которых прослеживается через типичные для баскских фамилий ономастические модели. Таким образом, систематизация баскской топонимии Нового Света является трансдисциплинарной задачей современной ономастики, романо-германского языкознания, общей и прикладной лингвистики, теории и методики преподавания иностранных языков, а также важным шагом на пути к созданию типологии, отражающей разные типы баскского ономастического наследия. В заключение авторы приходят к выводу, что баскская топонимия Нового Света является уникальным явлением в парадигме времени и пространства.

Ключевые слова: теоретическая ономастика, топонимия, баскский язык, испанский язык, французский язык, английский язык, топоформанты, языковые контакты, баскские топонимические аллюзии

История статьи:
Дата поступления в редакцию: 20 November 2017
Дата принятия к печати: 15 January 2018

Для цитирования:
Chesnokova, Olga, Pedro Leonardo Talavera-Ibarra, and Ksenia Bolotina (2018). New World Basque Toponymy in the Dialogue of Languages and Cultures. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (2), 251—264. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-251-264.

Сведения об авторах:

ОЛЬГА СТАНИСЛАВОВНА ЧЕСНОКОВА — доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры иностранных языков филологического факультета Российского университета дружбы народов, автор более 190 публикаций по варьированию испанского языка, межкультурной коммуникации, языковым контактам, переводу художественного текста в парадигме русский-испанский-английский языки, топонимике Латинской Америки. Под ее руководством были защищены 12 диссертаций на соискание ученой степени кандидата филологических наук, 6 из них — по топонимии Латинской Америки, Канады и США. *Контактная информация:* e-mail: tchesnokova_olga@mail.ru

ПЕДРО ЛЕОНАРДО ТАЛАВЕРА-ИБАРРА — профессор кафедры иностранных языков Южного Университета Штата Миссури (США). Защитил диссертацию по сравнительному литературоведению в Техасском университете в Остине (США). Автор более 40 публикаций, создатель авторских методик по дистанционному преподаванию испанского и русского языков, имеет более 30 лет опыта преподавательской и научно-исследовательской деятельности в Мексике и США. *Сфера научных интересов:* цивилизация Испании и Латинской Америки, русская, испанская, французская и латиноамериканская литература, русский и французский символизм, поэзия модернизма. *Контактная информация:* e-mail: Talavera-P@mssu.edu

КСЕНИЯ ЭДУАРДОВНА БОЛОТИНА — аспирант кафедры иностранных языков филологического факультета Российского университета дружбы народов, победитель конкурса лучший выпускник (2015 г.), участник программы «Аспирантура полного дня» (инновационная программа РУДН, направленная на развитие академической карьеры и вовлечение аспирантов в мировое научное сообщество, 2016—2017 гг.), стипендиат правительства РФ (2016—2018 гг.). *Сфера научных интересов:* ономастика и этноспецифический дискурс Квебека, Канада. *Контактная информация:* k.e.bolotina@gmail.com

Russian Journal of Linguistics 2018 Vol. 22 No. 2 265—277
Вестник РУДН. Серия: ЛИНГВИСТИКА http://journals.rudn.ru/linguistics

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-265-277

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВИД РОДСТВА В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОМ ПОЛЕ «СЕМЬЯ» В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И КУМЫКСКОМ ЯЗЫКАХ

Л.Р. САКАЕВА[1], Г.Г. БАГАУТДИНОВА[2]

[1]Казанский федеральный университет
420008, Казань, Россия ул. Кремлевская, д. 18

[2]Многопрофильный колледж
422985, Чистополь, Россия, ул. К. Маркса, д. 78

Понятие «семья» — одна из ключевых культурных констант, входящая в число важнейших концептов языкового сознания любого этноса. Актуальность исследования обусловлена тем, что лексические средства выражения концепта «семья» обладают как универсальностью, так и национальной спецификой. Объектом исследования являются фразеологические единицы тематического поля «родственные отношения» в разноструктурных языках: русском, английском и кумыкском. Русский язык является одним из восточнославянских языков, по своему морфологическому строю он флективный, синтетический; английский принадлежит к германской ветви индоевропейской языковой семьи, являясь аналитическим; кумыкский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков и характеризуется как агглютинативный. В статье проводится комплексное сопоставительное исследование лексико-семантических компонентов вертикального родства, их структуры и средств объективации в трех неродственных языках с целью выявления особенностей восприятия, понимания и выражения смысла, который содержится в значимых лексических единицах, раскрывающих семантические элементы лексем *семья, family, уягьлю*. Выстроена организованная структурированность лексических признаков лексемы «семья» («род», «клан», «племя», «нация») в сопоставляемых языках на языковом, понятийном и ментальном уровнях; выявлена их когнитивная и лингвокультурная специфика. В статье задействованы следующие методы: описательно-аналитический, культурологический анализ, метод семантико-когнитивного анализа (с элементами компонентного и оппозитивного описания исследуемых явлений и дефиниционного анализа). Теоретическая значимость проведенного исследования определяется его вкладом в решение общелингвистической задачи соотношения единиц языка и мышления, важностью выявления этнокультурной когнитивной специфики в русской, английской и кумыкской лингвокультурах. Сопоставительный анализ фразеологических единиц тематического поля «родственные отношения» в разноструктурных языках позволяет установить общие черты и различия в языковых картинах мира трех этносов, которые могут найти применение в когнитологии, социолингвистике, психолингвистике, а также межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: семья, вертикальный вид родства, род (клан), племя, нация, английский язык, русский язык, кумыкский язык

1. ВВЕДЕНИЕ

Семья и родственные отношения, являясь тесно связанными понятиями, не могут существовать за пределами друг друга. Если речь идет о семье, то, само собой, затрагивается и тема родственных отношений и наоборот. На центральном месте при заключении брака и создании семьи располагаются родственные отношения. Семья является неким институтом с большим количеством связей. Являясь

системой мироздания и наиболее общим понятием, семья включает в себя родственные отношения. Последние, в свою очередь, будучи компонентом семьи, состоят из множества близких и дальних родственников. Семья — это общественное устройство, содержащее древние нормы и современные нравы и законы. «Семья составляет лишь первоначальную основу рождения людей, корень каждого рода, затем она неизбежно разрастается многими ветвями, целым древом, как до сих пор это наглядно изображают, когда хотят объяснить происхождение и разветвление того или иного рода» (Забелин 1991: 273).

Лексема «семья» имеет четкое языковое отражение и широко распространена в языковых средствах, т.к. является одной из древнейших. Последняя является межкультурной универсалией. В основе данной лексемы лежат семейные отношения с прослеживающейся кровной связью между членами и душевной привязанностью друг к другу. Семья является неким государством со своей территорией, менталитетом и ценностями. Однако в государстве все подчиняется и регулируется законами, тогда как основу семьи составляют неписанные правила и традиционные представления о том, как должен вести себя каждый член семьи в тех или иных обстоятельствах.

Известно, что цивилизованное общество возникает с зарождения семьи: семья переходит в род (клан), род (клан) — в племя, племя — в нацию и, в конце концов, в человечество. В русском языке «семья» происходит от слова «семя», а ведь из семени вырастает колос, зерно, это крупица, которая содержит в своем зародыше весь мир (Фасмер). Лексема «семья» обладает национальной специфичностью и интернациональной универсальностью. Изучив материал словарных статей, на данном этапе выделяются следующие лексико-семантические компоненты семантического поля: Схема 1. 1) семья — род (клан) — племя — нация; 2) семья: кровное родство, некровное родство, домочадцы.

Таким образом, семья является фундаментом для образования рода, затем племени, затем нации и, конечно же, человечества в целом. Вслед за Е.А. Кострубиной мы подразделяем семейные отношения на вертикальные и горизонтальные (Кострубина 2011). Под вертикальными отношениями принято считать отношения, касающиеся дистанции власти по шкале выше — ниже (Hofstede 1084, 1991, Ларина 2009). Горизонтальные отношения представляют собой отношения по шкале близкий—далекий, что распространяется в том числе и на отношения между близкими и дальними родственниками. В рамках данной статьи на основе анализа фразеологизмов с лексемами *семья, family, уягьлю*, мы ограничиваемся вертикальным видом родства и проводим анализ основных составляющих компонентов данного вида родства.

2. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ «РОД/КЛАН/LINE/CLAN/УРЛУКЪ/ТУХУМ»

Род/line/урлукъ и **клан/clan/тухум** представлены в качестве первых, самых близких групп к семье, куда относится определенная семья в качестве составляющей. И род, и клан — это союз крупных семей. Такие семьи были связаны родственными отношениями и вели совместное хозяйство в древние времена,

демонстрируя единство в происхождении и общность местожительства. **Род** в русском языке — это «ряд поколений, происходящих от одного предка, а также вообще поколение (Ожегов), т.е., «родственники одной степени родства по отношению к общему предку» — «древнему предшественнику по роду, а также соотечественнику из прежних поколений» (Ожегов). Следующие ФЕ характерны для русского языка: *«род людской/ человеческий»; «без роду и племени»*. **Line** в английском языке — a set of people following one another in time, esp. a family (букв. общество людей, следующих друг за другом во времени, особенно, в семье) (Longman Dictionary of English Language and Culture). Остановимся на данных ФЕ: *«hard lines (on smb)» — неудача; горькая доля, несчастная судьба; «the line of life» — «линия жизни (на ладони)»*.

Идею преемственности поколений можно найти в толковании лексемы «род», содержащей ссылки на фактор времени как в английском, так и в русском языках. Позитивная словообразовательная парадигма лексемы «род» в русском языке изобилует с точки зрения семантики. Значимость рода/родства подчеркивают следующие значимые для национального менталитета понятия: «Родина», «рождение», «родословная». Как показало исследование, в английском языке такие понятия не отмечены.

Система самосохранения и выживания тюркских народов обозначается следующим образом: семья — род — племя — общество — человечество (Гаджиева 2009). Древние тюрки обладали четким противопоставлением свойственников и родственников. Основополагающими терминами, которые служат отражением сути отношений между родственниками в тюркских народах, являются: «сой», «тайпа», «тухум» — «род» и «nesil» — «поколение». Проведем сравнение следующих терминов: тур. «soy»; гаг. «soy/сой»; тат. «туу», «туган», «токым», «нэсел»; кум. «тухум», «тайпа» (чеченск. «тейп») — «племя, рожденный, род». Из этого следует восхождение этимологии к тюркскому слову «тохум» (тур. «tohum») — «семя», «семечко», «зерно». Этимология слова восходит к «тувган», «товган», «тувгъан» — «род», «рожденный». Они относятся к общим терминам родства (Гаджиева 2009).

Кумыки при обозначении понятия «наш род» используют следующие термины: тухум, тайпа и урлукъ. Значения выражений *«бизин урлугъумуз»* и *«бизин тайпамыз»* (*«бизин тайпамиз»* — отемишский говор кайтагского диалекта) — «наш род» являются синонимичными. Однако существует различие в значениях терминов «тухум» и «тайпа». При помощи лексемы «тайпа» обозначается «племя», «род». Примером может служить выражение: *«Биз Минатулланы тайпасынданбыз*», что в переводе означает *«Мы из рода Минатуллы»*. За счет процесса русификации фамилий также встречается данное выражение: *«Биз Минатуллаевлени тайпасынданбыз» — «Мы из рода Минатуллаевых»*. Близкие родственники: названия родов (тайпалар) также могут даваться следующим образом: *«Шившикан тайпасы» — «род Шившикан»* («шившикан» — «шептуны»); *«Шо улан Ахав тайпасындан» — «Тот парень из рода Ахав»*; *«Чавакъчилар»*. В качестве примера приведем данное выражение: *«Жежу бизин тухумларимиз бола»* (отемишский говор кайтагского диалекта) — *«Жежу приходится нам родственницей»*. Лексема

«урлукъ» в кумыкском языке используется с именем одного из предков и параллельно с названием самого рода, наследуемое им из поколения в поколение, чтобы обозначить понятие представителя конкретного рода. К примеру, *«Биз чавакъ урлукътанбыз» — «Мы из племени, рода Чабакъ»* («Чабакъ» — рыба, используется, чтобы обозначить многочисленность рода); *«Биз Чопалавну урлугъундан-быз» — «Мы из рода Чопалава»*. Что касается обширного смысла понятия «род», то оно может быть выражено следующими словосочетаниями: дос-къардаш; тайпа-тухум. В качестве примеров приведем предложения.

«*Тойгъа тухум-тайпа гелди». — «На свадьбу прибыл весь род». «Тойгъа бары дос-къардаш жыйылды». — «На свадьбу собрались все — близкие и дальние родственники»* (Гаджиева 2009).

Итак, слово «род» представляет собой группу родственников, объединенную с помощью одного наименования и обладающую разного рода правами и обязанностями. Функция термина родства на все времена — это статусное определение, положение имущественных дел, права наследования, права занятия должности — права на сан, титул и т.д.

Лексема «клан» с кельтского языка переводится как «отпрыск, потомство». Под изначальным значением данной лексемы в узком смысле понимали кельтскую родовую общину, в частности, у ирландцев и шотландцев. Широкое значение следующее: **«клан»** — это «род или группа родственников, объединенных хозяйственными и общественными узами» (Ожегов). В английском языке **clan** (esp. in Scotland) — a group of families, all originally descended from one family and all usu. having the same family name. In the past, each clan had a chief and wore cloth decorated with a particular pattern (a tartan) (букв. группа семей, происходящих от одной семьи и обычно носящих одно имя. В прошлом каждый клан имел родоначальника и носил одежду, декорированную определенным рисунком ткани) (шотландка) (Longman Dictionary of English Language and Culture). Чаще всего клан носил имя родоначальника.

Основное предназначение клана состояло в могуществе и единстве крупного союза родственников, который возглавлялся старшим в роду. Соответственно, он являлся ответственным как за ближайших, так и за дальних родственников, что представлялось важным показателем для счастливой семейной жизни. Спустя время семантика слова «клан/clan» подвергается изменениям, которые можно найти в пояснительных словарных статьях толковых словарей. Так, к примеру, исходное значение слова «клан» («род», «родовая община») уже демонстрируется в словарях с пометой «специальное». Здесь представлены следующие значения: **Клан** — замкнутая группировка людей, считающих себя избранными, лучшими в каком-нибудь отношении (Ожегов). **Клан** — замкнутая, тесно сплоченная группа людей (часто одной национальности, профессиональной, политической и другой ориентации), отстаивающей свои интересы (Скляревская 2005: 246). **Clan** — *humour* a large family or group of related people (юмористическое букв. большая семья или группа людей, относящихся к семье) (Longman Dictionary of English Language and Culture). Во фразеологической системе русского и английского языков не зафиксировано примеров употребления ФЕ с компонентом «клан», «clan».

В английском языке меняется отношение к клану как к явлению социально высоко значимому, в то же время наблюдается толкование слова с точки зрения юмора. В русском языке отчетливо видно тесное переплетение области родовых отношений с областью отношений общества. «Клановость — это разделенность (общества, общественной организации) на кланы» (Скляревская 2005: 246).

На сегодняшний день «клан» представляет собой различные группировки мафиозных, олигархических, автократических и политических структур. Эти группировки преследуют определенные цели, зачастую асоциальные. Исходя из этого, ментальное восприятие лексемы «клан» современным русским человеком имеет окраску негативности (Багаутдинова 2013).

Жизнь социума является фактором, приводящим к неизбежности в языковых изменениях: изменяется содержательная сторона лексемы, которая в свое время обозначала кровное родственное единство; сегодня это союз «сильных мира сего», зачастую с корыстными задачами и целями, часто незаконными и нечестными, которые направлены против социума. В английском языке в пространстве ментальности основное значение данной лексемы не поменялось и в настоящее время укореняет законы и традиции отношений внутри семьи. Тем не менее, существует тайный и противозаконный оттенок лексемы. В британском сознании он связан с историческими действиями и обычаями шотландских кланов (когда шотландцы были вынуждены пойти на действия под давлением законов Англии, поскольку шотландцы никогда не признавали эти законы). Это лексема «clandestine» — *adj.* Done secretly or privately, and often against the law (букв. сделанный тайно, и часто вне закона) (Longman Dictionary of English Language and Culture). В кумыкском же языке нами не зафиксировано употребление лексемы «клан» как в качестве указания рода или группы родственников, объединенных определенными узами, так и для характеристики «мира сего», цели и задачи которых направлены против социума.

3. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ «ПЛЕМЯ»

Следующий уровень в иерархическом включении семьи в нацию представлен группой — **племя/tribe**. В понятие племени входят: общность территорий, отношения в экономике, единство языка, самосознание, а иногда и самоуправление — более высокий уровень развития.

Племя/tribe — антропологический термин. С позиции развития общества и истории основой племени является родство, что и отличает его от королевства или государства, или такой же организованной структуры общества.

Племена — самые жизнеспособные системы общества. Они имеют право на существование, как в рамках определенного государства, так и вне этих рамок, а также имеют или не имеют политическую зависимость от него. Большинство антропологов полагают, что племя обозначает любую систему, которая базируется на родственном принципе, включая род/line и клан/clan. Некоторые теоретики придерживаются мнения, что племена в эволюции занимают место непосредственно перед государством [Большой энциклопедический словарь]. В русском

пространстве ментальности репрезентант лексемы «племя» произошел из праславянского *pled-men, связанного с *plodъ. Это однокоренные слова с историческим чередованием гласных, они одинаково значат «рождение», т.е. то, что возникло из семени, прозябло, проросло, дало плоды (Колесов 1986: 20).

Семантику слова «племя» «уже на заре славянского христианства книжная традиция противопоставляла слову „семя“, обозначающему божественное, т.е. целиком духовное, земное по значению племя» (Колесов 1986: 20). На русской почве большинство терминов социологизировалось с введением христианства. В связи с этим слово «племя» приобрело статус социального термина вместо биологического — «семя».

Много аспектов приписывается к семантике слова.

«Племя» — это «вид животных, колено, поколение, род, потомство, приплод, народ, язык, совокупность местных уроженцев» (Даль).

Сегодняшнее значение тоже многосторонне. Книжным устаревшим стало толкование слова «происхождение», «род, семья» — устаревшим, «поколение, современники» — риторическим, «вид, род, семейство каких-нибудь животных» — шутливым, «род, группа, категория людей, объединенных чем-нибудь, какими-нибудь общими качествами» — шутливым, разговорным или презрительным, бранным (Ушаков).

Многим известно идиоматическое выражение *«Какого вы роду-племени?»*, где наполняемость слов «род» и «племя» с семантической точки зрения близка, а значит, вышеуказанные единицы приобретают синонимичность на одном из этапов развития. На Руси считались очень важными внешность человека, его корни, также обращалось большое внимание на то, к какой родовой ветви и к чьему племени он принадлежал. Зная предков, делали определенные выводы о самом человеке. Из-за нейтрализации семантики сочетание «род-племя» становится самостоятельной единицей. Из-за того, что в то время господствовала экзогамия, у родов не было изолированного существования, а были племенные объединения, тем самым произошло сближение значения слов «род» и «племя». Отсюда появилась возможность идиоматического выражения *«Какого вы роду-племени?»*.

Первое упоминание английской лексемы «tribe» встречается в источниках литературы XII века. Происхождение слова «tribe» связано со старофранцузским «tribu», а оно происходит от латинского «tribus», которое обозначало войско Рима с тремя подразделениями в своем составе (Tites, Ramnes, Luceres, которые можно соотнести с Latins, Sabines, and Etruscans). Данная лексема не до конца исследована с этимологической точки зрения, известна версия, по которой она происходит от двух корней: *tri — «three» (три) и *bhew — «to be» (быть) (Wilton’s Etymology Page).

Заимствование из латинского языка, используемое в Библии, происходит от греческого «phyle» со значением «race», «tribe», «clan» («раса», «племя», «клан») и древнееврейского «טבש». Таким образом, с исторической точки зрения «race» («раса»), «tribe» («племя»), и «clan» («клан») представляют собой синонимы. ФЕ с компонентом «tribe» не отмечены, в то время как с компонентом «race» пред-

ставлены: *«the human race» — человечество, род человеческий, род людской; «rat race» — пренебр. жесткая конкуренция; бешеная погоня за богатством, успехом, карьерой.*

До сегодняшнего дня вопрос о характеристике племен вызывает дискуссии. Ведутся обсуждения о различиях между современными и древними племенами, об их культурном развитии и становлении и о колониализме. Племена — это олицетворение первобытных связей общества, они обладают структурированностью, однородностью и стабильностью. Итак, большинство ученых полагают, что племена — это связь между семьями (а также кланами и родами), они в состоянии обеспечить идеологическую базу для более ограниченного единения, в отличие от нации.

Изначальное название родственников у древних тюрок зародилось с разделением на племена. Данное понятие отражало слово «uruy», а для кумыкского языка характерно «урлукъ», «орлукъ» — «семя»; др.-кыпч. «uruy tarуy» — «родня».

Урлукъ — 1) семя, семечко, семена // семенной; **~ гьазирлев** заготовка семян 2) **~ чачмакъ** сеять семена; **~ оьсдюрюв** выращивание семян; **~ оьсдюрювчю** семеновод; **~ оьсдюреген хозяйство** семеноводческое хозяйство; **~ тазаламакъ** очистить семена, сортировать семена; **~ фонд** семенной фонд 3) *биол.* семя // семенной 4) род; племя; **адам ~** а) человеческий род; б) много народу 5) родственники, сородичи; **ана ~** родственники со стороны матери; материнский род; **ата ~** родственники со стороны отца; отцовский род ◊ **~ гъун ёкъ этмек** перебить всех до единого (*букв.* истребить весь род); **кёкде юлдузланы ~гъу да ёкъ** на небе нет ни одной звезды; **~ гъун уьшютмек** заморозить весь род (т.е. уничтожить весь род); **~ салмакъ** метать икру *(о рыбе).*

Выделены следующие ФЕ: *«урлугъун ёкъ этмек» — истребить, уничтожить всех, всё до единого; «урлугъунг уьшюсюн!» — чтоб тебе не было пусто!*

4. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ «НАЦИЯ/NATION/МИЛЛЕТ»

Нация — это духовная и культурно-политическая общность людей, образовавшаяся в связи со становлением государства (по этапам род — племя — нация), где определенный этнос получает суверенитет и образует государственность как полноценную собственность.

Нация — 1. исторически сложившаяся общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни, а также на основе специфической только для данного этноса, добровольно и естественно принимаемой всеми национальной культуры и формируемого на ее основе национального интереса; 2. государство, страна (Ефремова). Использование лексического компонента «нация» во фразеологической системе русского языка не выявлено.

Nation — 1. a country, especially when thought of as a large group of people living in one area with their own government, language, traditions, etc. (букв. страна, рассматриваемая как большая группа людей, проживающих на одной территории, с одним правительством, языком, традициями и т.д.); 2. a large group of people of the same

race who share the same language, traditions and history, but who might not all live in one area (букв. большая группа людей одной расы, не обязательно проживающей на одной территории) (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).

Приведем следующие ФЕ: *«a nation of shopkeepers» — «нация лавочников» (прозвище англичан).*

Миллет — 1) нация; национальность; ~ **инг недир?** Какой ты национальности?; **Бирлешген** ~ **лени** Къуруму Организация Объединенных Наций (ООН); ~ **лени Совети** ист. Совет Национальностей; ~ **лени лигасы** ист. Лига наций; ~ **айырыв** национализм; ~ **айырывчу** националист; ~ **лени тенг ихтиярлылыгъы** национальное равноправие; ~ **лени пайдалары** национальные интересы 2) народ; **къумукъ** ~ кумыки, кумыкская нация; **бютюн ~ жыйылгъан** собрался весь народ; ~ **ланы дослугъу** дружба народов ◊ ~ **ин сюймеген атасын-анасын да сюймес** погов. кто не любит свой народ, тот и отца-мать свои не любит (Бамматов 1997).

Для кумыкского языка характерно употребление: *«миллет аздыргъан» — экспрес. (букв. тот, кто заставляет худеть нацию) соотв. Семья не без урода. Выродок.*

Нация может подразделяться на два вида: полиэтничную (многонародную) или моноэтничную. Нации, являющиеся этнически однородными, весьма редки и их можно найти лишь в дальних уголках мира (к примеру, в Исландии). Зачастую нация состоит из большого количества этносов, которым свойственна одна историческая судьба. Нация представляет собой и этнический, и культурный, и социальный феномены. Нация содержит в себе различные виды субкультур, которые обусловлены географическими, этническими, социальными, классовыми и хозяйственными факторами. Русская и английская нации являются полиэтническими и одними из самых больших по численности, в то время как кумыкская — моноэтническая нация.

В экономической традиции рождение человека, его жизнь и смерть происходят в одном кругу, человека окружают одни и те же люди, и он не нуждается в другом сообществе. Мобильность все больше и больше возобладает человеком, происходит расторжение семейных и соседских связей. Нация прибегает к восстановлению социальных и психических связей человека на новом этапе, где повседневная жизнь приобретает глобальный размах. Бенедикт Андерсон называет нацию «воображаемым сообществом», т.е. сообществом, создаваемым и удерживаемым силой членов воображения и их братских чувств, а не личным знакомством членов.

5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В данной статье нами был проведен сопоставительный анализ лексем *семья/family/уягьлю* в разноструктурных языках — русском, английском и кумыкском с целью установления общих черт и различий в восприятии, понимании и выражения смысла, который содержится в значимых лексических единицах. Результаты анализа позволили сделать следующие выводы.

1. Анализ вертикального вида родства лексем «семья» («род», «клан», «племя», «нация») в сопоставляемых языках позволил выделить четкую структури-

рованность лексических признаков на ментальном, языковом и понятийном уровнях. Данные лексемы показывают способ становления семьи от племенных и родовых отношений до включения ее в нацию. При этом содержание последующего уровня дает начало ментальной и семантической наполняемости признаков лексемы каждого предыдущего уровня и дополняет его понятийную базу.

2. Лексемы *семья, family, уягьлю* обладают как универсальностью, так и этнокультурной специфичностью. Выделяются следующие лексико-семантические компоненты семантического поля: 1) семья — род (клан) — племя — нация; 2) семья: кровное родство, некровное родство, домочадцы. Таким образом, семья является фундаментом для образования рода, затем племени, затем нации и, конечно же, человечества в целом.

3. Понятие «род» обозначает группу родственников, объединенную с помощью одного наименования и обладающую разного рода правами и обязанностями. Функция термина родства на все времена — это статусное определение, положение имущественных дел, права наследования, права занятия должности — права на сан, титул и т.д. Позитивная словообразовательная парадигма лексемы *род* в русском языке изобилует с точки зрения семантики. Значимость рода/родства в русском языке подчеркивают следующие значимые для национального менталитета понятия: *Родина, рождение, родословная.* Отмечены примеры употребления ФЕ с компонентом «род» в русском, английском и кумыкском языках.

4. В русском языке отчетливо видно тесное переплетение области родовых отношений с областью отношений общества. На сегодняшний день «клан» представляет собой различные группировки мафиозных, олигархических, автократических и политических структур. Исходя из этого, ментальное восприятие лексемы «клан» современным русским человеком имеет окраску негативности. В английском языке в пространстве ментальности основное значение данной лексемы не поменялось и в настоящее время укореняет законы и традиции отношений внутри семьи. Тем не менее, существует тайный и противозаконный оттенок лексемы. В кумыкском же языке нами не зафиксировано употребление лексемы «клан» как в качестве указания рода или группы родственников, объединенных определенными узами, так и для характеристики «мира сего», цели и задачи которых направлены против социума. Кроме того, ни в одном из исследуемых языков нет примеров ФЕ с компонентом «клан».

5. Большинство ученых полагают, что племена служат в качестве связи между семьями (а также кланами и родами), они в состоянии обеспечить идеологическую базу для более ограниченного единения, в отличие от нации. Русскому и кумыкскому языкам характерно наличие ФЕ с компонентом «племя». В английском же языке примеров употребления ФЕ с компонентом «tribe» не зафиксировано, однако, являясь синонимом слову «tribe», лексема «race» получила отражение во фразеологической системе.

6. *Нация/nation* представляется в виде духовной и культурно-политической общности людей, образовавшейся в связи со становлением государства (по этапам род — племя — нация), где определенный этнос получает суверенитет и образует государственность как полноценную собственность. Нация может подразделяться

на два вида: полиэтничную (многонародную) или моноэтничную. Нации, являющиеся этнически однородными, весьма редки и их можно найти лишь в дальних уголках мира (например, в Исландии). Зачастую нация состоит из большого количества этносов, которым свойственна одна историческая судьба. Нация представляет собой и этнический, и культурный, и социальный феномены. Нация содержит в себе различные виды субкультур, которые обусловлены географическими, этническими, социальными, классовыми и хозяйственными факторами. Русская и английская нации являются полиэтническими и одними из самых больших по численности, в то время как кумыкская — моноэтническая нация. Английскому и кумыкскому языкам свойственно употребление ФЕ с компонентом «нация», в то время как русскому не свойственно.

Проведенное исследование вносит вклад в решение общелингвистической задачи соотношения единиц языка и мышления. Сопоставительный анализ фразеологических единиц тематического поля «родственные отношения» в разноструктурных языках позволил установить общие черты и различия в языковых картинах мира трех этносов. Результаты данного сопоставительного исследования представляют интерес для когнитологии, социолингвистики, психолингвистики, а также межкультурной коммуникации.

© Л.Р. Сакаева, Г.Г. Багаутдинова, 2018

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Абакарова М.М., Гаджиахмедов Н.Э. Термины родства в диалектах кумыкского языка // Проблемы отраслевой лексики дагестанских языков: термины родства и свойства. Махачкала. 1985. [Abakarova, M.M., Gadzhiahmedov, N.Je. (1985). Terminy rodstva v dialektah kumykskogo jazyka // Problemy otraslevoj leksiki dagestanskih jazykov: terminy rodstva i svojstva. Mahachkala. (In Russ.)]

Багаутдинова Г.Г. Вертикальный вид родства в лексико-семантическом поле «семья» (на материале английского и русского языков в сопоставительном аспекте) // В мире научных открытий. 2013. № 11.12(47). С. 182—195. [Bagautdinova, G.G. (2013). Vertikal'nyj vid rodstva v leksiko-semanticheskom pole «sem'ja» (na materiale anglijskogo i russkogo jazykov v sopostavitel'nom aspekte) // V mire nauchnyh otkrytij. № 11.12(47). S. 182—195. (In Russ.)]

Гаджиева Л.А. Термины родства и свойства в кумыкском и турецком языках. Дис. канд. филол. наук. Махачкала. 2009. [Gadzhieva, L.A. (2009). Terminy rodstva i svojstva v kumykskom i tureckom jazykah. Dis. kand. filol. nauk. Mahachkala. (In Russ.)]

Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.) [Электронный ресурс]. URL: http://www.lants.tellur.ru/history/danilevsky/ (дата обращения: 10.12.2016). [Danilevskij, I.N. Drevnjaja Rus' glazami sovremennikov i potomkov (IX—XII vv.). (In Russ.) [Electronic resource] URL: http://www.lants.tellur.ru/history/danilevsky/ (accessed December 10, 2016)]

Дмитриев Н.К. Строй тюркских языков. М.: Изд-во АН СССР, 1962. [Dmitriev, N.K. (1962). Stroj tjurkskih jazykov. M.: Izd-vo AN SSSR. (In Russ.)]

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социальные институты и процессы / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. М.: МГУ, 2000. Т. 3. [Dobren'kov, V.I., Kravchenko A.I. (2000). Social'nye instituty i processy / V.I. Dobren'kov, A.I. Kravchenko. M.: MGU. T. 3. (In Russ.)]

Забелин И.Е. Как жили в старину русские цари-государи / И.Е. Забелин // Панорама, 1991. 48 с. [Zabelin, I.E. Kak zhili v starinu russkie cari-gosudari / I.E. Zabelin (1991) // Panorama. 48 s. (In Russ.)]

Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. 109 с. [Kolesov V.V. (1986) Mir cheloveka v slove Drevney Rusi. L. 109 p. (In Russ.)]

Кострубина Е.А. Гиперконцепт семья/дом — family/home в русской и английской лингвокультурах: дис. ... канд. филол. наук. Омск. 2011. 159 с. [Kostrubina, E.A. (2011). Giperkontsept sem'ya/dom v russkoy i angliyskoy lingvokul'turakh. Omsk. 159 p. (In Russ.)]

Сакаева Л.Р. Фразеологические единицы с соматическим компонентом в разноструктурных языках // Социально-экономические системы. 2006. № 13. [Sakaeva L.R. (2006) Frazeologicheskie edinicy s somaticheskim komponentom v raznostrukturnyh jazykah. Social'no-jekonomicheskie sistemy. № 13. (In Russ.)]

Сакаева Л.Р. Пословицы русского и английского языков, семантически направленные на человека // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2008. № 3. С. 84—89. [Sakaeva L.R. (2008) Poslovicy russkogo i anglijskogo jazykov, semanticheski napravlennye na cheloveka. Vestnik Moskovskogo Gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Serija: Lingvistika. № 3. S. 84—89. (In Russ.)]

Сакаева Л.Р., Кенжетаева Г.К., Яхин М.А. Исследования фразеологических единиц в отечественном и зарубежном языкознании // Современный мир изменений. Научное приложение к журналу «Лин компаньон». № 1(1), сентябрь, 2016. С. 44—50. [Sakaeva L.R., Kenzhetaeva G.K., Jahin M.A. (2016) Issledovanija frazeologicheskih edinic v otechestvennom i zarubezhnom jazykoznanii. Sovremennyj mir izmenenij. Nauchnoe prilozhenie k zhurnalu «Lin kompan'on». № 1(1), sentjabr', 2016. S. 44—50. (In Russ.)]

Сафонова М.И. Практикум по гендерной психологии / Под ред. И.С. Кпециной. СПб.: Питер, 2003. [Safonova, M.I. (2003). Praktikum po gendernoj psihologii / Pod red. I.S. Kpecinoj. SPb.: Piter. (In Russ.)]

Социальная лингвистика и общественная практика: Аспекты социокультурного варьирования полиэтничного англ. языка. Киев. 1988. 165 с. [Social'naja lingvistika i obshhestvennaja praktika: Aspekty sociokul'turnogo var'irovanija polijetnichnogo angl. jazyka. Kiev. 1988. 165 s. (In Russ.)]

Сухомлинский В.А. О воспитании. М. 1979. 353 с. [Suhomlinskij, V.A. (1979). O vospitanii. M. 353 s. (In Russ.)]

Hofstede, Geert H. (1984). Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills CA: Sage Publications.

Hofstede, Geert H. Cultures and Organizations: Software of the mind. London: McGraw-Hill Book Company (UK) Limited, 1991.

Larina, Tatiana, Ozyumenko, Vladimir (2016). Ethnic identity in language and communication. *Cuadernos de Rusística Española*, 12, 57—68 (In Russ.)

Larina, Tatiana, Mustajoki, Arto, Protassova, Ekaterina (2017a). Dimensions of Russian culture and mind. In Katja Lehtisaari and Arto Mustajoki (eds.) *Philosophical and cultural interpretations of Russian modernisation.* Series: Studies in Contemporary Russia. London/New York: Routledge, 7—19.

Larina, Tatiana V., Ozyumenko, Vladimir I., Kurteš, Svetlana (2017b). I-identity vs we-identity in language and discourse: Anglo-Slavonic perspectives. *Lodz Papers in Pragmatics.* Vol. 13, issue 1, 109—128.

История статьи:
Дата поступления в редакцию: 10 мая 2017
Дата принятия к печати: 20 сентября 2018

Для цитирования:
Сакаева Л.Р., Багаутдинова Г.Г. Вертикальный вид родства в лексико-семантическом поле «семья» в русском, английском и кумыкском языках // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2018. Т. 22. № 2. С. 265—277. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-265-277.

Сведения об авторах:
ЛИЛИЯ РАДИКОВНА САКАЕВА — доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой иностранных языков для физико-математического направления и информационных технологий Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета. *Сфера научных интересов*: сравнительно-исторические, типологические и сопоставительные исследования разноструктурных языков на семантическом и структурно-грамматическом уровнях, лексикографические исследования. *Контактная информация:* e-mail: liliyasakaeva@rambler.ru

ГУЛЬНАРА ГАФИЗОВНА БАГАУТДИНОВА — преподаватель английского языка, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Многопрофильный колледж», г. Чистополь. *Сфера научных интересов*: сравнительно-исторические, типологические и сопоставительные исследования разноструктурных языков. *Контактная информация:* e-mail: gulnara_n_86@mail.ru

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-265-277

THE VERTICAL TYPE OF RELATIONSHIP IN THE LEXICAL AND SEMANTIC FIELD «FAMILY» IN THE RUSSIAN, ENGLISH AND KUMYK LANGUAGES

LILIYA R. SAKAYEVA[1], GULNARA G. BAGAUTDINOVA[2]

[1]Kazan Federal University
18 Kremlevskaya St., Kazan, 420008, Russian Federation

[2]Polytechnic College
78 K. Marksa St., Chistopol, 422985, Russian Federation

Abstract

The worldview of any ethnic group includes the concept of “family” as one of the key cultural constants. Lexical means of its expression possess both universal value and cultural specifics, which account for the importance of the study undertaken in this paper. The research deals with phraseological units belonging to the thematic field “kinship relations” in languages of different origin: Russian, English and Kumyk. The difference in their properties is explained by the fact that Russian is one of the inflectional synthetic East Slavic languages; English is an analytical language belonging to the Germanic branch of the Indo-European family; and Kumyk is an agglutinative language, which belongs to the Kipchak group of Turkic languages. The multifaceted comparative study of lexico-semantic components expressing the vertical type of kinship, their structure and means of expression is aimed at the discovery of cultural specifics in the perception and understanding of the concept “family” in Russian, English and Kumyk. The paper contains a structured analysis of lexical characteristics of the lexeme “family” (“line”, “clan”, “tribe”, “nation”)

arranged on the linguistic, conceptual and mental levels. The research is done from the perspective of cultural studies, cognitive linguistics and semantics. It employs the methods of descriptive, analytical and semantic analyses (with elements of componental and definitional analyses). The study contributes to a broader discussion of the correlation of language and mind and is significant for revealing the culture-specific linguistic and cognitive features of Russian, English and Kumyk cultures. The comparative study of phraseological units belonging to the thematic field "kinship relations" is instrumental in revealing communalities and differences in the worldviews of the three cultures.

Keywords: *family, vertical type of kinship, clan, tribe, nation, Russian, English, Kumyk*

Article history:
Received: 10 May 2017
Revised: 28 July 2017
Accepted: 20 September 2017

For citation:
Sakayeva, Liliya and Bagautdinova, Gulnara (2018). The Vertical Type of Relationship in the Lexical and Semantic Field «Family» in the Russian, English and Kumyk Languages. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (2), 265—277. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-265-277.

Bionotes:

LILIYA R. SAKAYEVA is Doctor in Philology, Professor at the Institute of International Relations, History and Asian Studies of Kazan Federal University. Her research interests include lexicographical research and comparative studies. *Contact information*: e-mail: liliyasakaeva@rambler.ru

Gulnara G. BAGAUTDINOVA is a teacher of English at Polytechnic College in Chistopol. Her research interests focus on comparative studies. *Contact information:* e-mail: gulnara_n_86@mail.ru

Russian Journal of Linguistics
2018 Vol. 22 No. 2 278—291
Вестник РУДН. Серия: ЛИНГВИСТИКА
http://journals.rudn.ru/linguistics

ПОЛИТИЧЕСКИЙ И МЕДИАДИСКУРС
POLITICAL AND MEDIA DISCOURSE

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-278-291

PERSUASION IN POLITICAL DISCOURSE: BARAK OBAMA'S PRESIDENTIAL SPEECHES AGAINST ISIS

MINOO ALEMI[1], ASHKAN LATIFI[2], ARASH NEMATZADEH[2]

[1]Islamic Azad University
West Tehran Branch
Shariati St., 1949663311, Tehran, Iran

[2]Sharif University of Technology
Azadi Ave., 11365-11155, Tehran, Iran

Abstract

The current study was concerned with the use of persuasion by President Obama, the former US president, as a discursive strategy in his two speeches delivered on 7/Aug/2014 and 10/Sep/2014 regarding ISIS. Analysis of these speeches was done by the application of Searle's typology theory (1978), and pronoun analysis. That is, assertive, directive, commissive, expressive, and declarative speech acts, first person singular and plural pronouns (inclusiveness and exclusiveness), and agency. The findings of the study revealed that assertives were the most frequent speech act utilized in both speeches. Considering the function of assertives, this study showed that President Obama's major intention was to justify the airstrikes launched by the US army on ISIS's zones in Iraq. Besides, first person plural pronoun analysis in terms of inclusiveness/exclusiveness showed that President Obama's stance was a conservative one according to which American people's justification of his assertions concerning ISIS could be the cornerstone of any further military action that would be undertaken by the US army against ISIS. These analyses held the same result regarding the importance of persuasion as a pivotal axis in his aforementioned speeches. As to the issue of agency, the results held that President Obama took a conservative stance relying upon the will of American civilians and submitting his agency to Americans' ideals and power as shown by his total 34 commissives undertaken in these two speeches.

Keywords: *Barak Obama, ISIS, Searle's speech act theory, pronoun analysis, persuasion strategy, political discourse*

1. INTRODUCTION

According to Cook (2011), discourse analysis was first in ultimate service to structuralism and descriptive linguistics during the 1950s and 1960s. At the time, discourse analysis was for the investigation of the interrelationships within a text beyond sentence level in terms of cohesion. However, as he further maintains, under the influence of Systemic-Functional-Linguistics and Hymes' theory of communicative competence during the 1970s, a great deal of change took place, and discourse analysis moved beyond the limits of self-contained linguistic structures into the social realms of language use and text.

Discourse is composed of two levels: a) Microstructural discourse level which is concerned with issues of cohesion; that is, the integration of discourse elements into a unified text; b) Macrostructural discourse level which deals with the knowledge of organizational features that are characteristic of genres which are conventionalized categories and types of discourse and interactional strategies; and, both of these levels are sensitive to the relationship between the linguistic elements and the communicative situations' specifications in terms of context, culture, and content (Saville-Troike 2006). These linguistic elements can be used for a number of different functions such as those suggested by Hymes (1962): a) Expressive (Emotive), b) Directive (Conative, Pragmatic, Persuasive, Rhetorical), c) Poetic, d) Contact, e) Metalinguistic, f) Referential, and g) Contextual (Situational).

As Wodak (2005: 369) concisely argues "...in-depth [linguistic] studies are essential to be able to understand the specific cultural, national or regional context in which politicians very consciously operate." As such, our study tried to reveal the persuasive strategies that were used by President Obama in convincing Americans of the US' foreign policy regarding air-attacks on ISIS. This study can be replicated in analyzing other political rhetorical texts in order to reveal the persuasive strategies which are drawn upon or devised by political systems as either a justified persuasive rhetoric action against a threat or an opportunistic political act trained upon manipulative and narcissistic ends by, for example, totalitarian regimes.

2. THE REVIEW OF THE RELATED LITERATURE

Discourse is involved both at global and local levels within any suprasentential text. Cook (2011: 431) defines discourse as "... a stretch of language in use, of any length and in any mode, which achieves meaning and coherence for those involved", he then proposes discourse analysis as the development and the use of theories which can help the analyst to make clear how meaning is created and coherence is fulfilled by those involved in communicative action. It is worthwhile to note that such an analysis is not limited to language but any processes and elements which contribute to communication. Furthermore, he maintains that discourse analysis has drawn upon a number of theories from other disciplines (e.g., social theories by Foucault and Bourdieu) as a compliment to linguistics and has, as well, developed a number of theories in this regard.

A discourse analyst carries out a systematic objectification of what people mostly unconsciously and symbolically do in their everyday life. That is, discourse analysis is concerned with patterns of language use and the circumstances with which such patterning is associated in any instance of communication.

Persuasive strategies as discursive practices are mostly dealt with through Critical Discourse Analysis where their persuasive and manipulative functions carried out by language in media, political arena, etc. are probed into and revealed (Fairclough 1989). Activities are by and large rearranged so as to suit the persuasive purposes that they serve in social practice. Such a transformation is performed through a process of recontextualization which is exerted through discourse (van Leeuwen 2008). For example, political discourse lays the lines along which the rhetoric is recontextualized in such

a way that serves the purposes for which the text is produced, manipulated, and hoped to be interpreted. Wodak (2006) discussing some studies related to this topic shows how, for example, the use of passive constructions let political orators keep distance from what their regimes do on their behalf. Such linguistic tools let political leaders desubjectivize themselves to the level of a by-stander who solely reports on the objective truth as the requisite condition for an unconditional and inarguable embrace of the text on part of the audience. The very logic underpinning persuasion aims at appealing to the receivers' mental models in such a way that their interpretations of the text are homogeneously similar to the one intended by the political discourse as much as possible. However, as van Dijk (2002) insists, it is not that the mental models of all text-receivers are the same per se to necessarily result in a certain devised interpretation.

2.1. Searle's Speech Act Theory

Searle (1978) classified speech acts into five categories as the core of the typology that he proposed which consists of *assertives, directives, commissives, expressives*, and *declarations*. *Assertives* are the assertions made by the addresser to the truth. *Directives* are those which are utilized to direct the addressee's action. *Commissives* commit the addresser to what they have produced. *Expressives* are the expressions which the addresser has expressed, and finally, *declarations* are those declared on part of the addresser. Speech acts are of canonical and imponderable importance to the current study. The following provides some examples regarding these five speech acts:

1. Assertive: for example, 'I believe there's been foul play'.
2. Directive: for example, 'Plainly tell me what is it that you want?'
3. Commissive: for example, 'I promise that I won't tell you any lies anymore'.
4. Expressive: for example, 'I am cold'.
5. Declaration: for example, 'Judge: I sentence you to life imprisonment'.

Some utterances may fulfill more than only one speech act which can be either intentional or unintentional. What decides which speech act is more prominent in such cases is the very context within which that speech act occurs as well as the mental model of the receiver of the message. That is, what is perceived by the receiver of the message is not solely the result of the context but the very schematic knowledge of the addressee which is presupposed by the addresser to be shared with his as Widdowson (2007) argues.

2.2. Pronoun

Another aspect which can be taken into account in discourse studies is the use of *exclusive* versus *inclusive pronouns*. As Scheibman (2004: 378) puts it:

> Many languages lexically or morphologically distinguish inclusive uses of the first person plural pronoun — those that refer to the speaker and the addressee agency(s), from exclusive uses—those that refer to the speaker and another individual or group who are not addressees. In English, first person plural pronouns function both inclusively and exclusively without a change in form.

Of course, the borderline between the two is fuzzy and sometimes difficult to be established, yet they are powerful devices for political speech when it is necessary to

persuade performing an action, include or exclude a certain part of the society or any institutions, and in general as an instrument for employing negative or positive politeness strategies in favor of negative or positive face (Harwood 2005). Harwood drawing upon this notion makes a comparison between the personal pronouns 'I' and inclusive and exclusive 'we' in academic writings. Among the findings of Harwood's study, the employment of inclusive 'we' can act as a politeness device, specifically, when a deficiency is to be discussed and shared with others.

As Wilson (1990) indicates, using exclusive and inclusive pronouns in political discourse serves persuasive goals as a means to achieving certain ends. "We" and "our" often play different roles in political context. Being inclusive or exclusive makes real difference in the audience's or reader's interpretation. Of course, the situational and contextual specificity of the event and the audience's psychological reality, background knowledge, the influence of media, etc. should not be neglected at the price of idealizing the text as an end in-itself.

2.3. Agency

The other aspect of discourse that is worth mentioning is 'agency' which proves no less fuzzy than 'inclusive/exclusive pronouns'. To provide a definition of agency is not an easy task (Bleiker 2003). As Bleiker (2003) maintains, traditionally, it was equaled with a duality of intention and result but it no more holds as poststructuralist and postmodern scholars believe that such a duality is but an artificial and idealized one. Bleiker further argues that discourse not only does not exclude agency but also provides opportunities for its emergence through discursive dissent where the postmodern and poststructuralist notion of 'identity fluidity' lies at the heart of social transformation and change, hence, agency. Nevertheless, Ahearn (2001) proposes that agency cannot be equaled with free will as it is constrained to some extent by the society, nor can it be equaled with resistance as oppositional agency is just one type of agency. Ahearn further cites Ortner's proposal that agency is both socioculturally enabled and constrained; that is, it is not something absolute but the result of the conflict inherent within the social structures and that of the interaction between opportunity for practice and sociocultural predispositions. According to Mannheim and Tedlock (cited in Ahrean 2001), agency is not within people but between them. In fact, it is a social construct which emerges in the context within which it is born. It is not a commodity which already exists out there; it is co-constructed in dialogue even if the dialogue superficially seems to be a one-way speech delivery. That is, at deeper levels of analysis no linguistic production is a monologue as Bakhtin (1981) points out.

There have been a myriad number of studies in political discourse analysis within the past decade such as, to name but a few, Khany and Hamzelou (2014) concerned with a systemic functional analysis of dictators' political speech, Wang's (2010) analysis of Obama's speeches, Al-Faki (2014) and the analysis of some African Leaders' speeches, Pu's (2007) study analyzing Bush's speech at Tsinghua University, Abdel-Moety's (2015) analysis of Hillary Clinton's interviews, Bayram's (2010) concerned with Erdogan's political speech, Al-Majali (2015) analyzing ousted Arab presidents' political speeches during the Arab Spring Revolution, Abdullahi-Idiagbon

(2010) and the analysis of Nigeria's presidential election campaign speeches, Sarfo and Krampa (2013) analyzing Obama's and Bush's speeches on terrorism, Shayegh and Nabifar (2012) and the issue of power in Obama's political discourse, etc. that all bear witness to the significance of language as an influential tool by means of which political ends are persuaded and pursued by political leaders in terms of rationalization, legitimation, euphemization, manipulation, justification, etc. However, there seems to be an urgent need for new studies to analyze the speech acts aforementioned in the recent speeches delivered by political figures and statesmen over the crisis of ISIS in the Middle East. These types of analysis can assist us in obtaining a better understanding of their policies in this regard.

There is a lack of any comprehensive interviews or speech deliveries by the presidents of the governments in the region concerning the crises of ISIS. To the contrary, President Obama has treated this issue in a different manner with a number of lectures and interviews exclusively devoted to these crises in the Middle East. Accordingly, the current study will be focused upon two of his speeches delivered on 7/Aug/2014 and 10/Sep/2014.

In this study, *Searle's Speech Act Typology Theory* (1978), pronoun, and agency analyses were utilized so as to investigate the linguistic persuasive strategies that President Obama put to use in his speeches about ISIS.

3. RESEARCH METHODOLOGY

3.1. Corpus

The corpus of this study included two speeches delivered by Barak Obama, the former President of the United States, on 7/Aug/2014 and 10/Sep/2014 each lasting 8:36 and 15:16 minutes respectively. The footages of these two speeches are available at:

https://www.youtube.com/watch?v=zuaO5EJzLAE

https://www.youtube.com/watch?v=spIWGoNZnaU

3.2. Analysis Method

The current study aimed to investigate how persuasion strategies were used in the two speeches delivered by President Obama, on 7/Aug/2014 and 10/Sep/2014 concerning the Islamic State of Iraq and the Levant. To this end, discourse analysis was done by means of the application of *Searle's typology theory* (1978), *agency*, and *pronoun* analysis in terms of speech acts and inclusiveness/exclusiveness. The instances of each speech act (in terms of phrase and sentence) were counted in number so as to see into their hierarchy in the speeches delivered and then the counts underwent interpretation. The same was carried out in the analysis of agency and pronoun inclusiveness/ exclusiveness in the texts.

4. FINDINGS AND DISCUSSION

The findings of the study with regard to the frequency counts of the mentioned speech acts and tools revealed that *assertives* were the most frequently used in both speeches delivered by President Obama. Considering the function that *assertives* serve, this study showed that President Obama's major intention of using such discursive

tools was aimed at justifying the airstrikes launched by the US army on ISIS's zones in Iraq persuading Americans and reminding them that ISIS is a real threat to the country and the whole world, and, as a result, substantial measures should be adopted to put an end to their inhumane acts.

4.1. Speech Acts

As to the first speech, it is evident (as the results in Table 1 show) that the prominent speech act was *assertive* that according to Searle (1978) is related to asserting the truth of something. In line with his persuasion strategy, Barak Obama signaled certain facts about ISIS group. This speech act as his main tool throughout his first speech let President Obama convince his audience that ISIS was a brutal terrorist group and real threat to the US and the world. According to our analysis, the results indicated that there were 73 cases of *assertives*, 3 *directives*, 15 *commissives*, 7 *expressives*, and 2 *declarations* out of the total 100 instances of speech acts in his first speech. Investigating these numbers in terms of frequency, it is conspicuous that President Obama did not issue direct orders to his audience or force them into doing anything. He, on the contrary, made assertions about the truth that ISIS was a threat and the US government and army had to take action against them. Fifteen instances of commissive speech acts mirror Obama and his team's psychological attempts at helping Americans make certain that appropriate measures would be taken and responsibility would be shouldered. As it regards declarations and directives, it is vivid that he tried his best in a conservative way not to issue any direct orders; in addition, only seven expressives show that he wished to convey very little personal emotional engagement with the crisis implicating the adoption of a rational approach in line with his overall logic of convincement.

Although the second speech was bulkier than the first one, the speech acts used in both speeches followed a similar pattern. With regard to Searle's typology of speech acts, there were 101 instances of *assertives*, 6 *directives*, 19 *commissives*, 8 expressives, and 0 *declarations* out of the total number of 134 speech acts utilized in this speech. Similarly, assertive speech acts outnumbered the other types. That is, again, President Obama made assertions about facts regarding ISIS as a threatening terrorist group. Commissives were also the second most frequently used speech acts. Regarding declarations and directives, anew, President Obama's stance was conservative although there was a minor increase in the number of the former. Regarding expressives, he, again, similar to his first speech, added as little emotional hue as possible to his second speech. This same pattern clearly showed that the underlying structure of these two texts was formulated in such a way that the same ends were pursued resorting to the overall logic of convincement.

Table 1

The Frequency of Speech Acts in Two Speeches

	The frequency of speech acts in the first speech	The frequency of speech acts in the second speech
Assertive	73	101
Directive	3	6
Commissive	15	19
Expressive	7	8
Declaration	2	0

4.2. Pronoun Analysis

4.2.1. First Person Singular Pronoun

Executing pronoun analysis on the first speech, the results held that out of the total number of 19 instances of *first person singular pronoun*, 11 were *assertive*, 4 were *commissive*, 2 were *declaration*, and 2 were *expressive.* Again, eleven assertives as the most frequent within the total number of the *first person singular pronouns* used showed that the overall goal of President Obama in this speech was to convince Americans that ISIS was a real threat to their country. The other class of *first person singular pronoun* used (the second most frequent by four instances) was commissive which bore witness to the similarity of the patterns discerned through pronoun analysis and those obtained by means of Searle's typology in section 4.1. This implicates that President Obama through emphasizing assertives commits himself to taking proper actions against ISIS if his assertions to truth are accepted by Americans simply because the main logic of his speech is convincement. Besides, pronoun analysis revealed that the pronouns utilized in the overall two uses of *declaration* speech acts were *first person singular* suggesting that President Obama explicitly represented himself as the main authority in the United States who can issue directions and honor his pledge. As to expressive speech acts, only in two instances of them was *first person singular pronoun* drawn upon which is, on our part, believed to mirror 'emotional detachment and rational thinking' as the underlying logic of President Obama's speech at a social psychological level to the effect of convincement.

The analysis of the second speech based upon the premises set by Searle's typology and pronoun analysis yielded the same pattern as those elaborated upon thus far. Out of the instances that contained *first person singular pronoun*, eighteen contained *assertive*, five *commissives*, three *directive*, and two *expressive* speech acts with no declarations at all. These results, again, clearly indicated that the underlying logic of the second text was the same as the first one with minor differences that had not changed the overall weight of assertives at all. However, in the second speech, as Table 2 shows, President Obama was clearly more persuasive (with 7 more assertives) and, to a lesser degree, more directive, more commissive, and less declarative which together implied that he was more serious than his first speech and had wished to do so through assertive rather than declaration speech acts as a strategy again informed by his logic of convincement.

Table 2

First Person Singular Pronoun and Speech Acts

	Assertive	Commissive	Directive	Declaration	Expressive
Speech on 07/08/2014	11	4	0	0	2
Speech on 10/09/2014	18	5	3	2	2

4.2.2. First Person Plural (inclusive/exclusive) Pronoun

In line with the main aim of this study, the instances of *first person plural pronoun* underwent analysis so as to discern the underlying pattern of President Obama's abovementioned speeches in terms of inclusive and exclusive pronouns regarding their political implication and significance. Analyzing these two speeches, it became evident that different modes of "*we*" (inclusive/exclusive) were utilized pursuing certain political ends.

The results of the analysis of the speech given on 7/8/2014 revealed that there were 38 instances of inclusive and 22 instances of exclusive first person plural pronouns in President Obama's statements. Inclusive pronoun was drawn upon when President Obama intended to refer to himself along with other Americans, for example:

(6) "**We** can also lead with the power of our diplomacy, our economy, and our ideals."

Here, President Obama declared his policies as the will of a nation wherein every American was included and taken to be in agreement with the assertions issued by him. "We" and "our" imply the following implicit propositions; namely, "I as your president"; "you as my countrymen"; "our experts in political issues and economy"; and "the United States' diplomatic and economic power as a shared commodity" plus "ideals which are advocated and espoused by all Americans". As it is already clear, the overall tone of this statement was based upon a persuasive strategy materially supported by reminding Americans of the potentials and capabilities of the US plus the abstract ideals for which such strengths should be utilized and exploited. At a social psychological level, this works in two different ways which in fact reinforce one another. The first one goes to the collective psychological security that is promoted by reminding Americans of the potentials and power of their country which is able to take necessary measures if need should arise and the second one is concerned with the legitimation of these necessary measures through ascertaining people that their ideals are to be pursued.

As an example of the use of exclusive "we", the following excerpt is the most conspicuous:

(7) "**We** can act, carefully and responsibly, to prevent a potential act of genocide."

Where in the previous extract all American people were addressed by issuing an inclusive "we", it is used for a different objective here. Based upon the context, it is vivid that President Obama exclusively referred to the US army and himself (the US government) but not American civilians. It was intended to clarify that "I as your president" and "US army" were included wherein "you as civilians" were excluded outright. The researchers of this study believe the reason for the use of an exclusive "we" may be that by drawing a line between the civilians and US army, the political discourse allows space for the legitimation of the latter's military expedition as a justified act of specialized forces on behalf of ordinary civilians' security who may, as a result, enjoy some psychological safety distance from the ugliness of war. This blurs the borders which differentiate justified actions from unjustified ends such as developing worldwide markets of weapons and missiles, hegemonic interference, oil quest, etc. that may be aimed at by certain states in the name of human rights, civilians' civil rights, democracy, religion, liberalism, and the list can still go on and on.

In the second speech, again, the same pattern can be seen. As our analysis of *first person plural pronoun* revealed, there were 30 exclusive and 42 inclusive instances in which "we" was used. As an example of the former the following excerpt is very illuminating:

(8) "In the fight against ISIS, **we** cannot rely on an Assad regime that terrorizes its people; a regime that will never regain the legitimacy it has lost."

"We" in this sentence represents only President Obama and the US army not American civilians. President Obama trying to clarify his political stance (according to which there will be no reliance upon Assad's regime) adds a military hue to the overall picture of the US' foreign policy toward religious fundamentalism in Syria by means of excluding American civilians and emphasizing the US government and US army.

The second example shows an instance of the use of inclusive "we":

(9) "That is the difference **we** make in the world."

This last example contains an inclusive use of pronoun 'we'. Here, what is implicitly aimed at are 'Obama and all American civilians' by means of which, again, as it is clear, President Obama resorted to legitimation and capability economies as the guarantee for making a change into the world. The former goes to American ideals which puts claim to democracy, human rights, liberalism, etc. and the latter to political and economic power of the US as a superpower. At the social level, these two play a crucial role in fulfilling what President Obama's foreign policy regarding ISIS is trained upon. They both reinforce one another in a mechanism according to which the legitimacy of the US government and army is based upon their pursuing Americans' ideals where these ideals are in return secured by the government and army.

The investigation of these exclusive and inclusive pronouns indicated that when president Obama intended to mention any political military action, he excluded American civilians but when talking about an overall goal for the world, inclusive pronoun is utilized. In Table 3, the frequency of both *inclusive* and *exclusive pronouns* in the two aforementioned speeches are compared together**.** It is evident that there is also a specific pattern that bears witness to the abovementioned overall goal that President Obama followed in his two speeches about ISIS.

Table 3

Inclusive/Exclusive Deictic Pronouns Comparison

	Inclusive 'we'	Exclusive 'we'
Speech on 07/08/2014	38	22
Speech on 10/09/2014	42	30

4.3. Agency

As it regards agency, based upon our arguments and the frequencies of the speech acts and first person plural (inclusive/exclusive) pronouns in the two speeches analyzed, the results revealed that 174 assertives in comparison to only 2 declarations and 9 directives and the overall 80 inclusive versus 52 exclusive first person plural pronouns bear witness to President Obama's conservative stance in his attempts at resorting to the collective consciousness of Americans. In addition, his agency was submitted to Americans' ideals and power as displayed in the total 34 commissives that he undertook in his two speeches. Of course, this has to be interpreted with due caution in that the ideals which are drawn upon by governments may well be in part the result of their top-down policies imposed upon the society by means of the media, policing and the institutions exploited by the ideological state apparatus such as the educational system, family, religious institutions, etc.

5. CONCLUSION

As already discussed, there is an inclination in political discourse to develop, manipulate, and use different discursive practices and tools toward certain goals. Of course, discursive practices and texts are not confined to language but any semiotic system that can be drawn upon for the benefits of a certain discourse through its materialization in genres and specific styles within a specific context. One of such contexts contains political oration. In our current study, two of President Obama's speeches about the crisis of ISIS in the Middle East underwent analysis in terms of *speech acts typology* (Searle 1978) and quantitative analyses of *first person singular pronoun* and *first person (inclusiveness/exclusiveness) plural pronoun*. Resorting to the findings, the researchers also analyzed the agency exercised by President Obama in these speeches.

As the total frequencies of the speech acts in the two speeches indicate (174 assertives, 24 commissives, 15 expressives, 9 directives, and 2 declarations) the overall pattern of the two texts is mainly founded upon the logic of convincement which is conservative in the political sense of the term. These results plus those concerning the inclusiveness/exclusiveness of first person plural pronoun "we" suggest that different discursive practices were utilized by President Obama so as to transfer his message to his audience regarding the US' foreign policy, American ideals, American civilians, religious fundamentalism (Islamism), the leaders of the Middle East states, etc. Our analysis made it clear that President Obama's stance was a conservative one in which his agency was submitted to the will of his nation in service of American ideals, a clear distinction between the US army and American civilians when it came to military action, reliance upon American people's approval of his policies, and prosperity for the world based upon the economic strength and military power of the US. Whether or not these are authentically pursued by the US does not concern our current study in that our main objective was to analyze these speeches in terms of their linguistic structure and underlying patterns rather than political ends.

The results of our study showed that these two speeches were structured in such a way that the underlying patterns of their rhetorical and linguistic specificity proved to be in service of the goals pursued by the political system and authorities of the US. This is one of the instances in which a political text is consciously made so as to appeal to the people's either subconscious or unconscious mind. Take social conventional ideals, religious beliefs, nationalism, etc. as some other examples of taken-for-granted values in the society which are mostly unconscious and drawn upon by the authorities as a legitimizing foundation for a certain discourse and its exertion. Although a comparison between this study and other studies carried out in this line of research proved difficult due to the fact that different political contexts and orators were concerned, it is justified to conclude that our findings confirm those of Pu (2007), Wang (2010), Abdullahi-Idiagbon (2010), Sarfo and Krampa (2013), and Al-Faki (2014) according to which political discourses exerted by political leaders are aimed at fulfilling certain conscious political goals through discursive practices (for example, rhetorical ones) which allow them to formulate their underlying patterns in such a way that their purposes are addressed with regard to their society and its attributed conscious and/or taken-for-granted values. However, as Foucault (1980) aptly argues, power is omnipresent and is born and

enacted within other and every social relation and its intertwinement with knowledge can advantage one discourse over the other. That is, putting claim to truth (e.g. through assertives) exists only within relations of power wherein the dominant discourse reinforces and is reinforced by the truth that has legitimized it and in return essentialized and neutralized by it.

Admittedly, our study suffers from some limitations and delimitations which can be recompensed in further research. For example, it would be best if president Obama's speeches were matched against other political leaders' regarding the crisis of ISIS in the Middle East. Besides, political texts can also be analyzed with resort to other theoretical frameworks such as psychoanalysis, critical social theory, Marxist theory, etc. This lets us look at the same subject from different perspectives so that we can arrive at a better overall understanding of the phenomenon under study. The findings of this study can be used in the field of social psychology in that they provide an understanding of the discursive practices by means of which political leaders and statesmen, along with other strategies, influence people's minds and their worldviews concerning us/Other, right/wrong, and other similar dichotomies. In addition, the methodology presented in our study can be drawn upon within the fields of political studies, political sociology, sociology of (mass) media, etc. that are also in a large part concerned with discursive practices and the subtleties of language use and manipulation by conscious (political) agents. Last but not least, although our research was totally a descriptive study based upon the positivistic principles of quantitative text analysis, this by no means mean that further research cannot approach these findings from a political and evaluative perspective following the premises of, let us say, critical theory.

© Minoo Alemi, Ashkan Latifi, Arash Nematzadeh, 2018

REFERENCES

Abdel-Moety, D. M. (2015). American political discourse as manifested in Hillary Clinton's interviews: A critical approach. *English Linguistics Research,* 4(1), 1—13.

Abdullahi-Idiagbon, M. S. (2010). Language use in selected Nigerian Presidential election campaign speeches: A critical discourse analysis perspective. *Journal of the Nigeria English Studies Association,* 13 (2), 30—44.

Ahearn, L. M. (2001). Language and agency. *Annual Review of Anthropology,* 30, 109—137.

Al-Faki, I. M. (2014). Political speeches of some African leaders from linguistic perspective (1981—2013). *International Journal of Humanities and Social Science,* 4(3), 180—198.

Al-Majali, W. (2015). Discourse analysis of the political speeches of the ousted Arab Presidents during the Arab Spring Revolution using Halliday and Hasan's framework of cohesion. *Journal of Education and Practice,* 6(14), 96—109.

Bakhtin, M. M. (1981). *The Dialogic Imagination: Four Essays*. Austin: Texas University Press.

Bayram, F. (2010). Ideology and political discourse: A critical discourse analysis of Erdogan's political speech. *ARECLS,* 7, 23—40.

Bleiker, R. (2003). Discourse and human agency. *Contemporary Political Theory,* 2(1), 25—47.

Bussmann, H. (1996). *Routledge Dictionary of Language and Linguistics,* Trauth, G. & K. Kazzazi (eds. and trans.). London: Routledge.

Cook, G. (1994). Discourse and Literature: The Interplay of Form and Mind. Oxford: Oxford University Press.

Cook, G. (2011). Discourse Analysis. In Simpson, J. (ed.) *The Routledge Handbook of Applied Linguistics.* New York: Routledge, 431—445.

Fairclough, N. (1989). *Language and Power*. London: Longman.

Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972—1977*, Gordon, C. (trans.). New York: Pantheon Books.

Harwood, N. (2005). We do not seem to have a theory... The theory I present here attempts to fill this gap: Inclusive and exclusive pronouns in academic writing. *Applied Linguistics,* 26(3), 343—375.

Hymes, D. (1962). The ethnography of speaking. *Anthropology and Human Behavior,* 13(53), 11—74.

Jarraya, S. (2013). *Persuasion in Political Discourse: Tunisian President Ben Ali's Last Speech as a Case Study*. Syracuse University, Tunisia.

Khany, R., & Hamzelou, Z. (2014). A systemic functional analysis of dictators' speech: Toward a Move-based Model. *Social and Behavioral Sciences,* 98, 917—924.

Pu, Ch. (2007). Discourse analysis of President Bush's speech at Tsinghua University, China. *Intercultural Communication Studies,* 16(1), 205—216.

Sarfo, E., & Krampa, E. A. (2013). Language at war: A critical discourse analysis of speeches of Bush and Obama on terrorism. *International J. Soc. Sci. & Education,* 3(2), 378—390.

Saville-Troike, M. (2006). *Introducing Second Language Acquisition*. Cambridge University Press.

Scheibman, J. (2004). Inclusive and Exclusive Patterning of the English First Person Plural: Evidence from Conversation. In Michel, A. & S. Kemmer (eds.) *Language, Culture, and Mind.* Stanford: CSLI Publications, 377—396.

Searle, J. (1978). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. London: Cambridge University Press.

Shayegh, K., & Nabifar, N. (2012). Power in Political Discourse of Barak Obama. *Journal of Basic and Applied Scientific Research,* 2(4), 3481—3491.

Solin, A. (2011). Genre. In Zienkowski, J., Östman, J. & J. Verschueren (eds.) *Discursive Pragmatics*. John Benjamin B.V., 119—135.

Trappes-Lomax, H. (2004). Discourse Analysis. In Davies, A. & C. Elder (eds.) *The Handbook of Applied Linguistics*. Blackwell Publishing, 133—165.

Van Dijk, T. A. (2002). Critical Discourse Studies: A Sociocognitive Approach. In Wodak, R. & M. Meyer (eds.) *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: Sage, 95—120.

Van Leeuwen, Th. (2008). *Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis.* New York: Oxford University Press, Inc.

Wang, J. (2010). A critical discourse analysis of Barack Obama's speeches. *Journal of Language Teaching and Research,* 1(3), 254—261.

Widdowson, H. G. (2007). *Discourse Analysis.* New York: Oxford University Press.

Wilson, J. (1990). *Politically Speaking: The Pragmatic Analysis of Political Language*. Oxford: Basil Blackwell.

Wodak, R. (2005). Editorial: Global and local patterns in political discourses —'Glocalisation'. *Journal of Language and Politics,* 4(3), 367—370.

Wodak, R. (2006). Doing politics: The discursive construction of politics. *Journal of Language and Politics,* 5(3), 299—303.

Article history:
Received: 10 August 2017
Revised: 28 December 2017
Accepted: 24 January 2018

For citation:
Alemi, Minoo, Ashkan Latifi, and Arash Nematzadeh (2018). Persuasion in Political Discourse: Barak Obama's Presidential Speeches against ISIS. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (2), 278—291. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-278-291.

Bionote:
MINOO ALEMI is Assistant Professor of Applied Linguistics at Islamic Azad University, West Tehran Branch, and a post-doctoral associate at Sharif University of Technology (SUT), Iran. She is the associate editor of *Applied Pragmatics* (John Benjamins) and sits on the editorial/review boards of many journals, including *British Journal of Educational Technology*, *BRAIN, LIBRI*, and *Scientia Iranica*. Her areas of interest include discourse analysis, interlanguage pragmatics, materials development, and robot-assisted language education. *Contact information*: e-mail: Minooalemi2000@yahoo.com

ASHKAN LATIFI holds an MA in Applied Linguistics from Sharif University of Technology and is currently an MA student of Sociology at Bu-Ali Sina University. His areas of interest are neuropsychology, psycholinguistics, neurolinguistics, and sociolinguistics. *Contact information:* e-mail: *ashkan.latify@gmail.com*

ARASH NEMATZADEH holds an MA in Applied Linguistics from Sharif University of Technology. His areas of interest are sociolinguistics, discourse analysis, interlanguage pragmatics, and materials development. *Contact information:* e-mail: arash67nematzadeh@gmail.com

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-278-291

СТРАТЕГИЯ УБЕЖДЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА БАРАКА ОБАМЫ ПРОТИВ ИГИЛ

МИНУ АЛЕМИ[1], АШКАН ЛАТИФИ[2], АРАШ НЕМАТЗАДЕХ[2]

[1]Islamic Azad University
West Tehran Branch
Shariati St., 1949663311, Tehran, Iran

[2]Sharif University of Technology
Azadi Ave., 11365-11155, Tehran, Iran

В статье рассмотрены стратегии убеждения, использованные экс-президентом США Обамой в качестве дискурсивной стратегии в двух его официальных выступлениях против Исламского государства от 7 августа и 10 сентября 2014 г. Анализ этих выступлений проведен с применением типологической теории Серла (1978) и анализа местоимений, т.е. ассертивов, директивов, комиссивов, эмотивов и декларативов, местоимений первого лица единственного и множественного числа (инклюзивность и эксклюзивность), а также агентность. Исследование выявило, что ассертивы были наиболее употребительными типами речевых актов в обоих выступлениях. Рассматривая функцию ассертивов, мы обнаружили, что главным намерением президента Обамы было оправдать воздушные удары армии США по зонам Исламского государства в Ираке. Кроме того, анализ местоимений первого лица множественного числа в терминах инклюзивности/эксклюзивности показал, что позиция президента Обамы являлась консервативной (в сравнении с другими последними президентами США), в связи с чем оправдание американским народом его утверждений в отношении Исламского государства могло послужить краеугольным камнем в проведении любых дальнейших военных действий, которые будут предприниматься армией США против Исламского государства.

Эти исследования показали одинаковый результат в отношении важности использования убеждения в качестве основного принципа в его вышеупомянутых выступлениях. Что касается агентности, исследование показало, что президент Обама занял консервативную позицию, полагаясь на волю американских граждан и подчиняя свою агентность американским идеалам и власти, что подтверждается общим числом 34 комиссивов в обоих его выступлениях.

Ключевые слова: *Барак Обама, типологическая теория Серла, анализ личных местоимений, стратегии убеждения, политический дискурс*

История статьи:
Дата поступления в редакцию: 10 августа 2017
Дата принятия к печати: 24 января 2018

Для цитирования:
Alemi, Minoo, Ashkan Latifi, and Arash Nematzadeh (2018). Persuasion in Political Discourse: Barak Obama's Presidential Speeches against ISIS. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (2), 278—291. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-278-291.

Сведения об авторах:

МИНУ АЛЕМИ — доцент кафедры прикладной лингвистики, Azad University, West Tehran Branch, научный сотрудник Технологического университета Шариф, заместитель главного редактора журнала *Applied Pragmatics* (John Benjamins), член редколлегий нескольких международных научных периодических изданий: *Journal of Educational Technology*, *BRAIN, LIBRI*, *Scientia Iranica*. *Сфера научных интересов:* дискурс-анализ, межкультурная прагматика, разработка учебных материалов и обучение машинному языку. *Контактная информация:* e-mail: Minooalemi2000@yahoo.com

АШКАН ЛАТИФИ — магистр прикладной лингвистики, Технологический университет Шариф (Иран), студент магистратуры университета Bu-Ali Sina. *Сфера научных интересов:* нейропсихология, психолингвистика, нейролингвистика, социолингвистика. *Контактная информация:* e-mail: ashkan.latify@gmail.com

АРАШ НЕМАТЗАДЕХ — магистр прикладной лингвистики, Технологический университет Шариф (Иран). *Сфера научных интересов:* социолингвистика, дискурс-анализ, межкультурная прагматика, разработка учебных материалов. *Контактная информация:* e-mail: arash67nematzadeh@gmail.com

Russian Journal of Linguistics
Вестник РУДН. Серия: ЛИНГВИСТИКА
2018 Vol. 22 No. 2 292—312
http://journals.rudn.ru/linguistics

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-292-312

CONSTRUCTION OF CATEGORIES 'STRENGTH' AND 'WEAKNESS' IN RUSSIAN AND POLISH FOREIGN POLICY DISCOURSE

TATIANA DUBROVSKAYA[1], AGNIESZKA SOWIŃSKA[2]

[1]Penza State University
40 Krasnaya St., Penza, 440026, Russian Federation

[2]Universidad Católica del Norte, Facultad de Humanidades
Escuela de Inglés Casa Central. Angamos 0610, Antofagasta, Chile
[2]Nicolaus Copernicus University
1 W. Bojarskiego St., 87-100, Torun, Poland

Abstract

The study is part of the project aimed at revealing the mechanisms of discursive construction of international relations (IR). It examines the functions of the categories 'strength' and 'weakness' in discursive representations of states as political actors. The research draws on assumptions of social constructionism and CDA. The data include recent speeches by Russian and Polish Ministers of Foreign Affairs. The paper argues that the opposition 'strength vs. weakness' is essential in the construction of IR in discourse. We focus on how nation states and their qualities are represented in foreign policy discourse, and which of these qualities conceptualise the categories of strength and weakness. We demonstrate that the two categories constitute a relational pair; however, the category of strength is expressed more explicitly than that of 'weakness', and the axiological charge of 'strength' changes depending on the actor that it represents. An array of linguistic tools is employed in constructing the opposition, and, consequentially, the IR between the political actors. The paper suggests that social actors and their qualities can be viewed as social categories that are perpetually constructed and re-constructed in discourse. The research develops the theory of discourse and demonstrates how discourse analysis contributes to the study of social practices and helps interpret current social phenomena.

Keywords: *construction, foreign policy discourse, international relations, Polish, Russian, strength, weakness*

1. INTRODUCTION

This paper is part of a bigger project aimed at revealing the mechanisms of the discursive construction of Russia's international relations in different types of discourse: political, legal and mass media. The project is based on the assumption that each institutional sphere is a repository of its own specific ways of discursive construction, and this assumption is being subjected to testing with respect to political, legal and mass media domains. The present part of the study focuses on foreign policy practices.

The issue of constructing international relations that is addressed in the project in general and in this paper in particular has two crucial aspects: social and linguistic. In social terms, the study draws on the awareness of Russia's challenging position in the

world arena, where the country makes efforts to protect its own interests and demonstrate influence. Russia's political isolation at interstate level as well as negative stereotypes about Russia, which are maintained and reinforced by Western society, including Poland (Бирюков 2015; Офицеров-Бельский 2014), make the study topical. Considering the linguistic aspect, this paper is seeking to contribute to the understanding of how a system of international relations is built through the interpretation of facts in foreign policy discourse, in particular through ascribing the qualities of being strong or weak to collective political actors, that is countries.

Political discourse is a popular object of inquiry that has come under scrutiny in a vast body of critical scholarship, and the task to present its comprehensive review would be too ambitious a goal[1]. Distinguishing a few variations of political discourse in the media, Lauerbach and Fetzer (2007: 15) indicate among the rest "discourse of politicians or other political agents like spokespersons", which in their opinion includes "speeches on important issues and occasions, e.g. in parliamentary debates, at party conferences, summit meetings, etc., also statements, press conferences and the like". Some of the genres of political discourse listed above, specifically speeches, statements and press conferences, compose the data we analyse further in this study. The functions of political discourse ensue from the functions of politics, which, according to Chilton (2004: 3), has an ambiguous character: "On the one hand, politics is viewed as a struggle for power, between those who seek to assert and maintain their power and those who seek to resist it <...> On the other hand, politics is viewed as cooperation, as the practices and institutions that a society has for resolving clashes of interest over money, influence, liberty, and the like". Thus, political discourse is aimed at gaining and maintaining power, while, at the same time, sustaining an appropriate level of social harmony.

These characteristics of political discourse are equally valid for its specific modification — **foreign policy discourse**. We take foreign policy discourse to be part of foreign policy practices, i.e. practices aimed at maintaining power, protecting national interests and building interstate relations in the international arena. Recently, the constructivist discourse-analytical approach to international relations (IR) has been gaining popularity. Holzscheiter (2013) proves the importance of the concept 'discourse' for insightful consideration of international relations and points to a shift of the paradigm from critical theory and poststructuralism towards constructionist theories. Dubrovskaya and Kozhemyakin (2017) offer a review of scholarship that conceptualises IR through discursive categories. Thematically, this scholarship covers theoretical aspects of discourse approach to IR (Husar 2016), various discursive constructs (e.g. nation, national identity, migration, intervention and sovereignty, wars and conflicts, friendship, emotions of political actors, etc.) (Epstein 2011; López Maestre 2007; Malmvig 2006; Koschut, Oelsner 2014 inter alios). The discursive mechanisms that have been explored in terms of their constructing capacity include pragmatic strategies, discourse patterns, argumentation schemes, lexical, syntactic and stylistic means, including metaphors and metonymies (Catalano and Waugh 2013; Kazharsky 2013; Barbato 2016; Husar 2016; Sowińska and Dubrovskaya 2012b inter alios).

[1] Chilton presents a concise history of socially concerned linguistics in the preface to one of his works (Chilton 2004).

While in modern Western literature the discourse-analytical approach to IR is well established, similar research in Russia and Poland is limited. Constructivist methodology "is not yet widespread in the Russian political thought, and in research on international relations and foreign policy" (Medvedev 2008: 10). The present paper aims to contribute to the body of scholarship on IR as they are viewed from the discourse-analytical perspective, specifically in terms of oppositions that are constructed between nation states and the qualities of strength and weakness ascribed to them in foreign policy discourse.

2. METHODOLOGIES OF OPPOSITION STUDIES

Strength and weakness can be viewed as basic, teleonomic qualities that underlie the existence of any living being, because its existence itself depends on whether or not a living being is physically strong enough to survive. Scholars in human nature claim that "variation in aggression has evolutionary roots" (Cashdan and Downes 2012: 2) and also point to large-scale human sociality, "in which individuals compete against other individuals but also form alliances with them competing other groups" (Cashdan and Downes 2012: 3). The same applies to social and political bodies: they reveal their strengths and weaknesses in various social contexts and also constitute groups that fight other groups for survival. For this reason, the social category of aggression, which is based on demonstrating destructive strength, gains attention and is also discussed in terms of communication (Волкова, Панченко, 2016; Озюменко, 2017).

Unlike most research in CDA that draws on the concept of power with the aim "to demonstrate the significance of language in the social relations of power" (Bloor and Bloor 2007: 12), we use the concept of strength as a point of reference. The importance of the concept, especially in Putin's epoch, is indicated in Russian research on political discourse (Вражнова, Дубровская, Ермакова, Харламова 2009) and receives possible explanations that can be found in Russian history. These explorations include the need for strong state power to keep together vast lands and numerous peoples, and a typically Russian subordinate position of an individual's life as compared to the interest of the state (Сикевич 1996). This demonstrates the strength of the state. Strength is different from leadership in that strength for Russia originally implied the ability to survive on vast territories with unfavourable climatic conditions — while the potential to lead others was of less importance.

The Russian lexical unit 'sila' (сила/strength) has a meaning different from 'vlast' (власть/power), when it is used to describe social life. While the latter presupposes a particular social order and legal rights that make it possible for a social actor to influence others (e.g. legislative power, executive power, judicial power), the former is related to inner resources, the physical and mental capacities of people or social actors as well as their ability to endure difficulties. On the other hand, the Polish lexical unit 'siła' (strength) means both physical and spiritual energy which makes things happen, or the ability to exert influence. The Russian lexical unit 'vlast' (власть/power) does not form semantic oppositions with any other lexical unit; Russian dictionaries of antonyms do not offer any options. 'Sila' (сила/strength), on the contrary, constitutes a stable semantic opposition to the unit 'slabost' (слабость/ weakness), and it is this

teleonomic opposition projected onto international relations that we focus on in the paper. To the best of our knowledge, the discursive construction of the opposition 'strength vs. weakness' has not been studied in foreign policy discourse, while at the same time these concepts are extensively used to characterise social actors, for instance in the scholarship on Russian-European international relations (see e.g. Gerrits 2008). To develop an overall picture, interconnected discourses will be explored on both sides of Russian-Polish international relations, as was done previously with media discourse (Sowińska and Dubrovskaya 2012a; Sowińska and Dubrovskaya 2012b).

In language studies, research of the opposition 'strength vs. weakness' — or 'strong vs. weak' — is scarce; yet, a few methodological approaches can be identified with respect to opposition studies in general. The **lexical semantic approach**, which dominates the study of oppositions, is practised by Cruse (2004: 164), who includes the opposition 'strong vs. weak' on the list of polar antonyms and provides the main diagnostic features for this type of opposites, e.g. being incompatibles, being interpreted in relation to some reference value, etc. The reservation about the lexical semantic approach expressed by Murphy (2006: 316) calls attention to the pragmatic aspect of opposition and poses the questions "What counts as opposition? Is antonymic opposition a semantic or pragmatic issue?" Attempts to expand the field of lexical semantics into **pragmatics** have been performed by Savelyeva (Савельева 2011), who focuses on the phraseological units that embody the semantic opposition 'strength vs. weakness' in Russian print media. Savelyeva isolates the phraseological units and purports to discover their pragmatic potential in newspaper texts. In fact, however, the scholar draws on dictionary definitions and conducts a semantic component analysis of the phraseological units rather than revealing actual pragmatic functions of utterances with these phraseological units.

More successful endeavours to leave the purely lexical domain and explore the functional value of members of semantic oppositions have been performed within the study of concepts. Russian representatives of **cognitive studies** define the concept as a mental entity, a multi-dimensional, meaningful structure that has axiological and conceptual aspects, which are verbalised through an array of linguistic means, which illustrate, specify or develop this concept (Карасик 2002: 129—130). In this interpretation the concept is not connected with a particular lexical unit but possesses axiological duplicity that is the capability of changing names depending on the ideological views and goals of the speaker (cf. Воркачев 2012: 1—2).

Acknowledgement of the axiological charge of language structures, including discursive oppositions, is most evident in **CDA**. Discourse analysts posit that not only concepts can change names, but that the same names can acquire conflicting axiological connotations that depend on pragmatic factors (Sowińska 2015). This assumption underlies explorations of the axiologically charged opposition 'us vs. them'. Van Dijk (2006: 734) points to four strategic moves in any ideological communication:

(1) Emphasize Our good things
(2) Emphasize Their bad things
(3) De-emphasize Our bad things
(4) De-emphasize Their good things.

These moves are part of the broader contextual strategies of positive self-presentation and negative other-presentation. For example, positive values, such as democracy or truth will be evoked by Us as a basis for the legitimation of the in-group's goals and activities. Linguistic resources and metaphorical models that construct the opposition 'us vs. them' and facilitate particular evaluative attitudes are identified in political and media discourses (Кишина 2011; Алиева 2010). Special attention to syntactic realisations of textually-constructed oppositions is paid by Davies (2008: 97—98), who argues that oppositions can be instantiated as longer stretches of discourse: whole phrases and clauses, which do not appear in lexical authorities. Davies also highlights the ideological function of such textually-constructed oppositions, and this claim is of particular importance because what we are interested in is not only how the opposition 'strength vs. weakness' is constructed linguistically, but also how it contributes to discursive construction of Russian-Polish international relations in ideologically-laden foreign policy discourse.

3. METHODOLOGY AND DATA

The study is based on a number of methodological assumptions. More generally, the study draws on the theory of social constructionism (Berger and Luckmann 1966), which allows for viewing nations as 'imaginary communities' (Anderson 1991). Anderson demonstrates the virtual character of the nation, which exists not strictly in life but in the minds of those who affiliate themselves with the nation. Similar views can be found in critical discourse studies, whose representatives posit that although members of a national community do not know one another, they experience a sense of belonging to an integrated community due to a number of cultural factors such as having the same mass media, common history and collective memory (Cillia, Reisigl, Wodak 1999: 154). Consequently, international relations are viewed in this paper as a phenomenon that is constructed and re-constructed discursively in various domains, including foreign policy. Furthermore, we also base our research on the claim that is central to CDA. It is a premise that language is a social practice, which, in turn, implies a two-way (dialectical) relationship between language and social life (Fairclough 2004: 2—3).

Through the observation of the corpora and semantic analysis, we discover fragments that contain ideas of strength and weakness. It is important to emphasise that we are not looking for particular lexemes with the semantics of strength and weakness, because these ideas do not necessarily have to be expressed by such lexemes. Instead, contextual analysis is applied, which allows us to reveal units on various linguistic levels (lexical, grammatical, stylistic) as well as argumentation patterns that contribute to the construction of strength and weakness as complex semantic categories. As such, strength and weakness can be dissected in order to discover smaller, elemental constituents of meaning within them. These micro-constituents are not equal to sememes as they are not attached to particular linguistic units. They emerge in contexts, both linguistic and pragmatic, and are instantiated through an array of explicit and implicit discursive mechanisms. Because we practise a bottom-up approach and draw on the empirical material rather than testing a hypothetical claim, the list of the semantic micro-constituents is not predetermined in advance.

In our analysis, we focus on the construction of Russia, Poland and the EU as actors in international relations and explore the qualities ascribed to them. More specifically, we ask the following research questions:

1. How are social actors (Russia, Poland and the EU) referred to and what qualities are ascribed to them? Which of these qualities conceptualise 'strength' and which 'weakness'? What are principal lexical and grammatical constituents of the categories of 'strength' and 'weakness' based on linguistic and pragmatic contexts?
2. What is the axiological status of the referents and qualities assigned to our social actors? Do these social actors always stand in opposition?
3. On a more general level, what are the parallelisms and differences in the construction of 'strength' and 'weakness' in Russian and Polish foreign policy discourse?
4. How does the opposition 'strength vs. weakness' contribute to the discursive construction of international relations?

Through the labelling of social actors it is possible to explore the discursive association and disassociation of groups, i.e. processes that are inherent in foreign policy discourse. References are linguistically realised through nominal phrases, whereas predications are realised through their predicates. However, it should be remembered that references can also serve a predicational function since a referential identification already involves deprecatory or appreciative labelling of social actors (Reisigl and Wodak 2001: 45). Qualities may also be ascribed to social actors implicitly through presuppositions and implicatures.

In a capsule, we explore the categories of strength and weakness drawing on discourse analytical approach: attention is paid not only to lexical items and other linguistic means that conceptualise the semantics of strength and weakness, but also to the axiological statuses of the categories that they acquire in various linguistic and pragmatic contexts.

The data contain 6 Russian and 5 Polish texts. The Russian data include the texts authored by the Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, which were retrieved from the official website of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (www.mid.ru). Chronologically, all texts cover a limited period of the year 2014. The texts were selected from a vast electronic archive of the Ministry based on their thematic relevance and importance for foreign policy. Thematically, all texts in this or that way pertain to Russian-Polish relations and accommodate mentions of Poland or the European Union in various contexts. One of the interviews includes Sergey Lavrov's comment on Radosław Sikorski's statement about Russia. In terms of importance, in one of his speeches Lavrov summarises the results of Russian diplomatic activity performed in 2013; therefore, it can be viewed as providing postulates of Russia's foreign policy. The newspaper article, which is authored by the Russian Foreign Minister, is dedicated to a special topic of Russian-EU relations; the public speeches were pronounced at international and home meetings on various occasions.

The Polish corpus includes texts by two Polish Foreign Ministers delivered in 2014: three speeches by Radosław Sikorski (including the most important address on the goals of Polish foreign policy in 2014, his farewell speech and the article published in the daily 'Rzeczpospolita') and two speeches by Jarosław Schetyna (including the speech

addressing the priorities of Polish foreign policy in 2014 and 2015, and his speech delivered at the Polish Institute of International Affairs). All official speeches that were published on the Polish Ministry of Foreign Affairs website in 2014 were examined, but only those that were thematically relevant or made references to Russia were taken into consideration. The speeches were retrieved from the official website of the Polish Ministry of Foreign Affairs (www.msz.gov.pl).

Quotations from the speeches of the Russian and Polish Ministers of Foreign Affairs are offered in official English translations that are provided on the ministries' websites.

4. BACKGROUND TO RUSSIAN-POLISH INTERNATIONAL RELATIONS

Russian-Polish relations have had a long history through many centuries. Since this history was full of contradictions, it has been an object of scrutiny in many studies into international relations, history, sociology and culture. For instance, one of the most recent studies presents a comparative Russian-Polish perspective on difficult issues in the two countries' relations (Белые пятна... 2010). Summarising all scholarship on the issue is hardly feasible; therefore, we will focus only on some major moments in modern Russian-Polish relations that are most relevant to the understanding of strength and weakness as qualities of political actors.

Throughout the second half of the 20th century, the issue 'strength vs. weakness' dominated Soviet-Polish — and then Russian-Polish — relations, in which Poland played the role of a weaker partner, while at the same time seeking independence from Soviet influence. On the Russian side, this influence was considered a logical outcome of the liberation of Poland from fascism by the Red Army. However, this perception was not actualised in Poland, where accent was placed not on the liberation but on Poland's following dependence on the Soviet Union (Анипкин, Григорьев 2014: 61). The 1990s were marked by considerable geopolitical changes, and Poland succeeded both in escaping the grip of an 'elder brother' (Александров-Деркаченко, Ауров 2012) and quickly finding its place in the political, military and economic spheres of the West, while Russia was hit hard by the economic crisis and "Russia's international weight and status dropped sharply and weakened" (Петрова 2015: 150).

Poland's membership in the EU and NATO did not end its apprehensive attitude towards Russia, and in 2008 an agreement was reached between Poland and the U.S. about hosting U.S. anti-ballistic missile (ABM) systems on the territory of Poland (Hynek and Stritecky 2010). The Polish government legitimised the need for the ABM system through promotion of the alleged Russian threat to Poland. Although Poland's agreement with the U.S. was not put into effect, it revealed once again the continuing tension in Russian-Polish relations.

From the sociological study performed by Russian scholars in Łodz in 2012—2013, it transpires that the Russians are still viewed as a threat because of their alleged wish to restore control over former socialist countries and to spread their imperialistic influence indiscriminately (Анипкин, Григорьев 2014: 58—60).

The newest events that constitute the political context for our data analysis include the Ukrainian crisis of 2013—2015 and the resulting regaining of Crimea by the Russian

Federation. The return of Crimea, referred to as the annexation in the West, was perceived as demonstration of Russia's military and political strength and provoked much debate in the international arena as to its legitimacy, while Russia indicated the All-Crimean referendum as a legitimising factor for Russian involvement (Гаврилов, Гаврилов, Щербинин 2015: 91). Throughout 2014, the Crimea issue remained highly rotated in the media and political discourse both in Russia and Poland, and much of our data contain references to it, including those that ascribe the qualities of being strong or weak to social actors.

5. ANALYSIS

5.1. Russia as a strong actor

In the Russian corpus, the Russian Minister of the Foreign Affairs unambiguously and consistently represents Russia as a strong actor, and Russia's strength embraces a number of constituents, which can be classified into three more general groups depending on the pragmatic factor. These groups include: (1) inherent qualities of the actor; (2) ways of behaviour towards others; and (3) consequences of the actor's activities. The semantic constituents of strength within the groups are contextually embedded and only partially coincide directly with semantic components of the lexeme 'strength'. Inherent qualities of Russia that surface in its representation as a strong actor encompass being active and energetic; having independent views and values; being intellectual; having technologies, natural resources and human resources; having reliable defence, and a large size.

Of these qualities, only being active and energetic can be interpreted as related directly to the semantics of strength, while other qualities contribute to the concept of strength in context:

(1) *It seems that our country has come into the firing line as the most active expresser of an independent point of view in the modern world, which considers independent policy to be its natural right.* (Lavrov 04.06.2014)

In example (1) the superlative form *'the most active'* is linked with the idea of holding independent views, which are expressed by Russia despite the risk of severe criticism. The verbal noun *'expresser'* actualizes agency and activation, which "occurs when social actors are represented as the active, dynamic forces in an activity" (Van Leeuwen 2003: 43).

Spiritual strength is also constructed through the reference to Russia's intellectual potential, which is marked as solid, the adjective adding to the idea of importance and strength. Russia's strength is also emphasised predicatively *(used in full scope)*:

(2) *We expect that the solid intellectual potential of the RIAC (Russian International Affairs Council) will be used in full scope in the interests of prompt re-evaluation of events and the formulation of fresh ideas and well-considered propositions, which should ensure the efficiency and effectiveness of the Russian foreign policy's course.* (Lavrov 04.06.2014)

As can be seen from the example, the concept of strength is constructed by the totality of linguistic means in a sentence, including combinations of lexemes and a syntactic structure.

While the constituents in group (1) (inherent qualities of the actor) are mostly neutral and manifest their positive connotations in contexts, many semantic constituents in groups (2) and (3) have apparent positive connotations, as they mostly represent socially approved ways of behaviour. Characteristics that represent ways of behaviour towards others include having allies, being helpful, leading other actors, exercising control over others, behaving in a non-aggressive manner, and following and protecting legal principles.

The ability to protect those in need of help implies strength, as does participation in international activities. The indicators of positive axiological charge include lexical units with positive semantics *(protection, contribution, humanitarian cooperation, dialogue)*:

(3) *Our unconditional priorities include protection of the rights of Russian nationals and compatriots abroad, contribution to the promotion of our business, extension of international humanitarian and cultural cooperation, deepening of the intercivilisational and intersectarian dialogue, and information supplements to international activities.* (Lavrov 21.01.2014)

Some semantic constituents acquire an axiological charge in specific contexts. For instance, leading other actors is represented as positive because it is associated with performing a positively evaluated activity *(the development of principles of peace and security)*:

(4) *Russia presides over the working group on the development of principles of peace and security in North East Asia (NEA).* (Lavrov 21.01.2014)

A certain contradiction is observed between recurrent claims that Russia does not impose its will on other European actors (5), and occasional statements about performing control in the modern world (6):

(5) *We have never attempted to impose something on anybody. We understand that integration can be strong only when it is based on mutual interests.* (Lavrov 13.02.2014)

(6) *We are strongly convinced that it is impossible to control the modern world without true partnership between the main centres of power.* (Lavrov 04.06.2014)

From example (6), it can be inferred that control over others is performed not only by Russia but also by other influential actors, which are marked as ‘the main centres of power’. Thus, responsibility for world events as well as strength is shared between a few social actors, who form partnership.

Characteristics that are ascribed to Russia and indicate the consequences of its activities include being constructive, enhancing stability and democracy, and expanding presence in other regions. The achievement of such results presupposes strength of the actor, which is emphasized through the indication of agency *(actively participated)*. If the first two characteristics have an unambiguously positive axiological charge (7), the

last one receives it in context, through the reference to interaction, which presupposes mutual interest (8):

(7) *European history confirms, with evidence, that peace and stability in the continent was ensured in periods when Russia actively participated in European affairs, while attempts to isolate our country have always led to the activation of processes leading to sleepwalking into the disasters of world wars.* (Lavrov 13.02.2014)

(8) *...the building up of interaction along other vectors, primarily in the Asia-Pacific region.* (Lavrov 04.06.2014)

In the Polish corpus, the concept of strength surfaces in the context of the Crimea issue. In this context Russia is essentially constructed as an inherently unpredictable great power, which is unwilling to cooperate with others, e.g., it rejects the Eastern Partnership. The representation of Russia as a recipient of offers also implies that Russia is a powerful social actor that others should count with; it has the right to choose and make independent decisions. For instance, ensuring stability in Ukraine depends on "the Russian state and so-called separatists" (Schetyna 10.12.2014). Thus, the Russian and Polish data reveal parallelism in that having independent views and making independent decisions as semantic constituents of Russian strength are observed in both corpora.

In terms of representing Russia's behaviour towards others, the actor is constructed as threatening, defiant and aggressive. First of all, Russia attacks its neighbour without a declaration of war, so it gives primacy to force in developing international relations. Exercising control as a semantic constituent of Russia's strength *(used force, actively)* has an apparent negative axiological charge, which emerges clearly in the lexicon *(to annex, involved in the conflict)*:

(9) *Russia has used military force to annex a part of its neighbour's territory, and is actively involved in the conflict in eastern Ukraine.* (Schetyna 10.12.2014)

Furthermore, Russia is presented as not observing international laws and calling into question the post-Cold War order in Europe. The verb 'violate' implies the destructive character of Russia's strength:

(10) *Russian operations in Ukraine evidently violate the principles of peaceful coexistence of nations. The use of armed forces (...) is legally unacceptable and politically dangerous.* (Sikorski 08.05.2014)

The consequences of Russia's actions are also evaluated negatively. These are insecurity and destabilization of the region as well as the risk of the division of Europe into spheres of influence. Polish representations of Russia in the context of the Crimea issue suggest expansion, but unlike representations in the Russian corpus where expansion of influence is emphasised, the Polish ministers focus on territorial expansion.

Apart from these negative representations, Russia is also constructed in a positive and neutral way: as a strategic economic partner and Poland's big neighbour in the East. It is stressed that Russia is not excluded from but is seen as part of Europe. The speaker recalls the metaphor of Europe breathing with two lungs: the West and the East, which clearly points to the necessity of Russia's inclusion in the European community:

(11) *As recently as last year, standing here I took the liberty of echoing St. John Paul the Great's dream of Europe breathing with two lungs, the Western and the Eastern. It was*

not the West that spurned Russia. It was Russia that chose to return to the path of an outdated development model. (Sikorski 08.05.2014)

The equivocalness of the quote, however, cannot be ignored. The reference to Russia's outdated development model can be interpreted as evidence of weakness.

5.2. Poland and the EU as strong actors

In the Russian corpus, the concept of strength also reveals itself in contexts that represent Poland. Poland is acknowledged to be large (*a large European country* — Lavrov 14.06.2014), but this statement should be considered in a more general linguistic context. In other statements, the Russian Foreign Minister uses more impressive attributes — such as *the largest* or *huge* — to construct Russia's grandeur and to present it as an actor that has no contenders in this respect.

Other characteristics that construct Poland's strength in the Russian corpus are its independence and capacity to make free choice. In the context of the discussion about Ukraine, Lavrov points to "the path taken by Poland" (Lavrov 13.02.2014) towards the EU, which Ukraine now wants to follow. The phrasing implies that choosing the future was a deliberate step made by the actor, which sets a successful example for other international actors. Despite the contentious context of the debate around Ukraine, independence as part of Poland's strength is charged positively.

Involvement in international affairs and influence on other actors is yet another semantic constituent of strength ascribed to Poland. Again, the mention of Poland's influence appears in relation to the Ukrainian issue, which the actor is engaged with:

(12) *On the 21 February (after almost three months of riots and outrages) an agreement was reached between the President of Ukraine and the opposition, which was also signed by the German, Polish and French foreign ministers.* (Lavrov 3.03.2014)

Example (12) can also be interpreted as a fragment that represents Poland as an actor having allies (Germany and France), which adds to the strength of the country. This instance of discourse is neutral in terms of its axiological charge, but many other contexts that represent the collective actors — the EU or NATO, of which Poland is a member — acquire a negative axiological charge.

Having allies obtains a negative charge when used to construct the strength of the EU. The relations between the EU and the U.S., its ally, are represented not only as deprived of parity, with Europe being subservient, but also as a threat to Russia's interest:

(13) *Lately, it has become especially evident that the choice was made in favour of activation of actions to "kick Russia back" — the United States seems to do this more consciously, while the EU does it out of solidarity with their US partners — and in the hope that Russia will have to "swallow" another wave of attack on its interests.* (Lavrov 04.06.2014)

The EU, in turn, demonstrates power and puts pressure on Russia's neighbours, which "must fulfil all the orders of Brussels" (Lavrov 13.02.2014).

Abundant examples illustrate other negatively charged qualities that constitute the strength of the West, such as the imposition of values, performance of control and expansion of geopolitical space in spite of Russia's views:

(14) *...Our Western partners have promoted their own agenda, ignoring Russia's interests in many points, expanded NATO, and generally attempted to move the geopolitical space under their control directly to the Russian borders.* (Lavrov 04.06.2014)

Although Poland is not given a direct reference in example (14), it is well known that Poland is one of the youngest and the closest to Russia NATO representatives, whose membership "expanded NATO <...> directly to the Russian borders".

At the same time, there are constructions of Europe as a strong actor when contexts indicate a stance of solidarity between Russia and Europe, as is shown in the following example. In these cases, their partnership is represented as positively charged, constructive and enhancing strength *(tremendous partnership potential, strong impulse to the development, significantly reinforce positions, ensure stable supplies)*:

(15) *The partnership potential between Russia and the European Union is tremendous. Almost 650 million people live in our countries in a territory covering 21 million sq.km. We share complementarity and interdependency of economies and common cultural roots. Russia satisfies one third of the EU's oil and natural gas needs, almost one fourth of its needs for coal and petroleum products. There is no other partner like this, who would be able to ensure stable supplies in the necessary amounts. If we united our technological resources and human potential, this would give a strong impulse to the development of Russia and the EU, and significantly reinforce their positions in today's highly competitive world.* (Lavrov 13.02.2014)

It should be noted, however, that this and similar excerpts that construct positive strength of Europe lack any comments about Poland as a separate actor.

In the Polish corpus, Poland is constructed as a strong and independent actor, but its strength is based on different qualities: not on military force as in the case of Russia, but on its own experience and self-confidence that it acquired in the process of successful historical transformations:

(16) *The outcome of the Polish transformation gives us the right to wish our Eastern neighbours similar changes. Our experience makes us confident that these countries will be strong and independent once they go through a similar process of reconstruction.* (Sikorski 08.05.2014)

The last sentence in the sequence implies that Poland is already strong since it underwent the process. Poland is constructed as a social actor, who has become more mature, responsible and influential within the EU than it used to be *(noticeably advanced, taking more responsibility)*:

(17) *Poland has noticeably advanced in the European Union's political hierarchy — from a country which looked at the Union from the perspective of financial security only, to becoming a state that is taking on increasingly more responsibility for the future of the entire Union.* (Sikorski 08.05.2014)

Transformations are represented as constructive and beneficial for Poland and its national interests:

(18) *As the minister for European affairs, I can claim with full responsibility that we have been skillfully taking advantage of our ten years' presence in the Union to pursue our strategic national interests.* (Sikorski 08.05.2014)

5.3. Who is weak?

The concept of weakness is not as saliently expressed in the data as the concept of strength. Apparently, in international relations — and corresponding discourses — political actors focus on strong allies and strong opponents, while weaker actors fall out of their circle of interest. The Russian corpus does not contain any references to Russia as a weak actor, but the Polish data reveal instances that are indicative of understanding that Poland is not strong enough to influence other actors, in particular Russia:

(19) *But when Russia annexes its neighbours' territories and threatens them with the use of force, we quickly draw conclusions. I will go further and say that we will be the first to welcome Russia's decision to abandon the path of aggression. But we are not arrogant enough to believe that if a Polish politician angrily stamps his foot or resorts to flowery rhetoric, Russia will change.* (Sikorski 08.05.2014)

In this context, however, weakness does not bear a negative axiological charge because it is opposed to Russia's strength that is aggressive and dangerous *(annexes, threatens)*.

At the same time, weakness also characterises Russia, which is represented in the Polish data as an actor who is inextricably linked with its Soviet past and the failures of the Soviet Union:

(20) *...the Russian state seems to harbour its own vision of the world. In this vision, the collapse of the Soviet Union was a catastrophe and a humiliation, and the choice of former Soviet republics to become independent nations was an historical injustice. It seems to me that Russia has yet to fully grasp what a defeat Sovietism was for the world and for Russia. Russia is trying to play extra time because it has failed to learn the lesson of its own totalitarian past.* (Sikorski 08.05.2014)

Thus, Russia is associated with the Soviet Union, whose weakness is constructed mostly lexically (*collapse, catastrophe, humiliation, defeat*).

In particular contexts, the indication of an opponent's weakness creates an opposition, thus discursively enhancing the strength of the social actor who the speaker represents.

In the Polish data, the opposition between the strong EU and weak Russia is constructed in the context of discussing mutual economic embargoes. The EU is represented as an actor who is to win due to its economic potency as opposed to Russia, who is economically weak:

(21) *...In the centennial year of the outbreak of the First World War Moscow challenges us to an ideological confrontation. A confrontation, I should add, that Russia is in no position to win. In terms of economic potential, the European Union leads eight to one, and when you add the US and Canada, the ratio is eighteen to one.* (Sikorski 08.05.2014)

In example (21), the opposition between strength and weakness is made manifest by two contrasting predications used to characterise the opponents *(in no position to win* vs. *leads)*, and then a quantitative criterion is applied to measure the relative economic strength *(eighteen to one)*. Thus, lexical and syntactic techniques along with the semantic strategy of comparison are employed to construct the opposition.

In the Russian data, examples of explicit indications of the opponent's weakness are not pervasive but existent. For instance, Lavrov points out "the recent trend of reduction of the weight of the West in the global balance of forces" (Lavrov 04.06.2014). The lexical units 'strength' and 'weight' contribute to the category of strength; however, the noun 'reduction' adds to the idea of weakness since it brings to the foreground the claim that the West is losing its strength.

Another technique that constructs the category of weakness in Lavrov's speeches involves recurrent assertive statements about changing geopolitical patterns and growing multi-polarity in the world balance. The buzzwords include 'polycentric' (*We are observing the process of formation of a new polycentric international system.* — Lavrov 21.01.2014) and 'multipolarity' *(...we have been seeing a clearer contradiction between the strengthening multipolarity and the aspirations of the United States and the historical West to keep their usual domineering positions.* — Lavrov 04.06.2014). Both of them presuppose a different distribution of influence in the world, some actors becoming stronger, others becoming weaker.

The ongoing changes in the distribution of strength around the globe are accentuated by pointing to the emergence of new strong actors:

(22) *...Today's Europe is not a centre of global economics and politics anymore and it should take into account the rise of other centres of power and influence.* (Lavrov 13.02.2014)

The context of the discussion of the relations between Russia and the EU allows for considering Russia as one of these centres of power, with the implication that Europe is weakening, which accords with the explicit claim about Europe losing influence.

6. CONCLUSION

We will draw conclusions based on the research questions posed in section 3 of the paper. It can be inferred from the analysis that the categories of 'strength' and 'weakness' play an important role in constructing social actors and relations between them in foreign policy discourse. Strength is not only explicitly referred to as a necessary quality of countries in international relations, but it is also constructed discursively in a number of less salient ways. Weakness is constructed as a related category: pointing to a decrease in strength of one social actor triggers representations of its weakness and, thus, enhances the strength of the speaker.

The opposition 'strength vs. weakness' seems to be no less important in constructing international relations than the opposition 'us vs. them'. Its essential character is predetermined by the functions of foreign policy discourse, which aims at gaining power by social actors in the international arena, on the one hand, and maintaining a certain level of interstate harmony, on the other. Thus, ascribing various positively charged constituents of strength in self-representations constructs a strong social actor, which

is able to protect national interests. In the Russian and Polish self-representations as strong actors, strength has an inherent positive axiological charge, while it is negatively charged in most instances of the representations of opponents. For the sake of international harmony, however, positively charged strength is admitted to characterise both individual actors and partnerships between rivaling social actors. Russia and Poland construct each other's strength in neutral or positive terms too. In the Russian discourse, Poland's involvement in international affairs and having allies are interpreted without any axiological stance. Similarly, in the Polish corpora the constructions portray Russia as a strong economic partner and Poland's big neighbour. Also, a group that is constructed with the opponent becomes stronger, and strength acquires positive connotations. Both the group 'Russia and Europe' in Russian discourse and the group 'Poland and Russia' in Polish discourse receive a positive evaluation from speakers.

The category of strength receives a more salient expression and is developed in more detail than the category of weakness in both Russian and Polish corpora. The greater importance of indications of strength in foreign policy discourse can be justified by its function to protect national interests and the necessity to demonstrate the actor's ability to survive in the international arena. The complexity of the category of strength emerges in three groups of qualities that are ascribed to construct social actors as strong agents. These groups include: (1) inherent qualities of the actor, (2) ways of behaviour towards others, and (3) consequences of the actor's activities. The sets of the qualities that together conceptualise strength reveal a considerable parallelism in Russian and Polish corpora. In both corpora, the semantic constituents of strength within the groups are contextually embedded and coincide with the semantic components of the lexical unit 'strength' only to a limited extent.

The category of strength and its axiological charge are constructed by an array of linguistic techniques. Lexical units, including nouns, verbs, adjectives, and phraseology, with the semantics of being resistant, efficient and constructive are employed to construct strong actors that bear a positive axiological charge. Negative axiological charge of strong actors is constructed through military vocabulary (mostly in Polish discourse about Russia), the vocabulary of destruction, violence and threat. Linguistic resources are not reduced to lexical units only. Morphological and syntactic forms (e.g. degrees of comparison of adjectives, listing a number of qualities) are also involved. The importance of all these linguistic resources proves valid for both Russian and Polish data.

Strength and weakness are not symmetrical discursive constructs. While strength is expressed more saliently, weakness is more implicit and constructed as a related category in a less direct way against the background of strength. The opposition is built through the semantic strategy of comparison and the indication of redistributing strength among the actors on the globe. The axiological charge of weakness is not explicit; its negative character can be inferred from the striving of social actors to prove their strength. The lack of symmetry between strength and weakness does not result from the semantic asymmetry of specific lexical units that represent the concepts. Rather, it is the consequence of complicated pragmatic interrelations between the actors and their intentions expressed in foreign policy discourse as well as the usage of multiple and heterogeneous linguistic resources.

Taken in a wider methodological perspective of social theory, the present study illustrates the role of discourse practices for the social construction of international relations as well as the flexibility and instability of social actors and their qualities, which are constantly constructed and re-constructed in discursive processes. Our observations resonate with the claim of Wendt: "Agents and structures are themselves processes, in other words, on-going 'accomplishments of practice'" (Wendt 1999: 313). The avenues of prospective research may lie towards the exploration of diachronic changes in the semantic composition of strength and weakness across time and political cultures.

© Tatiana Dubrovskaya, Agnieszka Sowińska, 2018

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Александров-Деркаченко П., Ауров О. Польская боль / Русская боль // Свободная мысль. 2012. № 11—12 (1635). С. 195—204. [Aleksandrov-Derkachenko, P., Aurov, O. (2012). Polish pain / Russian pain. *Svobodnaya Mysl'*, 11—12 (1635), 195—204. (In Russ.)]

Алиева Т.В. Имплицитные языковые средства, участвующие в формировании концептуальной оппозиции «свой — чужой» в политическом дискурсе англоязычной прессы // Вестник Московского государственного областного университета. Серия Лингвистика. 2010. № 1. С. 86—89. [Aliyeva, T. (2010). Implicit language means forming the conceptual opposition 'us vs. them' in the political discourse. *Vestnik Moskovskogo Gosudarstvennogo Oblastnogo Universiteta. Seria: Lingvistika,* 1, 86—89. (In Russ.)]

Анипкин М., Григорьев М. Межэтническая напряженность в отношениях россиян и поляков: польский аспект проблемы // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. № 2. С. 57—65. [Anipkin, M., Grigoryev, A. (2014). Interethnic tensions between the Russian and Polish people: the Polish view. *Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Serija 7: Filosofia. Sotsiologia i Sotsialnyje Tekhnologii*, 2, 57—65. (In Russ.)]

Белые Пятна — Черные Пятна: сложные вопросы в российско-польских отношениях /под ред. Торкунова А.В., Ротфельда А., Наринского М.М. Москва: Аспект Пресс, 2010. 823 с. [*Blind Spots — Black Spots: Difficult Issues in Russian-Polish Relations.* (2010). Torkunov, A.V., Rotfeld, A., Narinsky, M.M. (eds.) Moscow: Aspekt Press. 823 p. (In Russ.)]

Бирюков С. Образ современной России: западные стереотипы и российские реальности // Перспективы. Специальный выпуск. 2015. С. 19—33. [Biryukov, S. (2015). Image of modern Russia: Western stereotypes and Russian reality. *Perspektivy* Specialnyj Vypusk, 19—33. (In Russ.)]

Волкова Я.А., Панченко Н.Н. Деструктивность в политическом дискурсе // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2016. Том 20. № 4. С. 161—178. DOI: http://dx.doi.org/10.22363/2312-9182-2016-20-4-160-178 [Volkova, Y.F., Panchenko, N.N. (2016). Destructiveness in political discourse. *Russian Journal of Linguistics*, 20 (4), 161—178. (In Russ.)]

Воркачев С.Г. Инициатива и послушание: к аксиологической вариативности лингвоконцепта // Политическая лингвистика. 2012. № 1. С. 173—180. [Vorkachjov, S.G. (2012). Initiative and obedience: axiological variability of concept in language. *Politicheskaja Lingvistika*, 1, 173—180. (In Russ.)]

Вражнова И.Г., Дубровская О.Н., Ермакова Е.В., Харламова Т.В. Современный политический дискурс и СМИ: Власть и общество. Саратов: Наука, 2009. [Vrazhnova, I.G., Dubrovskaya, O.N., Ermakova, E.V., & Kharlamova T.V. (2009). *Modern Political Discourse and the Media: Power and Society.* Saratov: Nauka. (In Russ.)]

Гаврилов И.А., Гаврилов А.А., Щербинин А.И. Присоединение украинского Крыма Россией как причина апории со странами Запада // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. № 3(31). С. 91—96. [Gavrilov, I.A., Gavrilov, A.A., Scherbinin, A.I. (2015). The annexation of the Ukrainian Crimea by Russia as a reason for aporia with Western countries. *Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Filosofia. Sotsiologia. Politologia,* 3(31), 91—96. (In Russ.)]

Карасик В.И. Языковой Круг: Личность, Концепты, Дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. [Karasik, V.I. (2002). *Language Circle: Identity, Concepts, Discourse*. Volgograd: Peremena. (In Russ.)]

Кишина Е. В. Семантическая оппозиция «свой — чужой» как реализация идеолого-манипулятивного потенциала политических дискурсов // Вестник Кемеровского государственного университета. 2011. № 4(48). С. 174—179. [Kishina, E.V. (2011). The semantic opposition 'us vs. them' as the realization of ideological manipulative potential of political discourses. *Vestnik Kemerovskogo Gosudarstvennogo Universiteta*, 4 (48), 174—179. (In Russ.)]

Озюменко В.И. Медийный дискурс в ситуации информационной войны: от манипуляции — к агрессии // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2017. Том 21. № 1. С. 203—220. DOI: http://dx.doi.org/10.22363/2312-9182-2017-21-1-203-220 [Ozyumenko, V.I. (2017). Media discourse in an atmosphere of information warfare: from manipulation to aggression. *Russian Journal of Linguistics*, 21, 1, 203—220. (In Russ.)]

Офицеров-Бельский Д.В. Трансформация образа России в современной польской периодике // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2014. № 4(28). С. 214—219. [Ofitserov-Belskij, D.V. (2014). Trasformation of the image of Russia in the modern Polish periodicals. *Vestnik Permskogo Universiteta. Rossijskaja i Zarubezhnaja Filologija*, 4(28), 214—219. (In Russ.)]

Петрова Я.С. Российско-польские отношения в 90-е годы XX века // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2015. № 4(2). С. 149—157. [Petrova, J.S. (2015). Russian-Polish relations in the 1990s. *Vestnik Leningradskogo Gosudarstvennogo Universiteta im. A.S. Pushkina.* 4 (2), 149—157. (In Russ.)]

Савельева А.А. Фразеологизмы семантической оппозиции «сила» vs. «слабость» в современном русском языке // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2011. № 1. С. 132—139. [Savelyeva, A. A. (2011). Phraseology of the semantic opposition 'strength' vs. 'weakness' in modern Russian language. *Izvestija Vysshikh Uchebnykh Zavedenij. Problemy Poligrafii i Izdatelskogo Dela*, 1, 132—139. (In Russ.)]

Сикевич З. Национальное самосознание русских (социологический очерк). Москва: Механик, 1996. [Sikevich, Z. (1996). *National Mentality of the Russians (Sociological Review).* Moscow: Mekhanik. (In Russ.)]

Anderson, B. (1991). I*magined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.* London, N.Y.: Verso.

Barbato, M. (2016). What kind of person is the state? The pilgrim as a processual metaphor beyond the Leviathan. *Journal of International Relations and Development*, 19 (4), 558—582.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality.* London: Penguin Books.

Bloor, M., & and Bloor, T. (2007). *The Practice of Critical Discourse Analysis. An Introduction.* London: Hodder Arnold.

Cashdan, E., & Downes, S.M.. (2012). Evolutionary perspectives on human aggression. *Human Nature*, 23 (1), 1—4.

Catalano, T., & and Waugh, L.R. (2013). The ideologies behind newspaper crime reports of Latinos and Wall Street/CEOs: A critical analysis of metonymy in text and image. *Critical Discourse Studies*, 10 (4), 406—426.

Chilton, P. (2004). *Analysing Political Discourse. Theory and Practice.* London and N.Y.: Routledge.

Cillia, R. de, Reisigl, M., & and Wodak, R. (1999). The discursive construction of national identities. *Discourse and Society*, 12 (2), 149—173.

Cruse, A. (2004). *Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics.* Oxford: Oxford University Press.

Davies, M. (2008). *Oppositions in News Discourse: the Ideological Construction of Us and Them in the British Press*. Doctoral thesis, University of Huddersfield.

Dubrovskaya, T., & Kozhemyakin, E. (2017). Media construction of Russia's international relations: specific of representations. *Critical Discourse Studies*, 14 (1), 90—107. DOI: 10.1080/17405904.2016.1196228.

Epstein, C. (2011). Who speaks? Discourse, the subject and the study of identity in international politics. *European Journal of International Relations*, 17(2), 327—350. https://doi.org/10.1177/1354066109350055.

Fairclough, N. (2004). *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research.* London, N.Y.: Routledge.

Gerrits, A. (ed.) (2008). *The European Union and Russia and Interest in the Shaping of Relations.* The Hague: Institute of International Relations Clingendael.

Holzscheiter, A. (2013). Between communicative interaction and structures of signification: Discourse theory and analysis in international relations. *International Studies Perspectives* 15(2). 142—162.

Husar, J. (2016). *Framing Foreign Policy in India, Brazil and South Africa: on the like-mindedness of the IBSA states.* Cham: Springer.

Hynek, N., & Stritecky V. (2010). The rise and fall of the third site of ballistic missile defense. *Communist and Post-Communist Studies*, 43, 179—187.

Kazharski, A. (2013). Eurasian regionalism as an identitary enterprise: representations of European other in Russian discourse on Eurasian integration. *CEURUS EU-Russia Papers,* 12, 1—28.

Koschut, S., & Oelsner, A. (eds.) 2014. *Friendship and International Relations.* Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Lauerbach, G.E., & Fetzer A. (2007). Political discourse in the media: cross-cultural perspectives. In Fetzer, A. & and G.E. Lauerbach (eds.) *Political Discourse in the Media.* Amsterdam: John Benjamins, 3—28.

López Maestre, M.D. (2007). Investigating language and ideology in discourse on immigration: A corpus-based critical approach. In Lottgen, U.D.S., & J.S. Sánchez (eds.) *Discourse and International Relations*. Bern: Peter Lang, 141—180.

Malmvig, H. (2006). *State sovereignty and intervention: a discourse analysis of interventionary and noninterventionary practices in Kosovo and Algeria.* London: Routledge.

Medvedev, S. (2008). *Limits of integration: Identities and institutions in EU-Russia relations.* Helsinki: Aleksanteri Institute.

Murphy, M.L. (2006). Antonymy and incompatibility. In Brown, K. (ed.) *Encyclopedia of Language and Linguistics.* Amsterdam: Elsevier, 314—317.

Reisigl, M., & Wodak, R. (2001). *Discourse and Discrimination. Rhetorics of Racism and Anti-Semitism.* London: Routledge.

Sowińska, A. (2015). *A Critical Search for Values in George W. Bush's State of the Union Addresses.* Frankfurt am Mein: Peter Lang.

Sowińska, A., & Dubrovskaya, T. (2012a). Discursive construction and transformation of 'us' and 'them' categories in the newspaper coverage on the US anti-ballistic missile system: Polish versus Russian View. *Discourse & Communication*, 6 (4), 449—468.

Sowińska, A., & Dubrovskaya, T. (2012b). Discursive strategies in the media construction of Poland, Russia and the USA in the context of the debate on the US anti-ballistic missile defense shield in Polish and Russian quality papers. In Skrzypczak, W., Fojt T., & and S. Wacewicz (eds.) *Exploring Language through Contrast.* Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 268—287.

Van Dijk, T.A. (2006). Politics, ideology, and discourse. In Brown, K. (ed.) *Encyclopedia of Language and Linguistics.* Amsterdam: Elsevier, 728—740.

Van Leeuwen, T. (2003). The Representation of Social Actors. In Caldas-Coulthard C.R., & M. Coulthard (eds.), *Texts and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis*, 32—70. London: Routledge.

Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Data

Lavrov 21.01.2014 — Speech by the Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and his answers to questions from the mass media during the press conference summarising the results of the activities of Russian diplomacy, Moscow. Available from: http://en.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/79890 [Accessed: 1st June 2017].

Lavrov 13.02.2014 — Article by the Russian Foreign Minister, Sergey Lavrov, "Russia-EU: Time to Decide" published in the Kommersant newspaper. Available from: http://en.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/76622 [Accessed: 1st June 2017].

Lavrov 03.03.2014 — Speech by the Russian Foreign Minister, Sergey Lavrov, during the high-level segment of the 25th session of the United Nations Human Rights Council, Geneva. Available from: http://en.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/72642 [Accessed: 1st June 2017].

Lavrov 23.05.2014 — Speech by the Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at the III Moscow International Security Conference, Moscow. Available from: http://en.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/59058 [Accessed: 1st June 2017].

Lavrov 04.06.2014 — Speech by the Russian Foreign Minister, Sergey Lavrov, at the meeting with members of the Russian International Affairs Council, Moscow. Available from: http://en.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/57150 [Accessed: 1st June 2017].

Lavrov 14.06.2014 — Interview by the Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, given to the programme "Postscriptum", Moscow. Available from: http://www.mid.ru/en/vistupleniya_ministra/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/id/56142 [Accessed: 1st June 2017].

Sikorski 08.05.2014 — Address by the Minister of Foreign Affairs on the goals of Polish foreign policy in 2014. Available from: http://www.msz.gov.pl/en/news/address_by_the_minister_of_foreign_affairs_on_the_goals_of_polish_foreign_policy_in_2014 [Accessed: 1st June 2017].

Sikorski 22.09.2014 — Farewell Address by Minister Sikorski. Available from: http://www.msz.gov.pl/en/p/msz_en/ministry/polish_diplomacy_archive/former_ministers/remarks_by_radoslaw_sikorski/farewell_address_by_minister_r__sikorski;jsessionid=DCD3102767D0ACAFBC2710ABC9FA5B50.cmsap5p [Accessed: 1st June 2017].

Sikorski 23.09.2014 — "We are on the right track" — Minister Radosław Sikorski about his seven years as chief of Poland's diplomacy Available from: http://www.mfa.gov.pl/en/news/0_we_are_on_the_right_track____minister_radoslaw_sikorski_about_his_seven_years_as_chief_of_poland_s_diplomacy [Accessed: 1st June 2017].

Schetyna 06.11.2014 — Report by the Council of Ministers on the goals of Polish foreign policy in 2014—2015. Available from: http://www.msz.gov.pl/en/news/minister_grzegorz_schetyna_on_polish_foreign_policy_priorities [Accessed: 1st June 2017].

Schetyna 10.12.2014 — Address by Minister Schetyna at the Polish Institute of International Affairs, "NATO in the New Security Environment: Newport, Warsaw and Beyond." Available from: http://www.msz.gov.pl/en/ministry/polish_diplomacy_archive/former_ministers/remarks_mgs/address_by_minister_at_the_polish_institute_of_international_affairs;jsessionid=24E9E089164F28DF595E725FA63D09BC.cmsap5p [Accessed: 1st June 2017].

Article history:
Received: 15 October 2017
Revised: 26 November 2017
Accepted: 20 December 2017

For citation:
Dubrovskaya, Tatiana and Sowińska, Agnieszka (2018). Construction of Categories 'Strength' and 'Weakness' in Russian and Polish Foreign Policy Discourse. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (2), 292—312. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-292-312.

Bionotes:
TATIANA V. DUBROVSKAYA is Dr. Hab., Head of the English Language Department at Penza State University (Russia). *Research interests*: critical discourse analysis of political and mass media practices, legal linguistics, linguistic pragmatics, speech genres, discursive construction of international relations. *Contact information*: e-mail: gynergy74@gmail.com

AGNIESZKA SOWIŃSKA is PhD, Associate Professor at the Department of English, Nicolaus Copernicus University (Toruń, Poland) and at Académico, Escuela de Inglés, Universidad Católica del Norte (Antofagasta, Chile). *Research interests*: critical discourse analysis of political and mass media practices, linguistic pragmatics, communication in healthcare. *Contact information:* e-mail: sowinska@umk.pl

FINANCE AND ACKNOWLEDGEMENTS
This work was supported by Russian Foundation for Basic Research, Grant No. 15-34-14001 'Political, legal and mass media discourse in terms of discursive construction of Russia's international and interethnic relations'.

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-292-312

КОНСТРУИРОВАНИЕ КАТЕГОРИЙ «СИЛА» И «СЛАБОСТЬ» В РОССИЙСКОМ И ПОЛЬСКОМ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Т.В. ДУБРОВСКАЯ[1], АГНЕШКА СОВИНЬСКА[2]

[1]Пензенский государственный университет
440026, Пенза, Россия ул. Красная, д. 40

[2]Северный католический университет, Институт английского языка
г. Антофагаста, Чили
[2]Университет Николая Коперника
87-100, Торунь, Польша, ул. Боярского, д. 1

Настоящая статья подготовлена в рамках реализации проекта, направленного на выявление дискурсивных механизмов конструирования межнациональных отношений. Цель данной части исследования состоит в том, чтобы определить функциональную ценность категорий «сила» и «слабость»

в дискурсивных репрезентациях политических акторов-государств. Работа базируется на положениях социального конструкционизма и критическом дискурс-анализе. Материалом исследования послужили выступления глав внешнеполитических ведомств России и Польши. Результаты анализа показали, что оппозиция «сила vs. слабость» играет существенную роль в конструировании межнациональных отношений во внешнеполитических практиках. Мы рассматриваем репрезентации национальных государств и их качеств в политическом дискурсе, а также выявляем, какие качества концептуализируют «силу» и «слабость». Анализ показывает, что две рассматриваемые категории состоят в отношениях взаимообусловленности, однако «сила» получает более эксплицитное выражение, чем «слабость», а аксиологическая нагрузка «силы» меняется в зависимости от репрезентируемого актора. Целый ряд языковых средств задействован в конструировании оппозиции и, как следствие, межнациональных отношений между политическими акторами. Из анализа следует, что социальные акторы и их качества можно рассматривать как социальные категории, которые находятся в состоянии постоянного конструирования и ре-конструирования. Проведенное исследование развивает теорию дискурса, а также наглядно демонстрирует, как дискурсивный подход обогащает изучение социальных практик и дает ключ к пониманию происходящих социальных процессов.

Ключевые слова: *внешнеполитический дискурс, конструирование, межнациональные отношения, польский, русский, сила, слабость*

История статьи:
Дата поступления в редакцию: 15 октября 2017
Дата принятия к печати: 20 декабря 2017

Для цитирования:
Dubrovskaya, Tatiana and Sowińska, Agnieszka (2018). Construction of Categories 'Strength' and 'Weakness' in Russian and Polish Foreign Policy Discourse. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (2), 292—312. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-292-312.

Сведения об авторах:
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ДУБРОВСКАЯ — доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой «Английский язык» Пензенского государственного университета (Россия). *Сфера научных интересов:* критический дискурс-анализ политических и массмедийных практик, юридическая лингвистика, лингвистическая прагматика, речевые жанры, дискурсивное конструирование национальной идентичности. *Контактная информация:* e-mail: gynergy74@gmail.com

АГНЕШКА СОВИНЬСКА — PhD, доцент кафедры английской филологии Университета Николая Коперника (Торунь, Польша) и Северного католического университета (г. Антофагаста, Чили). *Сфера научных интересов:* критический дискурс-анализ политических и массмедийных практик, лингвистическая прагматика, коммуникация в сфере медицинского обслуживания. *Контактная информация:* e-mail: sowinska@umk.pl

ФИНАНСИРОВАНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-34-14001 «Политический, юридический и масс-медийный дискурс в аспекте конструирования межнациональных отношений Российской Федерации».

Russian Journal of Linguistics
Вестник РУДН. Серия: ЛИНГВИСТИКА
2018 Vol. 22 No. 2 313—337
http://journals.rudn.ru/linguistics

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-313-337

ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТАФОР В БРИТАНСКОМ КОРПУСЕ ТЕКСТОВ: КОЛОКОЛА ПОБЕДЫ И RUSSIA'S V-DAY

О.А. СОЛОПОВА[1], А.П. ЧУДИНОВ[2]

[1]Южно-Уральский государственный университет
(Национальный исследовательский университет)
454080, Челябинск, Россия пр. Ленина, д. 76

[2]Уральский государственный педагогический университет
620017, Екатеринбург, Россия, пр. Космонавтов, д. 26

Исследование выполнено в рамках диахронической лингвополитической метафорологии, которая занимается вопросами исторического развития и историографического потенциала политической метафоры. Актуальность диахронического анализа политической метафорики в британском дискурсе (1945—2000) определяется рядом лингвистических причин и экстралингвистических факторов. Целью работы является изучение эволюции концептуальных образов, связанных с периодом Второй мировой войны. В основу исследования положен принцип равномерной фрагментации с шагом 5 лет (9 мая 1945, 9 мая 1950, 9 мая 1955 ... 9 мая 2000), который во многом координирует с принципом фокусности. Текстовый материал из оцифрованного корпуса The British Newspaper Archive изучается с использованием методов корпусного анализа, когнитивно-дискурсивного анализа и метода метафорического моделирования. Данные статистического анализа показывают, что частотность обращения к событиям, связанным с «русским Днем Победы» и представленным в изданиях, вышедших 9 мая каждой из исследуемых синхронных точек, коррелирует с общей тенденцией снижения интереса к России. Содержательный анализ позволил доказать мифологизированность военно-политического дискурса, его двухценностную ориентацию, сужающую военно-политический мир до черно-белой модели. В статье выявлены доминантные метафорические модели, их прагматический потенциал, дискурсивные факторы, оказавшие влияние на активизацию метафор и транслируемых ими смыслов, установлена взаимозависимость между метафорами и образами, которые они генерируют, акцентирована их детерминированность историческим контекстом эпохи. Результаты работы представляют интерес для широкого круга отечественных и зарубежных специалистов в области когнитивной лингвистики, политической лингвистики, политологии, истории, социологии.

Ключевые слова: *военно-политический дискурс, диахроническая метафорология, концептуальная метафора, Вторая мировая война, Советский Союз, Россия, образ врага, образ союзника*

1. ВВЕДЕНИЕ

Обращение к исследуемой в настоящей статье проблематике обусловлено как собственно лингвистическими причинами, так и экстралингвистическими факторами. В России День Победы над фашистской Германией традиционно отмечают 9 мая, тогда как в Великобритании и многих иных странах праздничные мероприятия проходят днем раньше. Российский День Победы в британской прессе нередко обозначают как Moscow's V-day или Russia's V-day и воспринимают как информационный повод для того, чтобы вспомнить о вкладе Советского Союза

в общую борьбу союзников с фашизмом. Эта традиция получила начало в 1945 году, но с тех пор многое изменилось...

С лингвистической точки зрения рассмотрение подобных изменений может предоставить интересный материал для более полного понимания роли СМИ как важного фактора формирования читательских представлений о роли Советского Союза во Второй мировой войне. Диахронический анализ позволит реконструировать метафорическую картину дня Победы, установить константные и вариативные характеристики для каждой из синхронных точек, выбранных для анализа, исследовать факторы эволюции метафор. Именно поэтому настоящее исследование выполнено в рамках нового перспективного научного направления, лежащего на пересечении политологии, истории и лингвистики, — диахронической лингвополитической метафорологии (Будаев; 2010; Anikin, Budaev, Chudinov 2015; Chudinov, Solopova 2015; Solopova 2014, 2017 и др.), основной задачей которой является отслеживание исторической динамики метафорической картины мира на различных этапах развития общества, рассмотрение закономерностей отражения политической жизни в зеркале метафор. Другими словами, диахроническая метафорология является интегральной частью метафорологии как науки о метафоре и занимается вопросами исторического развития и историографического потенциала политической метафоры.

К экстралингвистическим факторам, обусловившим выбор заявленной проблематики, относятся политизация и «ревизия» представлений о Второй мировой войне, ее причинах и итогах, о роли СССР в разгроме фашизма. Экстралингвистический контекст дискурса, учет реалий различных исторических периодов позволит выявить причины и этапы модификации образа СССР в британском дискурсе и его роли во Второй мировой войне, что представляет большой интерес не только для лингвистики, но и для истории, социологии, политологии, культурологии и других областей знания.

2. МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выбор британского дискурса для анализа эволюции концептуальных образов, связанных с периодом Второй мировой войны, оправдан лингвополитическим и экстралингвистическим контекстами. Во-первых, в наших предыдущих исследованиях, материалом которых послужили филологически представительные массивы данных британского дискурса XIX и XXI веков [Solopova 2014, 2017], отмечено, что основными тенденциями в моделировании образа России в двух периодах являются нежелание британцев принять Россию в качестве европейской державы, восприятие России как страны «за пределами» Европы, острое геополитическое соперничество (XIX в.), отчуждение (начало XXI в.).

Проецирование на предполагаемого или действительного противника негативных стереотипов диктует выбор метафор с отрицательным зарядом и задает общую антагонистическую тональность дискурса о России. Включение в сопоставительный ряд моделирования образа России в британском дискурсе XX века, в частности советского периода, заполнит «временной разрыв» и позволит в дальнейшем

при последовательном исследовании диахронических изменений выявить социально-культурную инкарнированность метафор о России либо их дискурсивную обусловленность на протяжении трех столетий. Во-вторых, 9 мая 1945 года как первая синхронная точка диахронического анализа очень показательна, поскольку Вторая мировая война — период, когда Россия и Великобритания, будучи союзниками, одержали триумфальную победу над общим врагом. Выбор рубежа столетий в качестве последней точки диахронического анализа дискурсивно оправдан тем, что это было время завершения социальной революции в России, когда отношения между нашими странами еще не вступили в период острых противоречий.

Источником текстов стала выборка из оцифрованных изданий Великобритании из полнотекстового одноязычного коммерческого корпуса The British Newspaper Archive (21497726 газет и журналов с 1700 года по 2017 год), представляющим собой собрание письменных текстов Великобритании (Англии, Шотландии, Ирландии, Уэльса). Метаразметка корпуса включает в себя внешние, экстралингвистические метки — сведения о самом тексте, дате и месте его появления. Корпус обеспечен специализированным поисковым интерфейсом, который позволяет исследователю делать выборку текстов по заданным параметрам: возможен как поиск одной из ряда запрашиваемых словоформ, так и обязательной словоформы в указанную дату или промежуток времени. Выдача данных корпусом не ограничена: результатом поиска является полный список документов, упорядоченных по релевантности. Отметим, что указанный корпус справедливо относят к числу наиболее объемных и вместе с тем удобных для использования и решения конкретных лингвистических задач.

Полнотекстовая выборка в архиве осуществлялась с помощью специализированной программы поиска по словоформам и словосочетаниям «USSR, Soviet Union, Russia, Russian, Victory Day» в изданиях, вышедших 9 мая каждого года с пятилетним интервалом, начиная с 1945 г. и заканчивая 2000 г., с условием отбора текстов, в которых присутствует хотя бы одна из запрашиваемых словоформ. Например, 9 мая 1955 года было опубликовано 6 статей по рассматриваемой тематике в пяти газетах: Aberdeen Evening Express, Belfast News-Letter, Lancashire Evening Post, Northern Whig, Portsmouth Evening News. При дальнейшем исследовании в ряде случаев (с 1960 по 2000 гг.) существующий запрос был отредактирован, временной диапазон расширен с 8 по 11 мая каждой синхронной точки.

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве основных методов исследования используются корпусный анализ, когнитивно-дискурсивный анализ, метод метафорического моделирования. Как справедливо отмечает О.О. Борискина, в современной лингвистике одни ученые воспринимают корпусные исследования языка как новое направление в лингвистике, в основе которого лежит принципиально новый научный метод, тогда как другие специалисты «предпочитают пользоваться корпусом исключительно как источником примеров для иллюстрации своих положений» (Борискина 2015: 24). По нашему мнению, в любом случае применение методов корпус-

ного анализа повышает репрезентативность выборки и объективность полученных результатов. В нашем представлении корпус — это чрезвычайно удобный способ отбора материала для исследования, который в дальнейшем можно проанализировать, используя как приемы компьютерной лингвистики, так и традиционные лингвистические методы.

В каждой из отобранных для исследования статей выделялись и детально анализировались доминантные метафорические модели с учетом сфер-источников и сфер-мишеней метафорической экспансии по традиционной для уральской научной школы методике (Чудинов 2001), восходящей к идеям Дж. Лакоффа и М. Джонсона (Lakoff, Johnson 1980) и их последователей (Баранов 2003; Cameron 1999; Chilton 2005; Chilton, Lakoff 1999; Frank 2009; Gibbs, Cameron 2008; Musolff 2007; Vertessen, Landtsheer 2008). Ведущие элементы этой методики — выделение сфер-источников и сфер-мишеней метафорической экспансии, выявление доминантных для соответствующего дискурса метафорических моделей, определение их функций, оценка их прагматического потенциала и аксиологических характеристик, анализ метафорической плотности текстов и дифференциация метафорических бурь и метафорических штилей.

Один из дискуссионных вопросов современной лингвополитической метафорологии — выбор между сплошным и дискретным анализом материала. В работах зарубежных исследователей доминирующим является сплошной (континуальный) анализ. Отметим, что большинство работ за небольшим исключением (Harvey 1999; Landtsheer 1991; Trim 2011) посвящено ретроспективному анализу на материале политического дискурса одной страны, в ряде исследований эволюция политической метафорики изучается на примере коротких временных периодов. При дискретном анализе различают равномерную и фокусную фрагментацию. В первом случае материал подразделяется на равные части по годам (десятилетиям, месяцам, сезонам или иным периодам времени) (Будаев 2011; Хренова 2011). При использовании фокусной методики шаг фрагментации определяется не хронологией в ее математическом, астрономическом и физическом представлении, а динамикой исторических событий (войны, кризисы, революции, смена политических лидеров и др.) (Solopova 2014, 2017).

В настоящей работе избрана равномерная фрагментация с шагом 5 лет: авторы проводили анализ газет и журналов, которые вышли 9 мая 1945, 9 мая 1950, 9 мая 1955 ... 9 мая 2000. Отметим, что в данном случае принцип равномерности во многом координирует с принципом фокусности: 1945 — год победы над фашизмом, 1950 — разгар холодной войны, 1955 — «оттепель», в том числе и в международных отношениях, 1960 — реформы Н.С. Хрущева, 1965 — начало периода, который впоследствии обозначат как «застой». Весьма значимыми для России стала эпоха «перестройки», которая развернулась в 1985 и завершилась к 1990 году. Наконец, в 2000 году лидером нашего государства стал В.В. Путин. Еще один аргумент, позволяющий фокусировать внимание именно на данных синхронных точках в пользу выбора фрагментации с шагом 5 лет, начиная с 1945 года, — тот факт, что соответствующие даты отмечались в России и многих

иных странах как юбилейные, что, на наш взгляд, должно предопределять повышенное внимание СМИ к событиям в России вообще и к празднованию Дня Победы. Когнитивно-дискурсивный анализ позволит учесть социоисторический и лингвокультурный факторы при исследовании специфики функционирования метафорических моделей в британском дискурсе.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Показательны сопоставительные данные о количестве публикаций, посвященных «русскому Дню Победы» в британских СМИ, вышедших 9 мая, и об общем количестве публикаций о России в британских изданиях за каждый год, выбранный в качестве синхронной точки, представленные на рисунках 1 и 2.

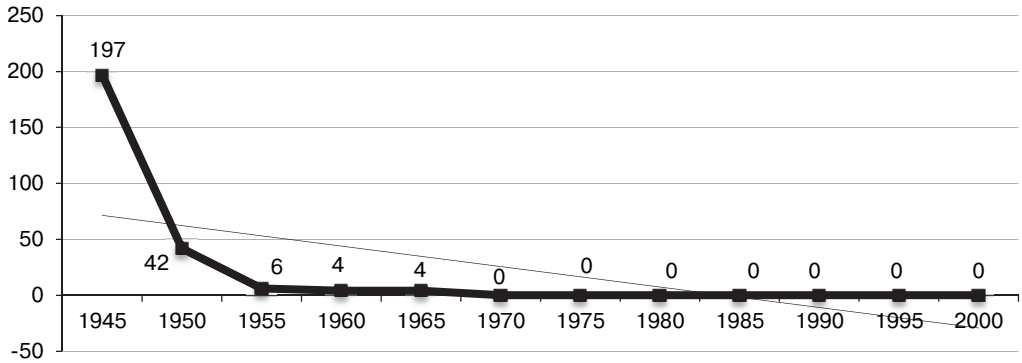

Рис. 1. Данные количественного диахронического анализа (9 мая, 1945—2000 гг.)
Fig. 1. Statistical data of diachronic analysis (9 May, 1945—2000)

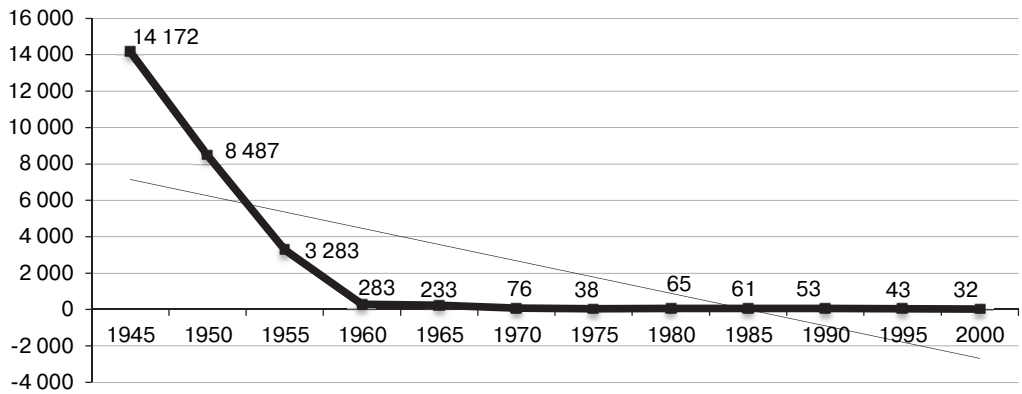

Рис. 2. Данные количественного диахронического анализа (год в целом, 1945—2000)
Fig. 2. Statistical data of diachronic analysis (each year overall, 1945—2000)

Как свидетельствуют обе диаграммы, пик всеобщего интереса британской прессы к Советскому Союзу и его вкладу в общую победу приходится на 1945 год, когда в британских газетах были опубликованы 197 статьей рассматриваемой тематики. Объемные статьи, посвященные «русскому» вкладу в общую победу

(из них 16 на первых полосах газет и журналов, маркируемых в архиве как «front page article»), опубликовали наиболее авторитетные британские газеты на территории Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, в том числе «Aberdeen Press and Journal», «Daily Record», «Daily Herald», «Newcastle Journal», «The Standard», «The Scotsman», «Western Mail», «Yorkshire Post and Leeds Intelligencer» и многие другие.

К 1955 году количество публикаций, в которых представлены искомые словоформы и словосочетания, резко снижается (6 статей, опубликованных только в газетах и журналах Англии в разделе «Разное», архивная помета — Miscellaneous). К примеру, статья о Дне Победы в России за 9 мая 1955 года опубликована в разделе «Разное» на 5 странице журнала «Belfast News-Letter» среди заметок с названиями «Rebel Garrison Surrenders in Saigon» (Повстанческий гарнизон сдается в Сайгоне), «Party to Study Bird Life in Far North» (Экспедиция для изучения жизни птиц на дальнем севере), «Eight-year-old Girl Found Murdered» (Восьмилетняя девочка найдена мертвой), «Chocolates Cheaper» (Шоколадные конфеты становятся дешевле), «22,000 Miners Resuming Work Today» (22 000 горняков возобновляют работу сегодня) и других.

Как свидетельствуют диаграммы, после 1955 года тема советского вклада в победу над фашизмом по существу уходит из сферы внимания британской прессы, о ней практически не вспоминают даже в юбилейные годы. Это относится не только к газетным номерам, которые выходили именно 9 мая. С 1960 года и далее статьи запрашиваемой тематики, опубликованные 9 мая, не представлены в корпусе The British Newspaper Archive. Расширение интервала поиска на период с 8 по 11 мая позволило обнаружить еще девять статей: четыре из которых были опубликованы в 1960 году, еще четыре — в 1965 и последняя — в 1980 году.

Интересно отметить, что идентичны на двух графиках «линии тренда» (один из инструментов статистического анализа), пересекающие горизонтальную ось в одной синхронной точке (1985 г.), что подтверждает направленное движение и указывает на продолжительную и устойчивую тенденцию исследуемого временного ряда.

Несколько выбивается из общей долговременной последовательно нисходящей тенденции 1980 год (65 изданий по сравнению с 38 изданиями в 1975 г.), что, вероятнее всего, связано с летними Олимпийскими играми, проходившими в Москве.

Специальный анализ показывает, что наибольшее количество публикаций (16) приходится на июль и август 1980 года, что совпадает со временем указанного события (19 июля — 3 августа). Несмотря на то, что олимпийский комитет Великобритании бойкотировал Олимпиаду-80 в связи с вводом Советских войск в Афганистан, некоторые спортсмены Великобритании и Ирландии прибыли на Олимпиаду в индивидуальном порядке и участвовали под флагом Олимпийских игр, что могло способствовать повышению интереса британских СМИ к событиям в Москве. В целом, частотность обращения к событиям связанным с «русским Днем Победы», представленным в изданиях, вышедших 9 мая каждой из исследуемых синхронных точек, коррелирует с общей тенденцией снижения интереса к России.

Обратимся к изучению образов «Дня Победы», освободителей (самой Великобритании, союзников, к числу которых принадлежит СССР и Россия как его правопреемница) и образа врага, четко дифференцируемых в дискурсе о Второй мировой войне в корпусе текстов, отобранных для диахронического анализа. Первая, самая показательная синхронная точка анализа — 1945 год. Общая тональность дискурса о Дне Победы 9 мая 1945 года торжественная, величественная, патетическая. Это самый великий день, который знала история (The Press and Journal), великий день последней и окончательной победы (Dumfries & Galloway Standard and Advertiser), самая великая победа в истории человечества (Burnley Express), день великого ликования (Aberdeen Press and Journal), когда громко звонят колокола Победы, отдаваясь эхом в каждом уголке мира, задевая чувствительную струнку в сердцах людей всех Объединенных Наций (Perthshire Advertiser), величайшая победа в истории, значимее, чем все завоевания Александра и Юлия Цезаря, Саладина и Чингисхана, Наполеона и Веллингтона (Burnley Express)[1].

Образы победы, войны, ее главных участников выстраиваются на единой аксиологической метафоре света и тьмы. Когнитивный прием редукции (Иссерс 2008), который состоит в сужении политического мира до его черно-белой модели, на наш взгляд, лежит в основе военно-политического дискурса в целом. Такая двухценностная ориентация четко демонстрирует мифологизированность военно-политического дискурса, в котором явно дифференцируются и резко противопоставляются «свои» и «враги», «добро» и «зло», где условными полюсами редукции являются две альтернативы развития — «победа» и «поражение», что находит выражение в тенденциозной подаче только положительных или только отрицательных фактов в упрощенном, заостренном виде.

Тьма символизирует холод, разрушение, хаос, смерть, тогда как свет является символом тепла, надежды, ожидания, рождения, жизни, начала (Мокиенко 1986):

> ***From out of the darkness we have emerged straight into the dazzling light****, and,* ***shading*** *our tear-stained eyes for a moment, we are enabled once more to gaze upon a world we formerly knew, and had almost forgotten, 'way back in 1939!*' / The Standard. (**Мы вышли из тьмы прямо в ослепительный свет** и, лишь на мгновение заслонив **от света** заплаканные глаза, мы вновь смогли увидеть мир, который мы знали ранее и который почти забыли, «назад в 1939!»)
>
> *There has never been a greater moment in the history of war than this.* ***The figure of Victory arises from amid the chaos and ruins*** / Dumfries & Galloway Standard and Advertiser. (В истории войны не было более великого момента, чем этот. **Победа восстает из хаоса, из руин**.)

[1] In all our history we have never seen a greater day than this (The Press and Journal). Victory, final and complete, in Europe has been won at last (Dumfries & Galloway Standard and Advertiser). This is a victory greater than all the victories of history (Burnley Express). Yesterday was a day of great rejoicing throughout the world (Aberdeen Press and Journal). The Victory Bells were ringing yesterday in Britain, echoing round the world, striking a responsive chord in the hearts of all people of the United Nations (Perthshire Advertiser). This victory is greater than all the triumphs of Alexander and Julius Caesar, of Saladin and Genghis Khan, Napoleon and Wellington (Burnley Express).

Бинарная оппозиция базовых категорий света и тьмы обусловливает активное употребление метафорических единиц разнообразных сфер-источников с положительной и отрицательной коннотативной нагрузкой. В проанализированном корпусе текстов за 9 мая 1945 года зафиксировано 9 метафорических моделей, наиболее продуктивными являются метафоры неживой природы, пути, преступности, животного мира, болезни, строительства, способные развивать полярные коннотативные смыслы и генерировать как «темные» образы войны и врага, так и «светлые» образы победы и ее героев.

Поскольку тьма ассоциативно связана с мрачными, черными тонами, в рамках модели «неживой природы» доминирует метафора темной, непроглядной ночи, которая продолжалась несколько долгих и трудных лет:

> *Something "Big" has happened on this planet within the last few hours — something that, fairy-like, has gently wafted us away, away from* ***the owl-haunted night of creepy war-time*** / Dumfries & Galloway Standard and Advertiser. (Нечто «Значимое» произошло на планете в последние несколько часов, оно, как по волшебству, унесло нас **из совиных лап угрюмой хищнической ночи, от страшной войны**.)

Ночь, олицетворяющая страшное прошлое и ужасы войны, отступила и ушла в небытие. Архетипическим противопоставлением ночи является день и метафора зари, восходящей над освобожденным миром:

> ***The long, long night is over, and all of us, ALL OF US, are agog to great the dawn of the new radiant day! How fairer the face*** *of our beloved country has grown! What potent magic has operated to wreathe even the forbidding countenance of the incurable misanthrope* ***with sunny smiles****?* / The Standard. (**Долгая-долгая ночь закончилась, и все мы, ВСЕ МЫ возбужденно приветствуем утреннюю зарю нового ослепительного дня**. Как **просветлилось** лицо нашей любимой страны! Какое невероятное волшебство заставило озариться **солнечной улыбкой** даже хмурое лицо неизлечимого мизантропа?)

В суточном цикле рассвет и заря, появление солнца обладают особой качественной отмеченностью, связанной со спецификой восприятия и переживания времени. Это время начал, время рождения, возрождения, время, связанное с судьбой [Мальцев 1989: 82]. Метафора зари, яркого освещения горизонта перед восходом солнца, выступает символом начала нового. Для всего мира наступает новый день, который обещает новую жизнь: для каждого человека и каждой страны восходит солнце, которое наполняет душу радостью, озаряя солнечным светом и солнечными улыбками государство и его народ.

Интенсификация светлого образа победы достигается за счет повторения метафорического образа с обогащением контекстной семантики, парадигматических и синтагматических отношений метафорической единицы с другими единицами контекста *(the dawn, the new radiant day, fairer face, sunny smile).* Ассоциативные и фоновые приращения направлены на интенсификацию прагматического компонента значения «свет». Акцентирует противопоставление образа войны и образа победы антитеза, представленная в первом придаточном предложении с редуплицированным прилагательным *long*, указывающим на дли-

тельность войны, на продолжительное ожидание наступления нового дня, который символизирует победу, и редуплицированного словосочетания *all of us*, написанного прописными буквами, во втором придаточном, что подчеркивает основную идею всего контекста, усиливая прагматический эффект: победа освещает и дарит тепло всем и каждому.

Риторический вопрос и восклицание в данном и иных иллюстративных контекстах не только повышают эмоциональный формат высказывания, делая акцент на смысловых центрах, но формируют у адресата интенцию разделить радость от свершившегося, от победы, которая вселяет уверенность, надежду и воодушевление.

Отрицательный аксиологический потенциал в британском корпусе текстов эксплицирует метафора «грозовых туч»:

> *Now* ***the dark and dangerously menacing clouds have lifted from our lives****. So, in common with the Crusaders of other Allied nations, we do well at this stage to relax a little for the purpose of* ***inhaling deep draughts of Liberty's glorious air*** / The Standard. (**Сейчас в нашей жизни развеяны черные грозовые страшные тучи**. И вместе с Крестоносцами всех союзных народов мы сделали передышку, чтобы **глубоко вдохнуть славный воздух Свободы**.)

Метафора *тяжелых грозовых туч* моделирует в сознании адресата целостный отрицательный образ войны и фашистской Германии, представлявшей угрозу миру. В оппозиции к ней употребляются метафоры глубокого вдоха, свежего воздуха, воздуха свободы, концептуализирующие «светлый» полюс настоящего. Образ славной победы коррелирует с религиозной метафорической единицей *Крестоносцы*, которая несет положительный коннотативный заряд, символизируя освобождение, дублируя и интенсифицируя смыслы метафоры *воздух Свободы*, эксплицитно представленной в анализируемом контексте. Интенсификация метафоры *глубокого вдоха* достигается за счет введения в контекст существительного *draught* (inhale (v) — to *draw* in by breathing *greedily*; draught (n) — the act or an instance of *inhaling*[2]) и прилагательного *deep,* также дублирующих в контексте значения лексемы *inhale*, моделируя образ уставшего от войны и истосковавшегося по свободе мира, который с жадностью вдыхает горький, но свободный воздух Победы.

Не менее частотными в анализируемом дискурсе являются метафоры источниковой сферы «неживая природа» с прагматическими смыслами неотвратимости, опасности, масштабности угрозы:

> *Hitler's vast plan for a slave world under German domination has utterly failed.* ***Our small democracies have enjoyed the safe anchorage behind the breakwater which they built against the storm*** / Western Mail. (Всеобъемлющий замысел Гитлера о доминировании Германии в мире рабов полностью провалился. **Наши небольшие демократические государства были надежно укрыты в бухте за волнорезом, который они воздвигли, чтобы спастись от урагана.**)

[2] *Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language* (1996). New York: Gramercy books.

Метафоры шторма, бури, урагана, насыщенные смыслами стихийного разрушения, невозможности противостоять силам природы, репрезентируют войну, фашистскую Германию и ее идейного руководителя как враждебную неподвластную человеку стихию, сметающую все на своем пути.

Интересна противопоставленная ей метафора *бухты, безопасной якорной стоянки за волнорезом*, где в надежном укрытии Великобритания пережидала шторм, что резко контрастирует с представлением Великобритании о собственной роли во Второй мировой войне, ее вкладе в победу. Вероятнее всего, под безопасной якорной стоянкой (*safe anchorage*) имеется в виду выигрышное географическое положение Великобритании, ее отделенность от континента. Будучи островным государством, великой морской державой, Великобритания, на протяжении многих веков активно принимавшая участие в войнах на континенте и за его пределами, никогда не знала тяжесть сухопутной войны на ее территории, чувствовала себя в безопасности, не подвергаясь иностранному вторжению.

Широко используются в британских СМИ рассматриваемого периода метафоры со сферой-источником «путь»:

> *We may with much lighter hearts, and with pride in our accomplishments, look back on* ***the long and bitter road we have had to travel since war came to us****. There is much to be learned from it and we shan't ignore* ***the lessons it holds*** *at our future peril* / Newcastle Journal. (Мы можем с гораздо более легким сердцем, с гордостью за наши успехи, оглянуться назад, на **долгий и горький путь, пройденный нами с начала войны**. Многому следует научиться, и мы обязательно учтем **уроки этого пути** во время будущих угроз.)

В концептуальном пространстве времени метафора пути связывает прошлое, настоящее и будущее, что позволяет в настоящем оценивать пройденный путь и извлекать уроки на будущее. В рамках рассматриваемой метафорической модели война репрезентируется как долгий путь к выживанию или гибели, путь, не всеми пройденный до Дня Победы. Инвертированный порядок слов как прием экспрессивного синтаксиса, связанный с изменением положения членов предложения, а именно с постановкой однородных обстоятельств образа действий, выраженных предложными словосочетаниями (*with much lighter hearts, and with pride in our accomplishments*) «внутрь» составного глагольного сказуемого, их обособление, акцентирует результат пути — облегчение и гордость. Интересны метафорические единицы, получающие в военно-политическом дискурсе положительную коннотативную нагрузку:

> *It was Britain's solitary stand for a whole year against the most frightful enemy Europe has known that made possible the ultimate triumph of right. We were indeed* ***the last remaining barrier against world-wide tyranny*** / Dundee Courier. (Именно Британия, в одиночку противостоявшая в течение целого года самому страшному врагу, которого когда-либо знала Европа, сделала возможной окончательную победу добра. В действительности мы были **последним барьером, преградившим путь мировой тирании**.)

В подавляющем количестве случаев позитивный коннотативный потенциал эксплицирует метафора *барьера*, традиционно профилирующая негативные смыслы.

Эмфатическая конструкция «It was... that» использована для логического акцентирования роли Великобритании в войне, ее выдающихся заслуг.

Основная сфера-мишень для негативно окрашенных образов — это Германия, ее политические руководители, вооруженные силы и идеология фашизма. Моделирование «черных» образов достигается за счет использования зооморфных, религиозных, криминальных, феодальных, игровых, финансовых метафор с негативной коннотативной нагрузкой. Остановимся на доминантных образах сфер-источников «животный мир», «религия», «преступность»:

> *The perverted and inverted enthusiasm of the Nazis for evil and cruelty and oppression constituted a grave danger to freedom, and unless drastic measures are taken to deal with it it may again imperil the peace of the world. The victorious nations may be trusted to see to it that* ***the Nazi beast*** *is in slain. Only then can peace, security, happiness and prosperity be assured for future generations. Nazi totalitarianism was a dreadful thing which the world will never forget* / Perthshire Advertiser (Извращенная, поставленная с ног на голову страсть нацистов к злу, жестокости и подавлению (других) представляла серьезную опасность свободе; если не будут приняты радикальные меры, мир вновь может оказаться в опасности. Народы-победители могут проследить за тем, что **нацистский зверь** умерщвлен до конца. Только тогда будущим поколениям можно гарантировать мир, безопасность, счастье и процветание. Нацистский тоталитаризм был ужасен, мир его никогда не забудет.)

Как было отмечено в наших предыдущих исследованиях (Chudinov, Solopova 2015; Solopova 2017), активность зооморфизмов в репрезентации образа другой страны связана с традицией зооморфной метафоризации стран, берущей начало из библейских текстов. С одной стороны, каждое государство представляет уникальную, отличную от других модель общества, что актуализирует использование СМИ традиционных зоосимволов при метафорической репрезентации других государств: британский лев или бык, русский медведь, французский петух, американский орел и другие (the British Lion, the British Bull, the Russian Bear, the French Cock, the American Eagle, etc.). С другой стороны, потенциал метафорических единиц сферы-источника «животный мир» транслировать негативные прагматические смыслы «чуждости», «инаковости» обусловливает их востребованность при формировании негативного образа геополитического противника. Зоонимом, представляющим Германию, является орел (the German Eagle), известный как Bundesadler (орел, изображенный на гербе государства). Метафора *the Nazi beast* вбирает в себя все отрицательные коннотативные компоненты лексемы *beast*: жестокость, свирепость, неуправляемость, бесчеловечность. Нацистский зверь — это не орел, а чудовищная тварь, которой не нашлось названия даже в животном мире. (Заметим, что дефиниции лексемы *beast*, предлагаемые в словарях[3] включают значения *чудовище*, *тварь*.)

[3] *Cambridge Advanced Learner's Dictionary* (2009). Cambridge: Cambridge University Press. Hornby A.S., Gatenby E.V., Wakefield H. (1995). *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press. *Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language* (1996). New York: Gramercy books.

Сходный эмотивный потенциал и специфические коннотации в моделировании образа нацистской Германии передают религиозные метафоры:

The monstrous curse and soul-searing blight of Facism *on the European Continent has been swept away* / Dumfries & Galloway Standard and Advertiser (**Чудовищное проклятие, иссушающий души фашизм** уничтожен.)

Нацизм представляется дьяволом, калечащим тела и забирающим души, подавляющим разум и волю. Проклятие, источником которого является ненависть к человечеству, чье разрушительное негативное влияние стирает города и страны с лица земли и лишает жизни миллионы людей, является оборотной стороной благословения, что вновь выводит на первый план дихотомию «свет — тьма», которая является лейтмотивом дискурса о победе и о войне.

Бесчисленные военные преступления фашизма и тягчайшие злодеяния против человечества и человечности настолько чудовищны, что в рамках криминальной метафорики проблематично повести ту демаркационную линию, которая отграничивает собственно метафоры от единиц, употребленных в прямом значении:

The evil men must pay for the crimes committed *at their instigation against all the human race* / Daily Herald. (**Негодяи должны заплатить за преступления**, совершенные ими против всего человечества.)

Тем более, что сразу после окончания Второй мировой войны нацизм был официально осужден международным военным трибуналом и поставлен вне закона в ходе Нюрнбергского судебного процесса по делу главных военных преступников европейских стран оси Рим — Берлин — Токио. Тем не менее, при исследовании зафиксирован ряд метафорических словоупотреблений рассматриваемой источниковой сферы, большая часть которых относится к фрейму «преступные сообщества»:

Yesterday was a day of great rejoicing throughout the world except in Germany and Japan and their small and insignificant ***band of sympathisers*** / Aberdeen Press and Journal. (Вчера был день великого ликования во всем мире кроме Германии, Японии и ничтожно малой **шайки их пособников**.)

Our rejoicing is subdued by the supreme consciousness of the terrible price we have paid to rid the world of ***Hitler and his evil band*** **/** Westen Mail. (Наш праздник омрачен полным осознанием того, какую страшную цену мы заплатили за то, чтобы избавить мир от **Гитлера и его мерзкой шайки**.)

Интересно отметить, что невероятно мощная энергетика Дня Победы «переворачивает» конвенциональный сценарий криминальной метафоры: традиционно транслируемые негативные смыслы криминальной метафоры *кражи* в иллюстративном контексте нивелируются, обусловливая ее способность реализовываться в «светлом» варианте:

"Here is the News" ***came stealing the war-impregnated atmosphere****!* / Dumfries & Galloway Standard and Advertiser. (Эта новость пришла внезапно, **украв** пропитанную войной атмосферу!)

Контекстуальное окружение метафорической единицы указывает на то, что она транслирует положительные коннотативные смыслы: украв войну, победа подарила человечеству мир.

Показательно, что варварство, хаос и зло, атрибутируемые не фашизму, а России в двух синхронных срезах, проанализированных ранее (Chudinov, Solopova 2015; Solopova 2014), переносятся на Германию, что свидетельствует о том, что в мире геополитики часто не объективные характеристики того или иного государства, а расстановка сил на международной арене, вхождение страны в союзнический или противоборствующий лагерь и, более того, сиюминутная конъюнктура обусловливают выбор как метафорических моделей, так и конкретных метафор для концептуализации настоящего, ревизии прошлого и определения перспектив будущего развития другого государства. К примеру, для образа России, отношения с которой носили конфронтационный, антагонистический характер в XIX веке, в британском дискурсе доминантными являются не только те же метафорические модели, в рамках которых репрезентируется фашистская Германия в анализируемом периоде, но и отдельные метафорические единицы («черная туча», «черная ночь», «проклятие», «хищник» и другие). Коллективная историческая память сохраняет и передает из прошлого в настоящее не только сами метафоры, инкарнированные в социально-культурный контекст, но и ранее сформированный образ антагониста, воскрешая и обновляя его при возникновении новой опасной ситуации и нового врага.

9 мая, День Победы, — тот краткий миг настоящего, в котором сплавляются только что закончившееся прошлое и наступающее будущее, что влечет за собой активное употребление метафорических единиц сфер-источников «болезнь», «организм», «строительство» с положительной коннотативной нагрузкой, генерирующих смыслы «избавления», «спасения», «восстановления»:

> *We do well, before facing up to the onerous, though not insurmountable task of* ***healing the world's great gaping wounds.*** *After years of tortuous suffering, heartbreaks and sorrow comes* ***this blessed anodyne of «Peace»*** / The Standard. (Мы победили, но перед нами стоит трудная, но выполнимая задача **исцелить огромные зияющие раны мира**. После долгих лет мучительных страданий, несчастий и горя наступает **благословенное утешение под названием «Мир»**.)

Резерв отрицательной экспрессивности метафоры болезни проявляют при репрезентации прошлого, войны, оставившей зияющие раны на теле человечества, тогда как будущее ставит своей целью исцеление, выздоровление и обновление каждого государственного организма. Будущее моделируется в рамках метафоры *anodyne*, первым значением лексемы является «болеутоляющее средство» (serving to alleviate pain, the *anodyne* properties of certain drug[4]). Акцентирование метафоры достигается с помощью разноуровневых грамматических средств: значение видовременной формы Present Continuous «действия в развитии в настоящий период времени» передается формой Present Simple для акцентуации факта победы, наступления мира. Кроме того, постановка подлежащего *this blessed anodyne of «Peace»* в нетипичное для него место, в конец предложения, также способствует эмфатическому выделению метафоры в высказывании.

[4] *Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language* (1996). New York: Gramercy books.

Морбиальная метафорика тесно связана с физиологической, профилирующей те же эмотивные смыслы:

How nimble, too, almost overnight, have the dodderin' feet of Age become! / Dumfries & Galloway Standard and Advertiser. (**Как внезапно стали проворными трясущиеся от немощи ноги Времени!**)

Положительная оценочность, заложенная в физиологической метафоре «проворные ноги Времени», реализуется в противопоставлении одряхлевшего, трясущегося от старости и усталости мира военного времени и мира обновленного, возрожденного победой, которая вдохнула в него молодость. Интересно употребление лексемы *overnight*, которая может интерпретироваться в нескольких своих значениях. С одной стороны, она указывает на «мгновенность», «внезапность» произошедшего (quick or sudden[5]): День Победы изменил все и сразу, им закончилась война и началось новое мирное время; с другой стороны, лексема *overnight* определяет конкретное время события — «накануне вечером», «ночью» (on the evening before, during the night[6]): окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан 8 мая в 22.43 по центрально-европейском времени — накануне вечером. Акцентированию физиологических метафор и смыслов, которые они транслируют, служат эмфатическая интонация восклицательного предложения и инвертированный порядок слов.

Обновление и возрождение мира моделируется в рамках метафоры «строительства», ассоциативно связанной с позитивными преобразованиями:

VE-Day means the same Allied co-operation which has banished the German nightmare, they can ensure peace for a torn world ***to rebuild its ravaged lands*** / Dundee Courier. (День Победы означает то же сотрудничество союзных держав, которые прогнали немецкий кошмар, они могут гарантировать мир, чтобы разодранные на части государства (мир) смогли **отстроить заново свои разрушенные земли**.)

Строительство подразумевает восстановление и реконструкцию прежних, как правило, успешных форм общественно-политического устройства.

Помимо моделирования мирного будущего и образа победы позитивный заряд метафорических и неметафорических контекстов актуализируется при репрезентации героев победы, прежде всего, самих британцев, их выдающихся заслуг и исключительного героизма:

The chief glory belongs to Britain *who for a year stood alone against the might of Germany unconquered and unafraid* / Dumfries & Galloway Standard and Advertiser (**Основная слава принадлежит Британии**, которая одна в течение года противостояла мощи Германии, непокоренная и бесстрашная.)

We were the first to draw the sword against tyranny. Our united Empire maintained the struggle single-handed for a whole year, *until we were joined by the military might of Soviet Russia* / The Press and Journal. (**Мы первые обнажили клинок против тирании. Наша объединенная империя сражалась один на один с врагом целый год**, пока к нам не присоединились военные силы Советской России.)

[5] *Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language* (1996). New York: Gramercy books.

[6] Hornby A.S., Gatenby E.V., Wakefield H. (1995). *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press.

Речь идет о ключевом для Великобритании сражении в ходе Второй мировой войны — о битве за Британию (the Battle of Britain), целью которой было ослабление военного флота, дезорганизация военной промышленности, и в конечном итоге, капитуляция государства. Гитлеровской армии не удалось сломить оборону, боевой дух британского народа и подавить желание к сопротивлению фашизму, что вызывает справедливую гордость ее граждан и активизирует единицы, нацеленные на формирование образа единственной сдерживающей силы (*alone, first, single-handed*), которой Европа обязана своим спасением:

> ***In years to come historians will say that Great Britain saved Europe*** / Dumfries & Galloway Standard and Advertiser. (**В будущем историки скажут, что Великобритания спасла Европу.**)

Некоторые историки будущего, в том числе британские, отметят, что «...вклад Советского Союза был настолько велик, что не остается ничего другого как признать роль Британии и США второстепенной» (Davies 2007), в конечном счете коммунизм, а не капитализм «явился победителем на большей части мира» (Cowles 1953).

Но, как известно, у победы много отцов... Наиболее значимые среди них Божественное провидение, Король Георг VI, по сей день являющийся символом борьбы Великобритании против фашизма во Второй мировой войне, премьер-министр, министр обороны и лидер Палаты Общин У. Черчилль:

> *Today we give thanks to **God** for a great deliverance. In the hour of danger we humbly committed our cause into **the hand of God**, and **He** has been our strength and shield. Let us thank **Him** for **His mercies** in this hour of victory* / Dumfries & Galloway Standard and Advertiser. (Сегодня мы благодарим **Бога** за великое спасение. В час опасности мы покорно вверили нашу цель **деснице Божьей**, **он** был нашей силой и нашим щитом. В час победы возблагодарим **Господа нашего** за **его милосердие**.)
>
> *We had the example of **the Royal Family** who shared all our anxieties. Three cheers for **his Majesty the King**! / Eastbourne Gazette.* (У нас был пример **королевской семьи**, которая разделила с нами все тяготы. Троекратное ура в честь **Его Величества Короля**!)
>
> *We express our admiration and affection for **our great Prime Minister**, who justly may be called "**The Architect of Victory**." /* Dumfries & Galloway Standard and Advertiser. (Мы выражаем наше восхищение и любовь нашему великому премьер-министру, который справедливо может быть назван **«Архитектором Победы»**.)
>
> *Let us pay tribute to **the man who has led us out of the valley of the shadows**. Far from being bowed down by the weight of his immense burden **Mr Churchill** has gloried in the bearing of it. It were as if he had been waiting for the hour, knowing himself **destined to guide the British Empire and Commonwealth through the most perilous years in history*** / Perthshire Advertiser. (Отдадим должное **человеку, который вывел нас из долины теней.** Он не склонился под грузом невероятного бремени, наоборот, **г-н Черчилль** нес его с достоинством. Словно он ждал своего часа, зная, что ему **суждено провести Британскую империю и Содружество сквозь самые опасные годы в истории**.)

Великая победа над нацистской Германией и ее союзниками превратила У. Черчилля, правительство которого несло основную ответственность за ведение войны и политику Британского Содружества, в национального военного лидера,

вождя, который привел свой народ к достижению долгожданной цели. Как отмечают историки (Трухановский 1982; Cowley 1953), она стала звездным часом и триумфом У. Черчилля, вершиной его политической карьеры.

К пантеону героев присоединяются союзники:

> *We appreciate our valiant leaders and* ***our victorious Allied Forces*** *who together, under Divine Guidance, have made this day possible.* ***By their courage and sacrifice we have V.E.*** / Eastbourne Gazette. (Мы благодарны нашим доблестным главнокомандующим и **нашим победоносным союзникам**, которые вместе, руководствуясь божественными наставлениями, сделали возможным этот день. **В результате их доблести и жертв** мы празднуем день Победы.)

В анализируемом британском корпусе текстов частотны вербальные знаки интеграции и формулы причастности (инклюзивное мы, лексемы единения и совместности (наш, общий, вместе, объединять, «Объединенные Нации» и другие), которые, приобретая идеологическую коннотацию «свои», и, как следствие, позитивную эмотивность, позволяют разделить радость общей победы с союзниками. Позитивная эмотивность метафор служит мощным фактором геополитической интеграции:

> *Only* ***the mighty resources of the great Allies*** *later won to the cause we had upheld have* ***ensured the victory we*** *now celebrate. Nothing less than the* ***utmost exertions of Britain, Russia, and the United States combined*** *sufficed to bring to naught the foul ambitions of the Hitlerite conspiracy that had trampled almost all Europe underfoot. That is a truth we cannot afford to forget if we are to establish a lasting peace* / Dundee Courier. (Только **мощные силы великих союзников**, вступивших в бой, поддержанный нами, **гарантировали победу**, которую мы празднуем сейчас. Именно **огромные объединенные усилия Британии, России и Соединенных Штато**в смогли свести на нет подлый замысел Гитлера, который подчинил себе почти всю Европу. Это истина, которую **мы** не можем позволить себе забыть, если **мы** хотим установить прочный мир.)

Колоссальные человеческие, материальные и духовные жертвы союзников вербализуются следующим образом:

> *As we see now, she (Germany) has been laid low only after the application of such forces, and such military innovations, as five years ago were unimaginable. It has needed* ***the labour of giants*** *to kill this giant* / Newcastle Journal. (Как мы сейчас видим, Германия повержена только благодаря таким силам и таким военным нововведениям, которых пять лет назад нельзя было вообразить. Чтобы убить этого гиганта, потребовался **труд гигантов**.)

Метафора *the labour of giants* многопланово характеризует союзников, акцентируя их мощь (обширную территорию, значительный военный, производственный потенциал), человеческие ресурсы и титанические усилия, затраченные для достижения цели, необходимость в выполнении данной работы и сложность поставленных задач (labour — expenditure of physical or mental effort especially when difficult or compulsory[7]; the type of work that needs a lot of physical effort[8]).

[7] *Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language* (1996). New York: Gramercy books.

[8] *Cambridge Advanced Learner's Dictionary* (2009). Cambridge: Cambridge University Press.

Парадоксально, но нападение Гитлера на Советский Союз трактуется британскими СМИ как положительный фактор для Великобритании:

> *In his madness Hitler in 1941 attacked Russia, and we had an ally.* ***Better was to follow for Britain*** / Aberdeen Press and Journal. (В своем безумии Гитлер напал на Россию в 1941, и у нас появился союзник. **Для Британии наступили лучшие дни**.)

Вероятно, это связано с тем, что, во-первых, Великобритания объединила собственные военные усилия с СССР, и Красная Армия стала существенным военным фактором победы союзников, во-вторых, нападение Германии на СССР ослабило давление на Британию и коренным образом изменило ситуацию в ходе Второй мировой войны, с этого момента основные события войны стали разворачиваться на восточном фронте, что в значительной степени снизило возможность вторжения немецко-фашистских армий на территории Британии (*Better was to follow for Britain*).

Факт союзничества трех держав во Второй мировой войне актуализирует использование метафорических единиц «братья», «друзья»:

> *In the course of the past years, and in face of common danger and grievous losses,* ***there has grown up between the peoples of our two countries a comradeship-in-arms of unsurpassable strength****. I am confident that* ***this spirit of comradeship*** *will continue* / Daily Record. (В течение последних лет перед лицом общей опасности и тяжелых потерь **между народами наших двух стран возникло братство по оружию, братские узы невероятной силы**. Я уверен, что отношения будут развиваться **в духе товарищества** и впредь.)
>
> *America and Russia,* ***brothers in peril*** / Nottingham Journal. (Америка и Россия, **братья в минуту опасности**.)

Россия выступает как верный союзник, друг и товарищ, которого уважают, любят, ценят, восхищаются:

> *Russian Comrades. To-morrow* ***we shall pay a particular tribute to our Russian comrades, whose prowess in the field has been one of the grand contributions to the general victor*****y** / Daily Record. (**Русские товарищи.** Завтра **мы воздадим должное нашим русским товарищам, доблесть которых на поле брани — огромный вклад в общую победу**.)

Интересно отметить, что в корпусе текстов анализируемой синхронной точки лексема *товарищ* использована в своих первоначальных значениях «близкий друг», «соратник по оружию» (an intimate friend, a fellow soldier[9]; a friend, especially someone who fights with you in a war[10]) без негативных коннотаций последующих десятилетий. Почти утраченная образность финансовых метафор *pay a particular tribute, one of the grand contributions,* актуализируется за счет средств контекста. Несмотря на привычные смыслы финансовой метафорики, связанные с моделированием товарно-денежных отношений в сфере политики, в рассматриваемом примере доминирует позитивная оценочность.

[9] *Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language* (1996). New York: Gramercy books.

[10] *Cambridge Advanced Learner's Dictionary* (2009). Cambridge: Cambridge University Press.

Неровные отношения между Великобританией и Россией, включая имперский и советский периоды последней, геополитические конфликты и, позднее, идеологическое противостояние не помешали заложить основы «новой» дружбы:

> *During these years of battle* ***our two peoples have forged a new friendship*** *which has been given practical form in the Anglo-Soviet Treaty of Alliance and post-war collaboration signed in June, 1942* / Western Mail. (В годы войны наши два народа **выковали узы дружбы**, которые обрели материальную форму в «Англо-советском договоре о союзе в войне и о взаимной помощи после войны», подписанном в июне 1942 года.)

Метафора *to forge friendship* транслирует не только смыслы тесного сотрудничества, крепких отношений, словно выкованных из стали, и указывает на тяготы военного времени, которые способствовали сближению двух столь разных систем и преодолению противоречий прошлого, но и закладывает основы прочной будущей дружбы.

Во многих статьях акцентирована роль Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, который обозначается как Маршал Победы. Показателен следующий пример:

> *From a message to Marshal Stalin: You have demonstrated in all your campaigns what is possible to accomplish when* ***a free people under superlative leadership and unfailing courage*** *rise against the forces of barbarism* / Daily Herald. (Из послания Маршалу Сталину: «Во всех (военных) кампаниях Вы показали, чего можно достичь, когда **свободный народ с безграничным мужеством и под блистательным руководством** встает на борьбу с армией варваров.)

Интересно, что варварская, нецивилизованная, тоталитарная Россия XIX века (Solopova, 2014, Chudinov, Solopova 2015) в британском дискурсе анализируемого периода превращается в свободную страну, которой руководит мудрый стратег и которая сама встает на борьбу с варварами, что свидетельствует о самоцентричности и субъектоцентричности политического дискурса, в котором собственные цели и устремления определяют отношение к иным агентам внешнеполитической деятельности, чьи образы напрямую соотносятся с интересами того государства, которому принадлежит дискурс.

Отметим также, что в анализируемом корпусе текстов единичны случаи употребления официальных названий СССР и Советский Союз, в абсолютном большинстве текстов наша страна обозначается как Россия, Советская Россия, Москва:

> *Today is* ***Moscow****'s V-Day. Today will be Victory Day in* ***Russia*** / Aberdeen Press and Journal. (Сегодня День Победы в **Москве**. Сегодня будет День Победы в **России**.)

На наш взгляд, это говорит о том, что СССР, РСФСР и Россия рассматриваются британскими СМИ в анализируемый период как один и тот же субъект международных отношений.

Торжественность и метафоричность корпуса текстов за 9 мая 1945 года резко контрастирует с дискурсом последующих десятилетий о победе и о роли Советского Союза во Второй мировой войне. Метафорические образы, обращенные

к нашей стране, советским войскам и их вкладу в разгром фашизма, встречаются нечасто и не отличаются оригинальностью. В отличие от 1945 года основной сферой-мишенью метафорической экспансии является Россия с безусловным доминированием негативных оценок в моделировании ее прошлого и настоящего. Идеологическое противостояние обусловливает антагонистический характер дискурса о России, в котором последняя возвращается к «привычной» для нее роли основного, дееспособного и опасного противника, вновь становится «Империей Зла»:

> ***The Communist menace*** *has to be met not only in Europe but in Asia* / The Scotsman, 09.05.1950. (Придется столкнуться с **коммунистическим злом** не только в Европе, но и в Азии.)

Вследствие глобального геополитического, военного и идеологического противостояния лейтмотивом, пронизывающим каждый текст, попавший в выборку, является намерение России доминировать в мире, расширение ею собственных сфер влияния:

> *The Communists who were in charge of Russian policy, however, had lost sight of reasonable objectives and seemed to have decided that* ***Russia would go for the higher prize of world domination*** / The Scotsman, 09.05.1950. (Коммунисты, стоявшие во главе российской политики, забыли о разумных целях и, кажется, решили, что **желанной добычей (призом) России станет доминирование на мировой арене**.)

Соперничество за влияние между социалистическим и капиталистическим блоками времен холодной войны приводит к возрождению физиологической метафоры *прожорливости (swallow*), столь типичной для британского дискурса о России XIX века (Chudinov, Solopova 2015):

> *The policies of isolationists are cheap and dangerous,* ***they would let Russia swallow up the rest of the world*** / Nottingham Journal, 09.05.1950. (Политика изоляционистов дешевая и опасная, **они позволили бы России проглотить весь остальной мир**.)

Милитаризм эпохи в целом и анализируемого дискурса в частности генерирует образные ассоциации, связанные с тематикой войны, но теперь войны против России:

> *The European recovery programme must end, as scheduled, in 1952, but* ***the "cold war" against Russia should be carried out on the economic, information and political fronts*** / The Scotsman, 09.05.1950. (Европейская программа восстановления (план Маршалла) должна закончиться в 1952-м, как и планировалось, но **«холодная война» против России должна вестись на всех фронтах: на экономическом, информационном, политическом**.)

Идеологическая конфронтация в мировом масштабе актуализирует сферу-источник «инструменты», включающую как косвенные способы защиты от нападения противника и вероятные ответные действия, так и средства прямой атаки и обороны:

> *The Atlantic Pact is* ***a defensive instrument****, but even in defence the blessings are not always to the meek. Russia has been winning too many points just recently. The West must prepare itself to greater effectiveness in propaganda and in economic development*

as well as in ***direct measures of defense*** / News Chronicle, 09.05.1950. (Североатлантический договор — это **защитный инструмент**, но даже при обороне благословление не всегда удел смиренных. Совсем недавно Россия выиграла слишком много очков. Запад должен подготовиться к большей результативности в пропаганде, в экономическом развитии и **в мерах непосредственной (прямой) обороны**.)

Но если сдерживание СССР и противодействие попыткам социалистического блока выйти за пределы существующих сфер влияния расценивается как необходимое средство обороны, то аналогичные действия Советского Союза, часто вербализуемые в рамках метафорических образов «преступности», «болезни», «пути», подвергаются резкой критике:

We are witnessing in Russia at the present time ***a vast exercise in power politics****.* ***The Russian clan*** *wants* ***to prevent economic recovery*** *in Western Europe* / The Scotsman, 09.05.1950. (В настоящий момент мы наблюдаем в России повсеместное **использование политических инструментов с позиции силы**. **Русский клан** хочет **воспрепятствовать выздоровлению** экономики в Восточной Европе.)

Несмотря на почти утерянную образность, стертые метафоры транслируют негативные смыслы неправомерности и деструктивности действий России.

Доминантными образами при моделировании отношений государств в международной политике являются ассоциативно связанные с милитарными спортивные метафоры:

If the United States ***backed down*** *on its allies, as it did after the First World War, there would be another world conflict* / Nottingham Journal, 09.05.1950. (Если бы Соединенные Штаты **уступили (уступать в игре)** своим союзникам, как они сделали после Первой мировой войны, был бы еще один мировой конфликт.)

Now the task is to translate intention into action, to go beyond plans to the creation of a force capable of containing Communism. ***Where Russia scores*** *is in her unity of command and of aim. Against this the Western Powers must harmonise by negotiation interests sometimes conflicting in themselves* / Aberdeen Press and Journal, 09.05.1950. (Сейчас задача состоит в том, чтобы перевести желаемое в действительное, выйти из рамок запланированного и создать силу, способную обуздать коммунизм. **Россия выигрывает** там, где дело касается единоначалия и единства цели. Чтобы противостоять этому, западные державы должны прийти к согласию с помощью переговоров, урегулировав иногда противоборствующие интересы.)

Спортивные метафоры эксплицитно создают образы противоборствующих держав, во что бы то ни стало желающих одержать верх над противником и, объединившись, сдержать нового врага.

Даже стертые метафоры сферы-источника «неживая природа» приобретают конфронтационную, «милитарную» окраску:

If ***Russia reaches the zenith of her military strength*** *in 1953, the Western Powers may have a difficult task to defend a disarmed Germany* / The Scotsman, 09.05.1950. (Если **Россия достигнет зенита своей военной мощи** в 1953, западные державы могут столкнуться с трудной задачей защитить разоруженную Германию.)

Спустя всего пять лет после победы Россия и Германия поменялись местами в системе отношений западных держав «друг — враг». Россия стала тем государством, от которого следует защищать и защищаться.

1960 год в обозначенные хронологические рамки (8—11 мая) отмечен единственным событием — сбитым неделей раньше над территорией СССР в районе г. Свердловска американским самолетом-разведчиком:

> *The flight into the heart of Russia was American-inspired, and by an American, and has been admitted to have been for spying purposes.* ***The greatest sin is not in the act: it is in being found out, in being caught in the art*** / Evening Express, 08.05.1960. (Полет в сердце России был инспирирован американцами, самолет пилотировал американец, было признано, что он совершался в шпионских целях. **Самый большой грех не сам факт случившегося, он состоит в том, что тебя раскрыли и поймали на шпионаже.**)

Интересна интерпретация британскими СМИ религиозной метафоры *греха*: по их мнению, прегрешением является не преднамеренное нарушение границы и воздушного пространства СССР с целью фотосъемки стратегических объектов, а «перехват» американского высотного разведчика и предание факта огласке.

В юбилейные для победы годы (1955, 1965) немногочисленные заметки об итогах Второй мировой войны касаются взаимных упреков и обвинений бывших союзников, рассуждений о том, могла ли Россия выиграть войну одна, вызванных обсуждением вышедшей в свет книги А. Кларка «Барбаросса: русско-германский конфликт 1941—1945 гг.» и изумления, связанного с поразительной способностью изрядно побитой России к восстановлению и исцелению ран прошлого. Авторы пишут, что день Победы на западе был отпразднован тихо, в некоторых местах вообще прошел почти незамеченным:

> ***Publicly, the anniversary passed by almost unnoticed*** / Belfast News-Letter, 09.05.1955. (**Для общественности годовщина прошла почти незамеченной.**)
>
> ***In the West, V.E.-Day was honoured quietly, and in many places passed almost unnoticed.*** (**На Западе День Победы отметили тихо, в большинстве городов почти незаметно**) / Aberdeen Evening Express, 09.05.1955.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данные, полученные в ходе анализа, служат еще одним подтверждением тех изменений, которые произошли в отношениях между Великобританией и нашей страной за послевоенное время. Метафоры чутко реагируют на перемены в мире геополитики. Их инкарнированность в социально-культурный контекст обеспечивает устойчивость метафорической системы и позволяет фиксировать архетипичные модели, являющиеся константами в политическом дискурсе определенного государства. К примеру, архетипичными метафорами британского политического дискурса, выявленными как в настоящем исследовании, так и в наших предыдущих работах, являются метафоры пути, неживой природы, животного мира, преступности и болезни.

Кроме того, ключевыми константами политического дискурса являются не только метафоры, но и образы, конструируемые ими: сформированный в коллективном сознании образ врага не является «закрепленным» за определенным

субъектом международных отношений, в данный исторический момент выступающим в роли «идеального» антагониста. Этот образ переносится на нового соперника в практически неизменном виде и репрезентируется он не только с использованием однотипных сфер-источников, но и конкретных метафорических единиц, из столетие в столетие концептуализирующих врага. В частности, основываясь на сопоставлении данных настоящего и предшествующих исследований, мы можем сделать вывод, что образ фашистской Германии метафорически близок образу России-соперника в британском дискурсе XIX и XXI веков (Chudinov, Solopova 2015; Solopova 2017).

Вариативность метафорики напрямую зависит от дискурсивных факторов: от геополитической ситуации конкретного исторического периода, контекста употребления, моделируемого образа. Вариативность связана не только с активным использованием одних моделей, меньшей востребованностью других и пополнением системы метафор новыми сферами-источниками, но и с «переворачиванием» смыслов в рамках одной концептуальной метафоры, с развитием или преобладанием одного из полярных аксиологических смыслов, что позволяет конструировать как светлые, так и темные образы с помощью единиц одной и той же метафорической модели.

Оценочность, заложенная в метафоре, и образ, создаваемый ею, детерминированы не столько объективными характеристиками страны (в нашем случае — России), сколько отношением к ней государства, дискурс которого подлежит анализу, принадлежности субъектов международных отношений к определенному геополитическому лагерю. Примером тому служит образ России и русских союзников в корпусе текстов за 9 мая 1945 года и пятью годами позже: образ социалистической России-союзника моделируется в позитивном ключе, образ социалистической России-противника нагружен негативными оценочными коннотациями.

На наш взгляд, наблюдения над частными проявлениями диахронических изменений и полученные выводы могут быть использованы при сопоставлении результатов как с данными более крупного корпусного исследования британских текстов, так и с материалами «точечного» анализа СМИ США, Франции, Китая и других стран — участников антигерманской коалиции. Если же ставить проблему шире, то диахроническая лингвополитическая метафорология представляется одним из наиболее перспективных направлений политической лингвистики.

© О.А. Солопова, А. П. Чудинов, 2018

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Баранов А.Н. Политическая метафорика публицистического текста: возможности лингвистического мониторинга // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. С. 134—140. [Baranov, A.N. (2003). Politicheskaya metaforika publitsisticheskogo teksta: vozmozhnosti lingvisticheskogo monitoring. In *Yazyk SMI kak ob"ekt mezhdistsiplinarnogo issledovaniya*. Miscow: Izd-vo Mosk. un-ta, 134—140. (In Russ.)]

Борискина О.О. Корпусное исследование языка: мода или необходимость // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2015. № 3. С. 24—27. [Boriskina, O.O. (2015). Korpusnoe issledovanie yazyka: moda ili neobkhodimost'. *Vestn. Voronezh. gos. un-ta. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya*, 3, 24—27. (In Russ.)]

Будаев Э.В. Политическая метафорология: ракурсы сопоставительного анализа // Политическая лингвистика. 2010. № 1 (31). С. 9—23. [Budaev, E.V. (2010). Politicheskaya metaforologiya: rakursy sopostavitel'nogo analiza. *Political Linguistics Journal*, 1 (31), 9—23. (In Russ.)]

Будаев Э.В. Сопоставительная политическая метафорология. Нижний Тагил: НТГСПА, 2011. 330 с. [Budaev, E.V. (2011). Sopostavitel'naya politicheskaya metaforologiya. (Comparative political metaphorology). Nizhnii Tagil: NTGSPA. (In Russ.)]

Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Изд-е 5. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 288 с. [Issers, O.S. (2008). *Kommunikativnye strategii i taktiki russkoi rechi*. (Communicative strategies and tactics of Russian speech). Moscow: Izd-vo LKI. (In Russ.)]

Мальцев Г.И. Традиционные формулы русской народной необрядовой лирики (Исследование по эстетике устно-поэтического канона*)*. Л.: Наука, 1989. 168 с. [Mal'tsev G.I. (1989). *Traditsionnye formuly russkoi narodnoi neobryadovoi liriki (Issledovanie po estetike ustno-poeticheskogo kanona*). Leningrad: «Nauka». (In Russ)].

Мокиенко В.М. Образы русской речи: Историко-этимологические очерки фразеологии. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. 280 с. [Mokienko, V.M. (1986). *Obrazy russkoi rechi: Istoriko-etimologicheskie ocherki frazeologii.* Leningrad: Izd-vo Leningr. un-ta. (In Russ.)]

Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. 3-е изд. М.: Международные отношения, 1982. 464 с. [Trukhanovskii, V.G. (1982). *Winston Churchill.* Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya. (In Russ.)]

Хренова А.В. Исторические особенности развития концепта president в американской концептуальной системе // Политическая лингвистика. 2012. № 1 (39). С. 229—234. [Khrenova, A.V. (2012). Istoricheskie osobennosti razvitiya kontsepta president v amerikanskoi kontseptual'noi sisteme. *Political Linguistics Journal*, № 1 (39), 229—234. (In Russ.)]

Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991—2000). Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 2001. 238 с. [Chudinov, A.P. (2001). *Russia in metaphorical mirror: cognitive research on political metaphors (1991—2000).* Ekaterinburg: Izd-vo Ural. gos. ped. un-ta. (In Russ.)]

Anikin, E.E., Budaev, E.V., Chudinov, A.P. (2015). Historical Dynamics of Metaphoric Systems in Russian Political Communication. *Voprosy Kognitivnoy Lingvistiki,* 3 (44), 26—32.

Cameron, L.J. (1999). Identifying and describing metaphors in spoken discourse data. In L.J. Cameron, G. Low (eds.) *Researching and Applying Metaphor*. Cambridge: Cambridge University Press, 105—132. https://doi.org/10.1017/cbo9781139524704.009.

Chilton, P.A., Lakoff, G. (1995). Foreign policy by metaphor. In Ch. Schaffner, A.Wenden (eds.) *Language and Peace*. Aldershot: Dartmouth, 37—59. https://doi.org/10.4324/9780203984994.

Chilton, P. (2005). Manipulation, memes and metaphors: The case of Mein Kampf. In L. de Saussure, P. Schulz (eds.) *Manipulation and Ideologies in the Twentieth Century*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 5—45. https://doi.org/10.1075/dapsac.17.03chi.

Chudinov, A.P., Solopova O.A. (2015). Linguistic Political Prognostics: Models and Scenarios of Future. *Procedia — Social and Behavioral Sciences*, 200, 412—417. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.08.088.

Cowles, V. (1953). *Winston Churchill; the Era and the Man*. New York: Harper. https://doi.org/10.2307/2604710.

Davies N. (2007). *No Simple Victory: World War II in Europe, 1939—1945*. New York: Viking. https://doi.org/10.3200/hist.37.2.49-52.

Frank, R.M. (2009). Shifting Identities: Metaphors of Discourse Evolution. In A. Musolff, J. Zinken (eds.) *Metaphor and Discourses*. New York: Palgrave MacMillan, 173—189. https://doi.org/10.1057/9780230594647_11.

Gibbs, R.W., Jr., Cameron, L.J. (2008). The Social-Cognitive Dynamics of Metaphor Performance. *Cognitive Systems Research,* 9 (1—2), 64—75. https://doi.org/10.1016/j.cogsys.2007.06.008.

Harvey, A.D. (1999). The Body Politic: Anatomy of a Metaphor. *Contemporary Review*, 275 (1603), P. 23—45.

Lakoff G., Johnson M. (1980). *Metaphors We Live by*. Chicago: University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226470993.001.0001.

Landtsheer, Ch. de. (1991). Function and the Language of Politics. A Linguistics Uses and Gratification Approach. *Communication and Cognition*, 24 (3/4), 299—342.

Musolff, A. (2007). Which Role do Metaphors Play in Racial Prejudice? The Function of Antisemitic Imagery in Hitler's "Mein Kampf". *Patterns of Prejudice*, 41 (1), 21—44. https://doi.org/10.1080/00313220601118744.

Solopova, O.A. (2014). Russia in Europe: Future in the Metaphorical Mirror of Past. *Voprosy Kognitivnoy Lingvistiki*, 3, 126—137.

Solopova, O.A. (2017). Metaphor in Modeling the Future: the Best-Case Scenario (Based on Political Discourses of Russia, the USA and Great Britain, the 21st Century). *Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Filologiya*, 46, 55—70. https://doi.org/10.17223/19986645/46/5.

Trim, R. (2011). *Metaphor and the Historical Evolution of Conceptual Mapping*. New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230337053_11.

Vertessen, D., Landtsheer, Ch. de. (2008). A Metaphorical Election Style: Use of Metaphor at Election Time. In T. Carver & J. Pikalo (eds.) *Political Language and Metaphor: Interpreting and Changing the World*. London: Routledge, 271—285.

История статьи:
Дата поступления в редакцию: 20 ноября 2017
Дата принятия к печати: 24 января 2018

Для цитирования:
Солопова О.А., Чудинов А.П. Диахронический анализ метафор в британском корпусе текстов: колокола победы и Russia's V-Day // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2018. Т. 22. № 2. С. 313—337. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-313-337.

Сведения об авторах:
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА СОЛОПОВА — доктор филологических наук, профессор кафедры лингвистики и перевода института лингвистики и международных коммуникаций, ФГАОУ ВО Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет). *Сфера научных интересов*: лингвополитическая прогностика, дискурсология, диахроническая политическая метафорология. *Контактная информация:* e-mail: o-solopova@bk.ru

АНАТОЛИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ ЧУДИНОВ — доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации, риторики и русского языка как иностранного, ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, главный редактор журнала «Политическая лингвистика». *Сфера научных интересов*: политическая лингвистика, метафорология. *Контактная информация:* e-mail: ap_chudinov@mail.ru

ФИНАНСИРОВАНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 16-18-02102).

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-313-337

DIACHRONIC ANALYSIS OF POLITICAL METAPHORS IN THE BRITISH CORPUS: FROM VICTORY BELLS TO RUSSIA'S V-DAY

OLGA A. SOLOPOVA[1], ANATOLY P. CHUDINOV[2]

[1]South Ural State University (National Research University)
76 Lenina St., Chelyabinsk, 454080, Russian Federation

[2]Ural State Pedagogical University
26 Kosmonavtov St., Ekaterinburg, 620017, Russian Federation

Abstract

The framework for the present research is diachronic political metaphor studies that deal with the historical development and historiographical potential of political metaphors. The relevance of diachronic analysis of political metaphors in British political discourse (1945—2000) is determined by both linguistic and extralinguistic factors. The paper analyzes the evolution of conceptual images associated with World War II. The study utilizes the principle of uniform fragmentation with a 5-year fragmentation step (9 May 1945; 9 May 1950; 9 May 1955 ... 9 May, 2000) interconnected with the principle of focus fragmentation. A digitized sample from *the British Newspaper Archive* corpus is investigated through corpus analysis, cognitive and discourse analysis and metaphorical modeling. The statistical outcomes demonstrate that the frequency of references to "Russia's V-Day" in the issues dated by 9 May in each fragmentation step correlates with the general decrease of interest in Russia. The conceptual analysis shows that the military-political discourse is mythologized and tends to present the image of the world as a black-and-white value model. The paper evaluates the pragmatic potential of the dominant metaphorical models, elicits the discursive factors that shape the usage and meanings of metaphors, demonstrates the interdependence between metaphors and the images they generate and emphasizes the role of the historical context in this process. The results of the work are of interest to a wide range of Russian and foreign specialists in cognitive linguistics, political linguistics, political science, history, sociology.

Keywords: *military-political discourse, diachronic metaphor studies, conceptual metaphor, World War II, Soviet Union, Russia, image of the enemy, image of the ally*

Article history:
Received: 20 November 2017
Revised: 10 December 2017
Accepted: 24 January 2018

For citation:
Solopova, Olga and Chudinov, Anatoly (2018). Diachronic Analysis of Political Metaphors in the British Corpus: from Victory Bells to Russia's V-Day. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (2), 313—337. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-313-337.

Bionotes:
OLGA A. SOLOPOVA is Doctor of Philology, Professor at the Institute of Linguistics and International Communications of the South Ural State University (National Research University). Her research interests include linguistic political prognostics, discourse analysis, diachronic political metaphor studies. *Contact information:* e-mail: o-solopova@bk.ru

ANATOLY P. CHUDINOV is Doctor of Philology, Professor, Chair of the Department of Intercultural Communication, Rhetoric and Russian as a Foreign Language at the Ural State Pedagogical University. His research interests focuses on political linguistics and metaphor studies. He is editor-in-Chief of the journal *Political Linguistics. Contact information:* e-mail: ap_chudinov@mail.ru

FINANCE AND ACKNOWLEDGEMENTS
The research done for this work has been funded by the Russian Science Foundation (project № 16-18-02102).

Russian Journal of Linguistics
Вестник РУДН. Серия: ЛИНГВИСТИКА
2018 Vol. 22 No. 2 338—356
http://journals.rudn.ru/linguistics

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-338-356

DISCURSIVE MECHANISMS OF NEWS MEDIA — INVESTIGATING ATTRIBUTION AND ATTITUDINAL POSITIONING

FLAVIA CAVALIERE

University of Naples Federico II
1 Via Porta di Massa, Naples, 80133, Italy

Abstract

The case of 17-year-old Afro-American Trayvon Martin shot dead in 2012 by white neighborhood watch George Zimmerman is generally reported as the first killing of what over the last few years seemed an epidemic of lethal violence committed on mostly unarmed afro-American civilians which ignited other waves of protests and rioting across the whole country. Immediately after Martin's fatal shooting the initial absence of charges against Mr. Zimmerman's conduct, owing to a controversial self-defense law, prompted nationwide protest and unrest. An online petition calling for a prosecution of Zimmerman garnered over two million signatures; a process against Zimmerman was then started, though in 2013 his acquittal gave birth to the international activist movement #BlackLivesMatter on social media. All these events have since then resonated in the sensationalized reports of the media which «employ textual strategies which foreground the speech act of offering values and beliefs» (Fowler 2013: 209).

Within Martin & White's Appraisal Framework (2008) qualitative samples from the US print media coverage (The New York Times and Orlando Sentinel) of Trayvon Martin's story are investigated. More specifically, our focus is mainly on attribution and evidentiality, i.e. on the interplay of directly-quoted or indirectly-reported speech that journalistic writers use to attribute viewpoints and versions of events to a variety of external sources, especially potentially controversial meanings largely confined to material attributed to quoted sources. We aim at providing a socio-critical interpretation of how the supposedly unbiased media narratives of ethnic affairs contributed to inflame racial passions, and, by funneling audience attention toward certain topics, influenced public perceptions of important issues.

Keywords: *media coverage, racial issues, attribution, attitudinal positioning, public perception*

1. INTRODUCTION KEY PEOPLE AND FACTS

The case of 17-year-old unarmed Afro-American Trayvon Martin, shot dead in February 2012 by white neighbourhood watch George Zimmerman, stands as the first mediatic symbol of the many racially-profiled confrontations the US has been coping with ever since. Amidst the growing media frenzy and active participation of the public, a whirlwind of controversy and political debate surrounded the reports of this murder. The shooting, initially covered by the Florida media alone, was soon seized on by the national media, and race was reported as central to the tragedy since Zimmerman, a white male of Latino heritage born from a Peruvian mother, was accused of racially profiling the Afro-American teen Martin.

The Zimmerman affair highlighted in fact race relations in the United States, prompting nationwide protest and unrest, and his trial became one of the most racially-charged, and apparently most politically motivated prosecutions in recent U.S. history (Adjei, Gill 2013, Bhandaru 2013).

On a rainy night on Feb. 26th, 2012, the 17-year-old Trayvon Martin, was heading *back* to the house of *his father's fiancée* at the Retreat at Twin Lakes, a gated community in Sanford in central Florida[1]. Martin had gone to a *7-Eleven* store, a convenience store, to buy candies and iced-tea for his step-brother, and was wearing a hooded sweat shirt — something his parents and their supporters maintain led Zimmerman to racially profile the unarmed teenager, and which, for this reason, would become a symbol[2].

While walking through the complex, Trayvon was spotted by George Zimmerman, a self-appointed neighbourhood watch volunteer, who was patrolling the area in his vehicle. Zimmerman called authorities to report someone suspicious, since, in his recorded words, "he seems like up to no good, on drugs or something [...] and black"[3].

The dispatcher advised him to let the police handle it, but Zimmerman ignored that and proceeded to follow Martin. A confrontation ensued and Martin was shot in the chest. Zimmerman admitted from the beginning that he had fired a single shot from his handgun, killing Martin. Nevertheless, five hours after Trayvon's murder, Zimmerman was released on his claim of having acted in self-defense, and his right to defend himself even with lethal force, under Florida's controversial 'Stand Your Ground' statute.

However, a petition on Change.org, created by Trayvon Martin's parents, calling for a full investigation and prosecution of Zimmerman, surpassed two million signatures, while, as a sign of solidarity, hundreds of Trayvon's supporters organized nationwide rallies and marches wearing hoodies, same as the one Trayvon was wearing the night he was murdered and then walked in the so-called 'Million Hoodie March' in New York, a march which launched the 'Million Hoodies Movement[4].

After weeks of protests and demonstrations across the nation, the furor reached all the way to the White House. On March 23rd, 2012 President Barack Obama himself

[1] George Zimmerman acquitted in Trayvon Martin case. R. Luscombe. 14 July 2014. https://www.theguardian.com/world/2013/jul/14/zimmerman-acquitted-killing-trayvon-martin.

[2] Hoodies would later play a frequent role at protests, offered as symbols of racial profiling. See footnote 4.

[3] Trayvon Martin shooting, minute by minute. https://www.youtube.com/watch?v=ia0w_dOj7R4.

[4] As explained by its own founders, the Hoodies Movement for Justice, was formed on March 19, 2012 in response to the media's failure to adequately report on the events leading to Trayvon's death. The Million Hoodies national network that exist today officially launched in 2014, designed to develop a new generation of human rights leaders on the front lines for transformative social change, in partnership with Change.org, Million Hoodies, successfully stopped Oklahoma from passing a discriminatory law that would criminalize Black youth wearing hoodies in public spaces». https://www.millionhoodies.net/about/.

spoke out publicly for the first time on the ever-growing controversy over the shooting of Trayvon Martin, saying that the incident called for national "soul-searching", and he also added

> Martin's parents are right to expect that all of us as Americans are going to take this with the *seriousness* it deserves, and we are going to get to the bottom of exactly what happened. If I had a son he would look like Trayvon[5].

As the controversy roared, a special state prosecutor was finally appointed to review the case.

Zimmerman was eventually arrested and charged with second-degree murder and manslaughter, though on July 13, 2013 he was acquitted by a Florida jury.

This outcome was frequently reported as representative of the general state of race relations in the U.S. The ensuing national debate led to a confrontation that touched off issues of race and guns, bringing to the fore a multifaceted and contested vision of the facts. The role and impact of multi-media and cross-media communication in the shaping of the events cannot be overestimated, as voiced by many journalistic authors, for example:

> When the criminal justice system appears to fall short, the court of public opinion takes over and suddenly both victim and ostensible perpetrator go on trial. But what is also being adjudicated is our ability to debate highly charged issues in a very divided media landscape. Let's be careful out there (Carr 2012)[6].

His acquittal gave birth to the international activist movement 'Black Lives Matter' (BLM) with the hashtag #BlackLivesMatter on social media.

This movement, which would change the country is considered Trayvon Martin's legacy. But how did «one black child's death on a dark, rainy street in a small Florida town become the match that lit a civil rights crusade?»[7]. Since Trayvon was murdered, his mother Sybrina Fulton has been on the national stage, and has devoted her life to travelling around the country to speak about racial violence on behalf of the 'Trayvon Martin Foundation' established in March 2012 as a social justice not-for-profit organization committed to ending senseless gun violence[8].

Trayvon Martin's death is generally reported as the first killing of what, over the last few years, has seemed an epidemic of lethal violence committed on mostly unarmed

[5] J. Calmes, H. Cooper. A Personal Note as Obama Speaks on Death of Boy, *The New York Times*, March 23rd, 2012. http://www.nytimes.com/2012/03/24/us/politics/obama-talks-of-tragedy-not-race-in-florida-killing.html.

[6] D. Carr. The Media Equation. A Shooting, and Instant Polarization. *The New York Times*. April 1, 2012.

[7] https://www.penguinrandomhouse.com/books/243453/rest-in-power-by-sybrina-fulton-and-tracy-martin/#.

[8] The Foundation provides scholarships, mentoring, financial literacy and parenting assistance particularly to the "Circle of Mothers" and "Circle of Fathers", which gather women and men who have lost children to gun violence and organizes many significant events which include, for instance, 'The Trayvon Martin Remembrance Dinner' and the 'Annual Peace Walk and Peace Talk'. https://trayvonmartinfoundation.org/.

afro-American civilians at the hands of police, as well as several deaths while in police custody (Michael Brown in Ferguson, Eric Garner in Staten Island, Laquan McDonald in Chicago, Tamir Rice in Cleveland, Walter Scott in North Carolina, Freddie Gray in Baltimore, Alfred Okwera Olango in suburban San Diego, to name but a few), which ignited other waves of protests and rioting across the whole country. The echo of Trayvon Martin's shooting still resonates, five years after his death as a symbol of social justice activism. On February 26th 2017, on Oscar night, for instance, some Hollywood celebrities and public figures shared on their social media photos of themselves while wearing hoodies, or a sweatshirt emblazoned with Trayvon' name, sending worldwide the message "Our hoodies are still up and the movement is still strong"[9]. In May 2017, Florida Memorial University announced Trayvon Martin as Recipient of a Posthumous Bachelor of Science Degree in Aviation, as an iconic figure of the fight for equal justice for all[10].

Trayvon Martin's case has clearly had an unsettling impact on US societal values and belief systems, increased distrust between the police and black community and prompted an inflamed national discussion about race and self-defense which, as said above, resonated in the sensationalized reports of the media. It is well-known that "the media convey public knowledge, as well as expressed or implicit opinions, about social groups and events and [...] provide an ideological framework for the interpretation of ethnic events. This framework may also act as a legitimation for prejudices and discrimination" (van Dijk 2015:209). News media, in particular, can easily favour particular value positions (affectual and judgmental), while employing a relatively impersonal style in which evaluations and other potentially contentious meanings are largely confined to material attributed to quoted sources (White 2005, 2012).

Accordingly, by exploring the (print) media coverage of this story, where legal and sociological debates are involved (Babacan et al. 2009), the present study — within a broad critical discourse analytical perspective — aims at providing a socio-critical interpretation of how the media discourse/s contributed to ignite racial passions, and to generate new and potentially disruptive social dynamics.

At the same time, this study attempts to highlight how the escalation of racially-profiled violence, and other outrages which have taken place in US society since Trayvon's shooting, suggest that its legislation is possibly no longer able to cope with a nation where, by 2020, the word 'minorities' will lose its present significance.

In this scenario, qualitative samples from the US press media (*The New York Times* and *Orlando Sentinel*) are analyzed, and the legal and socio-cultural implications discussed.

[9] See 'Hoodies up': Celebrities honor Trayvon Martin five years after his death. Maeve McDermott, USATODAY.26 February 2017. https://www.usatoday.com/story/life/entertainthis/2017/02/26/celebrities-honor-trayvon-martin-five-years-after-his-death/98452544/.

[10] Florida University to Award Posthumous Degree to Trayvon Martin. Christine Hauser 5 May, 2017. https://www.nytimes.com/2017/05/05/us/trayvon-martin-degree.html.

2. BACKGROUND: IDEOLOGIES AND LAWS FLORIDA'S CONTROVERSIAL 'STAND YOUR GROUND' STATUTE

Grounded in the USA Gun Culture/s — a culture of no immediate understanding for Europe — the 776.013 Statute on "Home protection; use or threatened use of deadly force; presumption of fear of death or great bodily harm"[11] was first adopted in Florida in 2005 and then enacted in some form in more than 20 states. Commonly known as the 'Stand Your Ground' law (or '*shoot first law'*, as its critics say), the 776.013 Statute was drafted and promoted by the National Rifle Association, and explicitly allows the use of deadly force, and it never requires

> that one withdraw or retreat before using deadly force, and the requirements of reasonableness are attenuated or essentially removed because the other witness is dead, and the defender may shade the truth, [and so determine in point of fact a prosecutorial immunity]. Thus, Stand Your Ground laws may provide a rock-solid defense to paranoid or dangerously aggressive people who are armed with deadly force. (O' Meara 2012)[12].

Apparently, the Trayvon Martin shooting suggests that lawmakers and gun advocates have gone too far in authorizing the use of deadly force; Zimmerman's acquittal was due to the 776.013 and 776.032 Statutes[13]. From the contentious debate on such *no duty to retreat* laws and related events a basic question arises for the (thoughtful) United States citizens: what does a doctrine that relieves U.S. citizens, *in their homes*, of the duty to try to flee an intruder's attack before resorting to force in self defense, have to do with shoot-outs in public streets? Attorney-General Eric Holder's emphasized how the "stand-your-ground' laws senselessly expand the concept of self-defence and sow dangerous conflict in our neighbourhoods", thus denouncing the masked dangers in its formulation.

3. METHODOLOGY AND AIMS

Within a broadly conceived discourse analysis approach, our investigation of qualitative samples from the US print media coverage (*The New York Times* and *Orlando Sentinel*) of Trayvon Martin's story is an application of the Appraisal Framework (Martin & White 2005; White 2012 a, b). The Appraisal Framework (AF) appears particularly useful for our analysis, since it mainly deals with Media Commentary and Journalistic voice[14], and is suitable «to explore 'objectivity' and 'subjectivity' in journalistic discourse

[11] http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0700-0799/0776/Sections/0776.013.html.

[12] As G. O' Meara, a former prosecutor, an associate professor of law at Marquette University, stated in his article *"Stand Your Ground Laws Are Unnecessary". The New York Times.* March 21, 2012.

[13] Statute 776.032 on 'Immunity from criminal prosecution and civil action for justifiable use of force' reads as follows: "A person who uses force as permitted in s. 776.012, s. 776.013, or s. 776.031 is justified in using such force and is immune from criminal prosecution and civil action for the use of such force".

[14] P.R.R. White, Evaluative semantics and ideological positioning in journalistic discourse — a new framework for analysis, in I. Lassen (ed.), *Mediating Ideology in Text and Image: ten critical studies,* John Benjamins, Amsterdam, 2006, pp. 45—73.

and to explore how the different 'voices' or sub-registers of journalistic discourse can be seen to vary according to their different use of Appraisal values»[15].

More specifically, a major focus is on *attribution* and *evidentiality*, i.e. on the interplay of directly-quoted or indirectly-reported speech that journalistic writers use to *attribute viewpoints* and versions of events to a variety of external sources, especially potentially controversial meanings are largely confined to material attributed to quoted sources. Viewed from the Appraisal Framework perspective, attribution and so-called 'evidentiality' are concerned with the linguistic resources by which speakers/writers include, and adopt a stance towards what they represent as the words, observations, beliefs and viewpoints of other speakers/writers. This is an area which has been widely covered in the literature under such headings as [...] "direct and indirect speech", "intertextuality" and, following Bakhtin, "heteroglossia".

At its most basic level, this attribution or intertextual positioning is brought into play when a writer/speaker chooses to quote or reference the words or thoughts of another.

Furthermore, integrative resources for our analysis were found in Martin and White's *The Language of Evaluation: appraisal in English*[16], where the resources of appraisal are related to the categories of 'news', 'analysis' and 'comment/opinion'. Accordingly, three media roles are identified, in line with the evaluative choices entailed in the roles of reporter, correspondent and commentator, as follows:

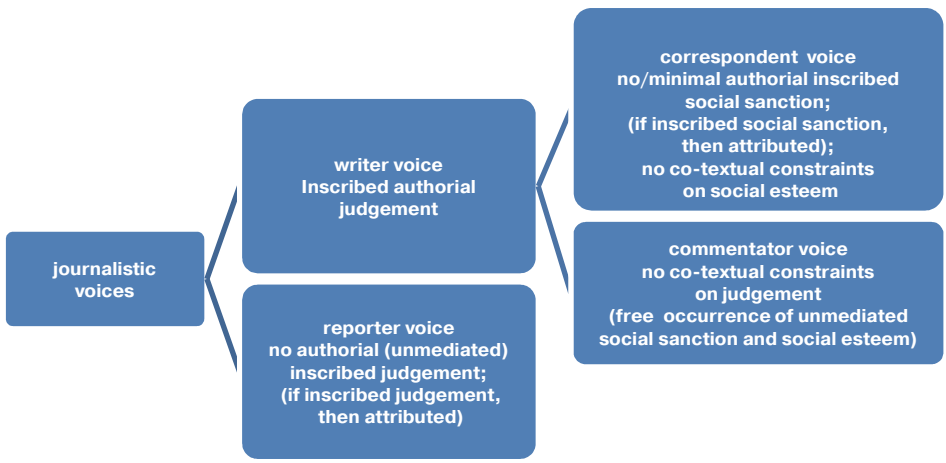

Figure 1. (Martin and White 2005: 173)

Of relevance for our analysis is that the commentator voice has "no co-textual constraints on judgement" with "free occurrence of unmediated social sanction and social esteem" (Martin and White 2005: 173). Indeed, in the excerpts under investigation, among the less autonomous reporters' voices, the commentators' voices are more noticeable and authoritative.

[15] R. Iedema, S. Feez, P.R.R. White, *Media Literacy,* Sydney, Disadvantaged Schools Program, NSW Department of School Education, 1994.

[16] J.R. Martin, P.R.R. White. *The Language of Evaluation*. Palgrave Macmillan, London & New York, 2005.

4. ATTRIBUTION

Our analysis also drew on P.R. White's more recent investigations in the axiological/value positions of 'reporter's voice' in news stories through attribution and attitudinal positioning (2012b)[17]. Attribution within Appraisal Framework (AF) theory, is defined as a mechanism whereby the journalistic author, through directly-quoted or indirectly-reported speech, presents the viewpoints and versions of event on offer in an article as derived from some external source (White 2012: 57).

In White's account[18] AF developed as researchers felt the need to define more precisely the attitudinal values by which texts apply social norms to evaluate human behaviour. Appraisal is now an umbrella term to cover all evaluative uses of language, whose two core concerns are: how speakers/writers adopt and indicate positive or negative attitudes and how they negotiate these attitudinal and other types of positioning with actual or potential dialogic partners[19].

The AF thus explores the way language is used to evaluate and/or to adopt stances, to construe textual personas. AF investigates how affective involvement can be conveyed through a set of indicators including exclamation, repetition, intensification and attitudinal lexis, and so on.

This could clarify certain patterns by which so-called 'objective' texts within the media favour certain values of attitude while excluding others[20]. AF consequently deals with Media Commentary and Journalistic voice[21], where it appears particularly useful «to explore 'objectivity' and 'subjectivity' in journalistic discourse and to explore how the different 'voices' or sub-registers of journalistic discourse can be seen to vary according to their different use of Appraisal values»[22].

---

[17] P.R.R. White 2012. Exploring the axiological workings of 'reporter voice' news stories — Attribution and attitudinal positioning. *Discourse, Context and Media*. Volume 1, Issues 2—3, June—September, 57—67.

[18] P.R.R. White. Telling Media Tales: the News Story As Rhetoric, Unpublished PhD, University of Sydney, Sydney, 1998. http://www. grammatics.com/appraisal/Appraisal KeyReferences.html, (18 June 2012).

[19] This concept of 'dialogism' clearly refers to the works of Bakhtin/Voloshinov. In the Bakhtinian sense discourse and dialogistic exchanges necessarily has a dialogic dimension. We never speak in a vacuum: whatever is said always exists in response to things that have been said before and in anticipation of things that will be said in response. Every utterance is refracted through a host of other antagonistic idioms. Linguistic exchanges are dynamic, relational and engaged in a process of endless re-definition of the world, though certain uses of language maximize the dialogic nature of words, while others attempt to restrict their poly-vocality. Cf. V.N. Voloshinov, *Marixism and the Philosophy of Language, Bakhtinian Thought - an Introductory Reader*, S. Dentith, L. Matejka & I.R. Titunik, (trans), London, Routledge, 1995.

[20] J.R. Martin, *English text. System and structure*, Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1992, pp. 523, 535.

[21] P.R.R. White, Evaluative semantics and ideological positioning in journalistic discourse — a new framework for analysis, in I. Lassen (ed.), *Mediating Ideology in Text and Image: ten critical studies,* John Benjamins, Amsterdam, 2006, pp. 45—73.

[22] R. Iedema, S. Feez, P.R.R.White, Media Literacy, Sydney, Disadvantaged Schools Program, NSW Department of School Education, 1994.

The system of Appraisal comprises three large interactive subsystems
Attitude
Gradation
Engagement

Attitude

Attitude concerns the speakers' positive/ negative assessment of people, places, things, state of affairs and their associate emotional/affectual responses. Attitude can be conveyed in various ways, it may be expressed not by single words (though individual words can be attitudinal) but by phrases and sentences, and, above all, by the interaction of diverse elements of statements which transmit the writers' propositions and view-points, and, therefore, need to be analysed as a whole.

Attitudinal Positioning may concern positive and negative evaluations involving
I. Affect
II. Judgement
III. Appreciation

Martin and White have schematized these three subcategories as in Table 1:

Table 1

Clause frames for distinguishing types of Attitude

System	Clause frame	Example
Affect	person feels affect about something it makes person feel affect that [proposition]	I feel happy (about that/that they've come). It makes me feel happy that they've come
Judgement	it was Judgement for/of person to do that (for person) to do that was Judgement	It was silly of/for them to do For them) to do that was silly.
Appreciation	Person considers something appreciation Person sees something as appreciation	I consider it beautiful. They see it as beautiful

Source: J.R. Martin, P.R.R. White, *The Language of Evaluation: The Appraisal Framework*, London &New York, Palgrave Macmillan, 2005, pp. 58—9.

Affect is thus concerned with emotional reactions and disposition;

Judgement refers to meanings which serve to evaluate human behaviour positively and negatively by reference to a set of institutionalized norms. Judgement can be either explicit or implicit and is divided into two broad categories, Social Esteem and Social Sanction, as shown in Table 2.

It is vital, additionally, to distinguish between what can be termed 'inscribed' (or explicit)

Judgement and 'tokens' of Judgement (or implicit Judgement). Inscribed evaluation is explicitly expressed by means of lexical items overtly carrying the Judgement value, thus, skilfully, corruptly, lazily etc. However, Judgement values can be also triggered by 'tokens' of Judgement, in authors' terms. These tokens, may imply Judgement values by apparently neutral, ideational meanings which nevertheless depending upon the reader's social/cultural/ideological reader position, are meant to evoke Judgemental responses.

Appreciation relates to positive and negative assessments of material objects (artefacts, work of art, texts, processes, and so on). In some cases, the choice of particular

words or phrases overtly states the writer's stance but, generally, the situation is far more complex thus requiring more careful scrutiny. Depending on its more or less immediate 'readability', attitude can be implicitly conveyed, rather than explicitly indicated: Attitude may be either Explicit or Implicit.

Explicit attitude is expressed by overt evaluative/attitudinal words, phrases or sentences, that is to say utterances which straightforwardly communicate a positive or negative sense. As for implicit attitude, on the contrary, it is not easy to locate instances of evaluative/attitudinal expressions. Under implicit Attitude, authors include instances of evaluative/attitudinal expressions, which are not easy to locate: the reader's particular sets of beliefs and expectations will lead him to interpret and consider the writing as un/true, un/acceptable, un/attractive.

Table 2

The full system of Judgement

Social Esteem	positive [admire]	negative [criticise]
Normality (custom) 'is the person's behaviour unusual, special, customary?'	standard, everyday, average...; lucky, charmed...; fashionable, avant garde...	eccentric, odd, maverick...; unlucky, unfortunate...; dated, unfashionable...
Capacity 'is the person competent, capable?'	skilled, clever, insightful...; athletic, strong, powerful...; sane, together...	stupid, slow, simple-minded...; clumsy, weak, uncoordinated...; insane, neurotic...
tenacity (resolve) 'is the person dependable, well disposed?'	plucky, brave, heroic...; reliable, dependable...; indefatigable, resolute, persevering	cowardly, rash, despondent...; unreliable, undependable...; distracted, lazy, unfocussed...
Social Sanction	positive [praise]	negative [condemn]
Veracity (truth) 'is the person honest?'	honest, truthful, credible...; authentic, genuine...; frank, direct...;	deceitful, dishonest...; bogus, fake...; deceptive, obfuscatory...
propriety (ethics) 'is the person ethical, be- yond reproach?'	good, moral, virtuous...; law abiding, fair, just...; caring, sensitive, considerate...	bad, immoral, lascivious...; corrupt, unjust, unfair...; cruel, mean, brutal, oppressive...

Source: P.R.R, White, *An introductory tour through appraisal theory.* Judgement evaluating human behaviour. http://grammatics. com/appraisal/AppraisalOutline/UnFramed/AppraisalOutline.htm#P186_38019, (21 December 2011). More details can be obtained on the appraisal website www.grammatics.com/appraisal in the "Introductory Course in Appraisal Analysis".

In 'quality' or 'broadsheet' news media, articles may also be read as 'detached', 'impartial', while at the same time they may advance a particular (axiological) value position. A kind of strategic impersonalisation is mainly achieved by employing a relatively impersonal style, through which attitudinal evaluations and other potentially contentious meanings are largely confined to materials attributed to quoted sources (White 2012: 57, passim).

In particular, reporting verbs and adjuncts can have the double function of indicating the 'stance' both of the (primary) authorial voice vis-à-vis the attributed material, and of the (secondary) quoted source's voice towards such material.

Key notions concerning the workings of attribution in the news are:

attribution and so-called 'evidentiality', (grounded in Bakhtinian notions of dialogism), leading to strategic impersonalisation;

'invoked' attitude which is further divided into: implicit or 'Provoked' Attitude — PrvA (e.g. 'He only visits his extremely frail mother once a year'), and 'Evoked' Attitude — EvkA (e.g. 'Mr Bush was elected president with 500,000 fewer votes than his opponent');

the semantics of reporting (ad)verbs (e.g. say-s/said, tell-s/told, claim-s/ed, reportedly...) and evidentials (it seems/ed, appears/ed, apparently....);

As regards the primary authorial (reporter's) voice, White's frame (2012: 64) outlines different levels as follows:

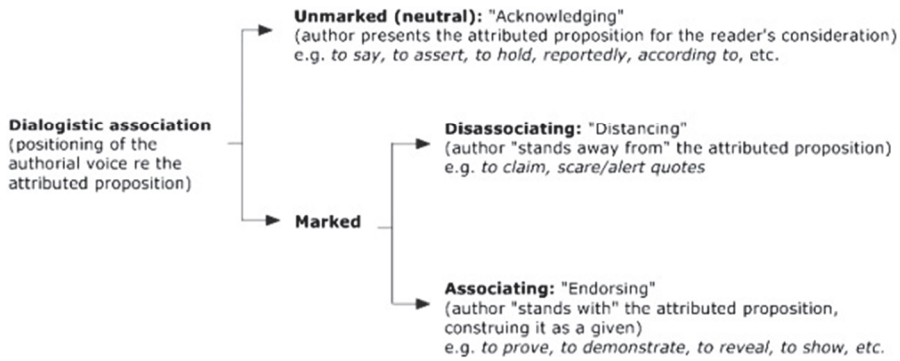

Figure 2. Dialogistic association (White 2012: 64)

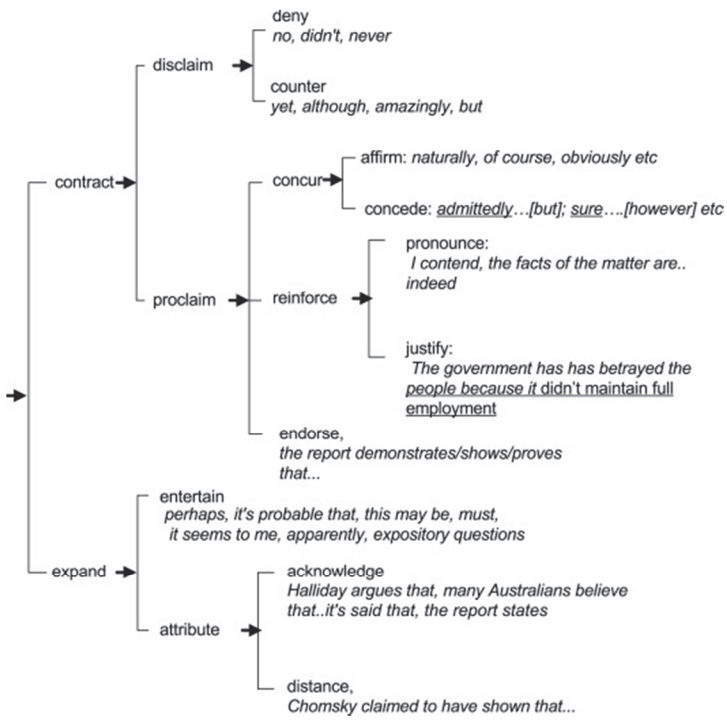

Figure 3. Dialogistic options for the primary voice (White 2012: 65)

In order to visually represent how the secondary (source's) voice is 'embedded' in the report by the primary voice (i.e. the journalistic voice reporting what the informant/ source voice said about the events), we outlined the following pattern:

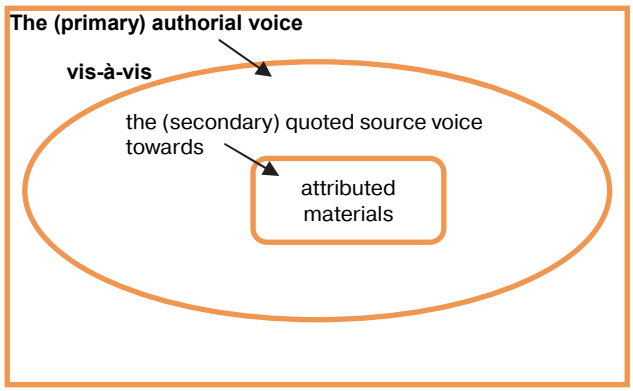

Figure 4. Visualising the 'Chinese boxes' relationship between authorial voice and quoted source voice towards attribuited materials

5. RACISM IN DISCOURSE-ANALYTICAL TERMS

Relevantly, in terms of discourse analysis, in our journalistic texts, racial issues are always reported but never (explicitly) supported/endorsed. Nowadays, in official USA communication, an overtly racist attitude would immediately be censured. Nonetheless, racism-tainted ideologies and stereotyped structures are still detectable in some everyday (discursive) practices, mainly in the form of implicitly expressed stereotypes, e.g. "He is Jewish, but he's very nice" (Quasthoff 1978, 1989).

In discourse-analytical terms, one of the most valuable contributions of van Dijk's (1984, 1997) model to the investigation of racist discourse is the heuristic assistance it provides in linking the generation of prejudice to larger discursive units than the sentence. According to van Dijk et al (1997), in social memory the collectively shared beliefs of a society are stored and organized as attitudes, and as such are fitted into group schemata that provide the cognitive basis of our information processing about members of outgroups[23].

[23] Furthermore, Van Dijk's classification of discriminatory acts used to rationalize prejudice against minority groups — the 7 D's of discrimination — is particularly useful in terms of CDA dominance, differentiation, distance, diffusion, diversion, depersonalization or destruction, daily discrimination (van Dijk 1984: 139) Such strategies serve in various ways to legitimize and enact the distinction of "the other", for example, by dominating the minority groups, by excluding them from social activities, and even by destroying and murdering them. van Dijk also analysed "elite racism" (1991, 1993; van Dijk et al 1997), and prejudice stories that were elicited systematically at certain points in interviews with different groups of informants in Amsterdam and in the United States (1984, 1991). These stories are often introduced by procataleptic disclaimers, which allow a positive self-presentation for the speaker:

a) apparent denials ("I have nothing against Blacks, Turks, Jews, but..."),
b) apparent admissions ("Of course there are also smart Blacks, Turks, Jews, but..."),
c) transfer ("I don't mind so much, but my neighbor, colleagues...")

contrast ("We always had to work a lot, but they...").

Furthermore, from different visual perspectives, other and even contrasting scenarios can easily be shaped in such and similar cases — even more so in the contemporary web-wired, multimedia, g/local arena, which allows events and related information to resonate in real time beyond socio-geographic constraints. One relevant example is the letter of Trayvon Martin's mother to the Brown family: "If They Refuse to Hear Us, We *Will Make Them Feel Us*" (*Time Magazine*, 18 August 2014), which immediately created a virtually visible, empathic bond between the two events.

To this end «newspapers employ textual strategies which foreground the speech act of offering values and beliefs» (Fowler 2013:209) and can favour particular value position, while employing a (seemingly) relatively impersonal style in which evaluations and other potentially contentious meanings are largely confined to material attributed to quoted sources (White 2005, 2012a,b).

From this analytical perspective, our investigation aimed at providing a socio-critical interpretation of how the supposedly unbiased media narratives of ethnic affairs contributed to inflame racial passions, and, by funnelling audience attention toward certain topics and/or by influencing public perceptions of important issues, highlight new social dynamics.

6. CORPUS

The present work investigated a selection of print media reports on the killing of Trayvon and related events, in order to highlight how crucial the management of different perspectives can be to effective journalistic communication.

Including and attributing a proposition implies that the writer finds it relevant to the ongoing communicative event. Besides, "By referencing the words of another, the writer, at the very least, indicates that these words are in some way relevant to his/her current communicative purposes. Thus the most basic intertextual evaluation is one of implied *relevance*" (White 2015). According to relevance criteria[24], we extrapolated excerpts from the two sub-corpora (*The New York Times; Orlando Sentinel*) under examination and investigated the linguistic choices made by these two newspapers. From the killing of Trayvon Martin (26 February 2012) to the acquittal of George Zimmerman (13 July, 2013), thousands of articles have been published in the USA print

[24] The notion of relevance, amplified from the usual acceptation of the word, traditionally pertained psychological and cognitive studies (among others, Higgins and Bargh 1987; Humphreys and Garry 2000; Fecteau and Munoz 2006), and has recently been utilized in communication studies and linguistics as well. Moving from Grice's maxims of conversation, in the 1980s and 1990s Sperber and Wilson developed the Relevance theory (1986, 1997), with attention to the context and the cognitive environment where the speech acts take place. Hence, relevant become: a) data or findings taken to bear on some phase or aspect of linguistic analysis; b) whatever bears on the meaning of an utterance; c) an utterance said on a specific occasion. Thus, speakers/writers are expected by a maxim of relation to make their contribution to an interchange relevant rather than irrelevant (see also Jaworski and Coupland 2006). From this and contiguous perspectives Content value, Cognitive value, Socio-emotional value, Information source value, become relevant (Soojung et al. 2007). For our analysis the socio-emotional value was particularly prominent, especially when journalistic voices report/display opinions and emotions, which we analysed by utilizing the AF Affect and Judgement categories for the first set of data. Then, for the second set of data, the more relevant aspect was the interplay of different voices investigated though the category of Attribution.

media. For our investigation, we selected 20 articles from *The New York Times* (NYT) and 20 from *Orlando Sentinel* (OS), according to relevance criteria, i.e., more specifically, the recognizable presence of a reported source. The total running words are 25.884 for NYT and 21711 for OS.

The New York Times was chosen because it is the largest daily local metropolitan newspaper in the United States and the third in national circulation (after *USA Today* and *The Wall Street Journal*) and is regarded as an authoritative national newspaper of public record. In order to compare print media communication at the national and local level, *Orlando Sentinel* was chosen, as it is the primary newspaper of Orlando (Fla), and of the Central Florida region. It has historically tilted conservative; it has only endorsed a Democrat for president three times since 1964 (Lyndon Johnson in 1964, John Kerry in 2004 and Barack Obama in 2008).

7. AF FRAMING OF THE DATA ATTRIBUTION FRAMING OF THE DATA

The different modes of Attribution highlighted in the Tables below are presented as follows:

LEGEND

- primary voice — pv (i.e., the reporter's voice): e.g. "Mr. Obama said^{pv}"
- secondary voice — sv (i.e., the source's voice): e.g. "All of us have to do some soul searching to figure out how does something like this happen. ^{sv}"
- attributed materials — AM
- neutrally acknowledging -aknw: e.g. "she said ^{aknw} in an interview"
- distancing — DST: "He cautioned^{DST} that"
- endorsing — ENDS: e.g. prove, demonstrate
- 'evoked' attitude — EkdA: e.g. "unarmed black high school student^{EkdA}"
- 'provoked' attitude — PkdA: e.g. "who had been carrying only an iced tea and a bag of Skittles. ^{PkdA}")
- reporting (ad)verbs in italics: e.g. *reported/ly*)
- evidentials in bold: e.g. seems/ed, appears/ed... apparently)

However, since it could be confusing to highlight all (embedded) modes in the same Tables, only the salient characteristics of each excerpt will be pointed out, though with some predictable overlapping. The Tables below therefore clearly illustrate how this dialogistic interplay is deployed in print media texts.

8. EXCERPTS FROM *THE NEW YORK TIMES*

Table 3

"Shooting Focuses Attention on a Program That Seeks to Avoid Guns"
NYT Excerpt March 22, 2012
"In every presentation, I go through what the rules and responsibilities are,^{sv}" she [Wendy Dorival, volunteer watch coordinator] said $^{pv\text{-}aknw}$ Thursday. The volunteers' role, she said,$^{pv\text{-}aknw}$ is "being the eyes and ears^{sv}" for the police, "not the vigilante.$^{sv\text{-}EkdA}$" Members of a neighborhood watch "are not supposed to confront anyone,^{sv}" she said.$^{pv\text{-}aknw}$ Using a gun in the neighborhood watch role would be out of the question,^{EkdA} she said$^{pv\text{-}aknw}$ in an interview. Mr. Zimmerman was there, ***she recalled***$^{pv\text{-}aknw}$ and the local group appointed him their coordinator.^{AM} [SHIFT OF VOICE — only pv] But on Feb. 26, Mr. Zimmerman, 28, pursued, confronted and fatally shot, Trayvon Martin, 17, an unarmed black high school student ^{EkdA} who had been carrying only ^{PkdA} an iced tea and a bag of Skittles.
SHORT COMMENT — The reporter's voice (primary voice) is first 'neutrally' acknowledging the source's secondary voice (Wendy Dorival's); then the pv empathic attitude comes to the fore.

Table 4

"Obama Speaks Out on Trayvon Martin Killing"
NYT Excerpt — March 23, 2012
The president often appears[pv] perturbed when he is asked off-topic questions at ceremonial events, but on Friday, he seemed[pv] eager to address the case, which has quickly developed into a cause célèbre around the country. He cautioned[sv-DST] that his comments would be limited because the Justice Department was investigating. But he talked at length[pv-aknw] about his personal feelings about the case. "I think every parent in America should be able to understand why it is absolutely imperative that we investigate every aspect of this,[sv-PkdA]" Mr. Obama said.[pv-aknw] "All of us have to do some soul searching to figure out how does something like this happen.[sv-PkdA]"
SHORT COMMENT — The (reporter's) primary voice's general attitude is endorsing**;** the secondary voice's belongs to a 'specified' source (i.e., a named individual, Mr. Obama[25]) and displays patent 'affectual' tones.

Table 5

"Race, Tragedy and Outrage Collide After a Shot in Florida"
NYT Excerpt 01 Apr.2012
Still, Mr. Zimmerman seemed to have [pv] a protective streak — a sense of right and wrong — that others admired.[pv-aknw] For example, Stephanie, a neighbor of the elder Zimmermans and a family friend, *recalled*[sv] how George Zimmerman struck up a friendship[EkdA] with one of her sons, Douglas, who is autistic, swimming with him, taking him for car rides and letting him play with Mr. Zimmerman's dog, Princess. "He just felt comfortable with George", she said. [pv-aknw] "For Dougie, everything was 'George, George, George.' [EkdA]"
short comment — The (reporter's) acknowledging primary voice is mainly endorsing towards the specified source — Stephanie's sv.

Table 6

"A Shooting, and Instant Polarization"
NYT April 1, 2012 130
That the public is rendering its verdict immediately and firmly may be routine, but choosing sides takes on a deeper, more dangerous meaning when race is at the heart of the story.[EkdA] Race as an explosive issue is nothing new, but it's been staggering to see it simmer and boil over in our hyper-divided media environment where nonstop coverage on the Web and cable television creates a rush to judgment every day.[PkdA] Partisan politics and far-flung conflicts fit nicely into that world[PkdA] — who's ahead, who's behind, should we stay or go? — but racial conflict? Not so much.[EkdA] But if we have learned anything in the last few years, it is that traditional media are now only in charge of part of the story. There is a paucity of facts and an excess of processing power because everyone with a keyboard is theoretically a creator and distributor of content.[DST] Most of those efforts begin from behind a firmly established battle line, then row backward to find the facts that they need. Was that a dark spot on the back of George Zimmerman's head in the grainy police video, or evidence of a beat-down? We retweet and "like" what we agree with and dismiss the rest.[DST] What is also being adjudicated is our ability to debate highly charged issues in a very divided media landscape. Let's be careful out there.[PkdA]
SHORT COMMENT — The primary voice comments the limitations of the new non-professional media which monologically dismiss the complexity of events and flatten out the polyphony of voices.

9. EXCERPTS FROM *ORLANDO SENTINEL*

Table 7

"We are gathered here today to demand justice in teen's fatal shooting"
O.S. Excerpt — March 14, 2012
What occurred here is tragic and horrific,[PkdA]" said[pv-aknw] Davis, 64. "Every American citizen should be outraged.[PkdA]" Davis, like many others, thinks Trayvon was confronted — and ultimately shot to death — because he was black.[PkdA AM] [SHIFT OF VOICE] The shooter, George Zimmerman, claimed[pv-DST] he acted in self-defense, [SHIFT OF VOICE] and has not been arrested or charged. [SHIFT OF VOICE] Sanford police say they don't have enough evidence to make an arrest [pv-aknw AM]
SHORT COMMENT — Here the (reporter's) primary voice displays different attitudes to different secondary voices mainly to the effect of dis-endorsing Zimmerman.

[25] The other option being 'genericized', i.e., when the material is presented as sourced from a generalised class such as 'scientists' or 'economists'(White 2012 b).

Table 8

"Should 'stand your ground' change?"
O.S. Excerpt — February 25, 2013
Zimmerman took a leadership role in organizing his community's Neighborhood Watch, amid a string of burglaries,[PkdA] some *reportedly* perpetrated by black teens.[PkdA] He often *reported* people he found suspicious to police. The last was Trayvon. Is Zimmerman racist? Reports released so far from an FBI civil rights investigation have turned up little to say he is.[EkdA AM] However, a former coworker accused Zimmerman of racial insults,[AM] and a relative, who also says[sv] Zimmerman molested her when they were both children, told[sv] investigators Zimmerman and his kin don't like black people.[AM]
SHORT COMMENT — The (reporter's) primary voice neutrally refers contrasting opinions. However, the pv's non-committal attitude towards other allegations against Zimmerman ends up by subtly endorsing him.

Table 9

"Tensions still simmer in Trayvon Martin shooting case"
O.S. Excerpt — March 17, 2012
A series of 911 calls from the last moments of Trayvon's life[PkdA] were supposed to shed light on why police have not arrested the shooter,[PkdA] crime-watch volunteer George Zimmerman. Instead, they have fueled even more rage[PkdA] — not just in Central Florida, but across the country. Trayvon's family and supporters vowthey won't give up until Zimmerman is charged with the 17-year-old's slaying late last month.[AM ENDS] At the heart of this maelstrom — in which the thorny issues of race and justice have surfaced as themes[PkdA] — is a boy who dreamed of becoming a pilot and liked to work with his hands.[PkdA]
short comment — The (reporter's) primary voice empathically refers the event strongly endorsing the Martin family and their supporters' involvement and stance, also by setting the untimely death of Trayvon against the background of his expectations for the future.

Table 10

"Police: Zimmerman says Trayvon decked him with one blow then began hammering his head"
March 26, 2012 |
[PV] With a single punch, Trayvon Martin decked the Neighborhood Watch volunteer who eventually shot and killed the unarmed 17-year-old, then Trayvon climbed on top of George Zimmerman and slammed his head into the sidewalk, leaving him bloody and battered, law-enforcement authorities told the Orlando Sentinel.[AM] That is the account Zimmerman gave police, and much of it has been corroborated by witnesses,[AM] authorities say.[aknw] There have been no reports that a witness saw the initial punch Zimmerman told police about.[DST] Zimmerman has not spoken publicly about what happened Feb. 26. But that night, and in later meetings, he described and re-enacted for police what he says took place.[DST] […] [SV] Civil-rights leaders and more than a million other people have demanded Zimmerman's arrest, calling Trayvon a victim of racial profiling and *suggesting* Zimmerman is a vigilante. Trayvon was an unarmed black teenager who had committed no crime,[EkdA] they say,[sv] who was gunned down while walking back from a 7-Eleven store with nothing more sinister than a package of Skittles and can of Arizona iced tea.[PkdA]
SHORT COMMENT — In the first excerpt from this article, the reporter's voice (pv) refers Zimmermann's version in an apparently neutral mode, though a distancing attitude towards the attributed materials is discernable. In the second, the source's secondary voice (i.e., civil-rights leaders, etc.) emerges in the lexical choices conveying strongly empathic attitudes.

Table 11

"Facts vs. Rumours"
O.S. Excerpt — 2 April 2012
Trayvon took his last breath in a bed of damp grass just feet from the safety of a relative's home a few minutes before the NBA All-Star Game was set to tip off in Orlando.[PkdA]
short comment — Again, the (reporter's) primary voice empathically refers the event by dramatically depicting the circumstances.

10. DISCUSSION

Overall, we can say that the dynamics of strategic impersonalization are more subtly operated in *The New York Times*, though both newspapers (*The New York Times* and *Orlando Sentinel*) — as professional print media — skilfully avoided taking an explicit position or displaying emotional attitudes on burning issues, mainly by attributing opinions and attitudes to quoted sources. The entailed issues concern the readers' fruition/position and inferences. To what extent do print media readers typically read news texts as 'factual' and 'neutral', so that their value positions are naturalised/accepted *tout court?* Referring to the relevance criterion of inference (Sperber and Wilson 1986, 1995, 1997), we can assume that the inferential comprehension of the journalistic authors' stances relies on the deductive processing of the information, which is "spontaneous, automatic, and unconscious, and it gives rise to certain contextual effects in the cognitive environment of the audience" (Jaworski and Coupland 2006: 15). Simply put, the readership should be able, predictably, to infer the journalistic authors' value positions and stances.

However, as our analysis highlighted, the communicative arrangements by which the journalistic authors dialogistically engage with the diversity of voices and viewpoints can be sophisticated, and the *primary and secondary voices'* interplay in the print news-reporting texts in conveying underlying axiological/attitudinal orientations can become complex. Hence, it can be difficult for readers to be aware of the underlying axiological interests at stake and to unveil such impersonalisation strategies. To gauge and measure the extent of the print media readers' awareness could be an interesting topic for further investigation in the domain of cognitive research.

11. CONCLUDING REMARKS

Clashing sociocultural scenarios turned the killing of Trayvon and its aftermath into an impressive media battle by fuelling a national confrontation about the thorny issues of race, profiling, self-defense laws and gun control and their interplay. In this arena we investigated examples of print media (meta-)discourse/s, aiming to highlight the multi-layered interplay of primary and secondary professional journalistic voices, following the dynamics of strategic impersonalization. Indeed, nowadays, professional journalistic writers are only partially in charge of news and opinions communication, and concerns are voiced on how and to what extent "the excess of processing power allows everyone with a keyboard [...to become] theoretically a creator and distributor of content. [...] We retweet and "like" what we agree with and dismiss the rest" (Carr 2012)[26], regardless of considerations of reliability and quality of the news. We are increasingly experiencing how the social media (FB, Twitter etc), fora, blogs and platforms for change (the most famous one being "Change.org") enable individuals and groups to mobilize support by forming posses, and win change both at local and at global level. Only thanks to the *media* attention and coverage — i.e. to the *court of public opinion* — could the case be presented to a court of law, where Zimmerman was charged with second degree murder (though later acquitted). As the Martins' lawyer,

[26] D. Carr. A Shooting, and Instant Polarization. *The New York Times* (April 1, 2012).

Benjamin Crump, said, "Thank God for the media, because I'm not sure we ever would have gotten the truth out" (Boedeker and Comas 2012)[27]. The lawyers for the Martin family became frequent TV guests on morning programs, cable news and local newscasts. Martin/Zimmerman case shows how contemporary interactive news culture can re-shape and even reverse the course of events: without such a volume of media attention, the State of Florida vs Zimmermann trial would never have taken place.

© Flavia Cavaliere, 2018

REFERENCES

Abbamonte, L. (2012). Integrated Methodology for Emotion Talk in Socio-legal Exchanges. Politeness, Accommodation and Appraisal Insights. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.

Adjei, P. B., & Gill, J. K. (2013). What has Barack Obama's election victory got to do with race? A closer look at post-racial rhetoric and its implication for antiracism education. *Race Ethnicity and Education*, 16(1), 134—153.

Babacan, H., Gopalkrishnan, N., & Babacan, A. (2009). Situating racism. The local, national and the global. Newcastle: Cambridge Scholars.

Bhandaru, D. (2013). Is White Normativity Racist? Michel Foucault and Post-Civil Rights Racism. *Polity*, 45(2), 223—244.

Bhatia, V., Candlin, C., Engberg, J. (2008). Legal Discourse across Cultures and Systems. *Hong Kong*: Hong Kong University Press.

Burns, A. R., Matarazzo O, Abbamonte L. (2014). Corpus Linguistics and the Appraisal Framework for Retrieving Emotion and Stance — The Case of Samsung's and Apple's Facebook Pages. In Bassis S., Esposito A., Morabito F. C. (eds) *Recent Advances of Neural Networks Models and Applications*. vol. 26, pp. 283—294, Springer, ISBN: 978-3-319-04128-5, doi: 10.1007/978-3-319-04129-2.

Cavaliere, F. (2012). The Shaping of the News. How Information can be moulded by the Press. Roma: Edizioni Nuova Cultura.

Clore, G. L., & Huntsinger, J. R. (2007). How emotions inform judgment and regulate thought. *Trends in Cognitive Sciences*, 9, 393—399.

Clore, G.L. & Schnall, S. (2008). Affective Coherence: Affect as Embodied Evidence in Attitude, Advertising, and Art. In G. R. Semin, E. Smith (eds) *Embodied Grounding: Social, Cognitive, Affective, and Neuroscientific Approaches*, New York: Cambridge University Press, pp. 211—236.

Colombo, M. (2004). Theoretical Perspectives in Media-Communication Research: From Linear to Discursive Models. *Forum: Qualitative Social Research,* [S.l.], 5 (2), May.

Dolan, R. J. (2000). Emotion, cognition, and behavior. *SCIENCE* 298 (5596) 1191—1194.

Goodwin, C. (1994). Professional Vision. American Anthropologist. 96 (3): 606—633.

Higgins, E. T., & Bargh, J. A. (1987). Social cognition and social perception. *Annual Review of Psychology*, 38, 369—425.

Humphreys, M. & Garry, J. (2000). Thinking about salience. Early drafts from Columbia, pp. 1—55.

Izard, C. E. (1997). Human Emotions. New York: Plenum Press.

Jaworski, A. & Coupland, N. (eds). (2006). The Discourse Reader. London and New York: Routledge.

[27] H. Boedeker and M. E. Comas. Dueling scenarios helped shape Trayvon story in epic media battle. *Orlando Sentinel* (September 29, 2012).

Martin, J.R. & White, P.R.R. (2005). The Language of Evaluation. Palgrave Macmillan, London & New York.

O' Meara, G. (2012). Stand Your Ground Laws Are Unnecessary. March 21. *The New York Times.*

Parkinson, B., Fischer, A., & Manstead, A. S. R. (2005). Emotion in social relations: Cultural, group, and interpersonal processes. New York: Psychology Press.

Prinz J. (2006). The Emotional Basis of Moral Judgements. *Philosophical Explorations,* 9, (1).

Prinz, J. J. (2004). Embodied emotions. In R. C. Solomon (ed.), *Thinking about feeling: Contemporary philosophers on emotions*. New York: Oxford University Press, pp. 44—58.

Quasthoff, U. (1978). The uses of stereotype in everyday argument. *J. Pragmat.* 2(1), 1—48.

Quasthoff, U. (1989). Social prejudice as a re-source of power: towards the functional ambivalence of stereotypes. In R. Wodak (ed) *Language, Power, and Ideology*, pp. 137—63. Amsterdam: Benjamins.

Roseman, I. J., & Smith, C. A. (2001). Appraisal theory: Overview, assumptions, varieties, controversies. In K. R. Scherer, A. Schorr, & T. Johnstone (eds.), *Appraisal processes in emotion: Theory, methods, research* (pp. 3—19). New York: Oxford University Press.

Sperber, D. & Wilson, D.1986 [1995]. *Relevance: Communication & Cognition*, Oxford: Blackwell.

— 1997. 'Remarks on relevance theory and the social sciences.'*Multilingua* 16: 145—152.

Van Dijk T.A. (1984). Prejudice in Discourse. Amsterdam: Benjamins.

— 1985. Discourse and Communication: New Approaches to the Analysis of Mass Media Discourse and Communication. Walter de Gruyter.

— 1991. Racism and the Press. Critical Studies in Racism and Migration. London: Routledge.

Van Dijk T.A, Ting-Toomey S, Smitherman G, Troutman D. (1997). Discourse, ethnicity, culture and racism. In Van Dijk T.A (ed). *Discourse as Social Interaction*. London: Sage.

Voloshinov, V.N. (1995). *Marixism and the Philosophy of Language, Bakhtinian Thought — an Introductory Reader.* S. Dentith, L. Matejka & I.R. Titunik, (trans), London: Routledge.

Wetherell, M. and Potter, J. (1992). Mapping the Language of Racism: Discourse and the Legitimation of Exploitation. London and New York: Harvester Wheatsheaf and Columbia University Press.

White, P.R.R. (1998). 'Telling Media Tales: the News Story As Rhetoric'. Unpublished Ph.D Dissertation, University of Sydney, Sydney. Retrieved from: http://www.grammatics.com/appraisal/whiteprr/whiteprr_phd.html.

White, P.R.R. (2012). Exploring the axiological workings of 'reporter voice' news stories — Attribution and attitudinal positioning. *Discourse, Context and Media*, 1(2—3), 57—67.

Wodak, R. and M. Reisigl. (1999). Discourse and Racism: European Perspectives. *Annual Review of Anthropology*, 28, 175—199.

The 2013 Florida Statutes: CHAPTER 776 JUSTIFIABLE USE OF FORCE
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0700-0799/0776/0776.html.

Article history:
Received: 08 December 2017
Revised: 12 January 2018
Accepted: 24 January 2018

For citation:
Cavaliere, Flavia (2018). Discursive Mechanisms of News Media — Investigating Attribution and Attitudinal Positioning. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (1), 338—356. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-338-356.

Bionote:
FLAVIA CAVALIERE is Aggregate Professor of English Language and Translation at the Department of Human Studies of the University of Naples Federico II. *Research interests*: Translation Studies, Audio-Visual Translation, Cross-cultural Communication, Language and Media, Multilingualism, Critical Linguistics and (multimodal) Discourse Analysis, Appraisal Theory, English for Special (Academic) Purposes and the translation of scientific texts. *Contact information*: e-mail: fcavalie@unina.it

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-338-356

ДИСКУРСИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СМИ: ТЕХНОЛОГИИ АТРИБУЦИИ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ФЛАВИЯ КАВАЛЬЕРИ

Неаполитанский университет имени Фридриха II
1 Via Porta di Massa, Naples, 80133, Italy

В 2012 году американский патрульный-волонтер Джордж Циммерман застрелил 17-летнего чернокожего подростка Трейвона Мартина. Это убийство продолжило цепочку трагических событий, связанных с нападениями на невооруженных афроамериканских граждан, вызвало массовую волну протестов, разговоров о проявлении расизма и чрезмерной свободе владельцев оружия в США. Первоначально власти не выдвинули обвинений против Джорджа Циммермана, ссылаясь на закон о применении оружия при самообороне, действующий на территории штата Флорида. Более двух миллионов американцев подписали онлайн-петицию с требованием справедливого правосудия и ареста Циммермана. Джордж Циммерман предстал перед судом, однако в 2013 году ему был вынесен оправдательный приговор. На вышеупомянутый вердикт резко отреагировали представители различных кругов американской общественности. В социальных сетях начало свое существование международное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения с использованием хештега #BlackLivesMatter. «Дело Циммермана» продолжает широко освещаться в СМИ. Журналисты «используют речевые стратегии, выходящие за рамки речевых актов, отображающих ценности и убеждения» (Fowler, 2013: 209). В статье, в соответствии с теорией оценки Мартина и Уайта (2008) были исследованы качественные образцы американских печатных изданий (The New York Times и Orlando Sentinel), тем или иным образом рассказывающих историю Трейвона Мартина. Особое внимание при анализе текстов статей уделяется атрибуции и эвиденциальности (сочетание цитируемой и косвенной речи при описании событий, версий, мнений). Цель статьи: представить социально-критическую интерпретацию того, как предположительно непредвзятые сюжеты этнических споров способствуют разжиганию расовой неприязни и влияют на общественное восприятие данной проблемы.

Ключевые слова: *освещение в СМИ, расовые проблемы, атрибуция, позиционирование, общественное восприятие*

История статьи:
Дата поступления в редакцию: 8 декабря 2017
Дата принятия к печати: 24 января 2018

Для цитирования:
Cavaliere, Flavia (2018). Discursive Mechanisms of News Media — Investigating Attribution and Attitudinal Positioning. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (1), 338—356. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-338-356.

Сведения об авторе:
ФЛАВИЯ КАВАЛЬЕРИ — доктор филологических наук, доцент кафедры английского языка и переводоведения, Неаполитанский университет имени Фридриха II. *Сфера научных интересов:* перевод и переводоведение, аудиовизуальный перевод, межкультурная коммуникация, язык СМИ, мультилингвизм, критический дискурс-анализ. *Контактная информация:* e-mail: fcavalie@unina.it

Russian Journal of Linguistics
Вестник РУДН. Серия: ЛИНГВИСТИКА
2018 Vol. 22 No. 2 357—372
http://journals.rudn.ru/linguistics

РИТОРИКА, ГРАММАТИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
RHETORIC, GRAMMAR AND WORD-FORMATION

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-357-372

РИТОРИКА, ГРАММАТИКА, ДИСКУРС, ГОМЕОСТАЗ

Г.Г. ХАЗАГЕРОВ

Южный федеральный университет
344005, Ростов-на-Дону, Россия, ул. Большая Садовая, д. 105

Статья посвящена сопоставлению риторического, грамматического и дискурсионного подхода к языку. В центре ее внимания — отношение к системе и систематизации. В основе лежит противопоставление управляемых и адаптивных систем. Ключевой категорией признается гомеостаз, то есть способность системы поддерживать параметры своего существования в определенных пределах. Статья состоит из введения выводов и трех частей. Первая часть интерпретирует социальный смысл риторических систематизаций, которые принято толковать как донаучные и перегруженные терминологией. Анализируются причины, по которым античные систематизации были успешны. Указывается, почему подобные систематизации не могут быть применимы к объектам грамматики. Во второй части отвергается представление о риторике как о вторичной грамматике. Системность языка, с которой имеет дело грамматика, опирается на представление об управляемой системе. Системность, с которой имеет дело риторика, — на представление об адаптивной системе. Грамматика имеет дело с выбором дискретного варианта, риторика занята конструированием континуальных метаплазмов. Отклоняются аналогии между риторикой и грамматикой и в отношении немаркированных форм, автор высказывает сомнение в том, что нейтральная форма может быть найдена для каждого тропа или фигуры. Это иллюстрируется теорией периода в риторике. В третьей части постулируется близость дискурсионного и риторического подходов. Разным пониманиям дискурса соответствует разная степень сближения с риторикой. В самом дискурсионном подходе продуктивным представляется выход за пределы речевого акта, что позволяет трактовать дискурсивное сообщество как обладающее свойством гомеостаза. Это иллюстрируется примером научного дискурсивного сообщества и адаптационными проблемами научного дискурса. Критичными являются выживаемость индивида внутри сообщества и жизнеспособность самого сообщества. Кардинальное различие между риторическим и грамматическим подходом определяет стратегии преподавания и исследования языка. Делается общий вывод о том, что сближение с риторикой способно углубить понятие «дискурс» и стабилизировать его изучение. Источником такой стабилизации видится подход с позиции гомеостаза.

Ключевые слова: *риторика, грамматика, дискурс, система, гомеостаз*

1. ВВЕДЕНИЕ

Научный пафос настоящей статьи — преодоление инерции грамматического мышления при изучении риторики и исследовании дискурса. Риторический подход признается продуктивным для изучения дискурса. Ключевая категория — гомеостаз, то есть система, способная поддерживать параметры своего существования в определенных пределах.

2. НЕПРАВИЛЬНАЯ, НО УСПЕШНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ

Наверное, каждый, кто имел дело с систематизациями, предлагаемыми классической риторикой, испытал по меньшей мере одно из трех чувств: покровительственное отношение к «донаучному знанию», не умеющему привести понятия в строгую систему, раздражение по поводу обилия терминологии и, наконец, чувство Архимеда, если за нагромождением терминов он неожиданно увидел смысл. Автор этой статьи последовательно испытал все три чувства. Первые два, когда работал над «Словарем риторических терминов», третье, когда задумался о социальной роли древних каталогов и сравнил ее с ролью наших строгих систематизаций.

Для каждого из этих чувств есть достаточно поводов. Если олицетворение — вид метафоры, почему оно рассматривается наряду с метафорой? Почему в одном ряду с метафорой и метонимией стоят загадка и пословица? Если троп —употребление слова в переносном значении, то почему хариетнизм — это троп? Такие вопросы родятся у всякого, кто познакомится с первой же систематизацией тропов, данной Трифоном в соответствующем трактате «О тропах» (Τρύφωνος 1856: 189). Кстати, его систематизация варьировалась с незначительными изменениями в течение тысячи лет, и авторы, как заклинание, повторяли слова Трифона, что тропов — двадцать семь. Это же можно прочитать и в славянском «Изборнике» одиннадцатого века в статье «О образех» (Изборник 1983: 237).

На обилие терминов, связанных с риторическими фигурами, стали жаловаться сразу же после возрождения интереса к риторике. Так, Ж. Женетт отмечает неуемное желание классической риторики охватить названиями как можно больше объектов (Genett 1966: 214). Что касается топосов, то здесь дело обстоит еще хуже. От современных ученых не ускользнуло то обстоятельство, что в работе, которая называется «Топика», определения топоса нет: “It is striking that the work that is almost exclusively dedicated to the collection of *topoi*, the book *topics*, does not even make an attempt to define the concept of *topos*” (Aristotle's 2010).

По этому предмету Мишель Лёфф высказал мнение, с которым я вполне солидарен: “But for the most part, the classical authors displayed little interest in theoretical issues; sometimes they modified or rearranged categories in the system, and occasionally they quarreled about small issues of classification, but manly they treated the topics like so many tools on a shelf — as long the rhetor knew how to get hold of a topic and use it, there was not much need to fuss about abstract consideration” **(**Leff 2006: 205). В течение же двух тысяч лет топосами называли то логические ходы мысли, сводимые к логическим операциям конъюнкции, дизъюнкции и импликации, то сентенции («общие места»), то просто темы, которые может поднимать говорящий в своей речи (Москвин 2008: 98—150).

А теперь сопоставим три явления: современный журнал мод, трактат ритора Квинтилиана и трактат архитектора Витрувия. Общим свойством этих текстов является эффективное задание эталонов без исходной строгой систематизации. Результат — развитие моды, развитие речи и развитие архитектуры. Различия лежат в объектах, к которым применяются эталоны, и в разной степени дидактики.

Модный журнал содержит немного дидактики. У Витрувия ее гораздо больше: он объясняет, что должен знать и уметь архитектор, а Квинтилиан прямо называет свои двенадцать книг — «Об образовании оратора».

Но главный принцип один: успешный прецедент закрепляется в виде эталона и получает название (откуда и обилие терминов). Строгая дефиниция не обязательна (откуда и «донаучность»). Но обязательна парадигма, т.е. пример. Часто эта парадигма переходит из трактата в трактат. И мы до сих пор при слове «хиазм» вспоминаем, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Этот пример приводит М.Л. Гаспаров, латинист и переводчик с латинского, в «Литературной энциклопедии терминов и понятий» (Гаспаров 2001: 1167). Квинтилиан, приводя этот же пример — non ut edam vivo, sed ut vivam edo, называет это антиметалолой (Qunitilian's 1909: 207). Ричард Ланхем трактует и антиметаболу, и хиазм, отмечая, что они не вполне точно соответствуют друг другу (Lancham 1968: 10, 23). Разные авторы трактуют это явление и как простую перестановку слов, и как смену грамматических ролей, антиметаболу также толкуют как вид хиазма (Копнина 2003: 745—746). Все эти разночтения отражают изначальную ситуацию, когда удачный прецедент речи закреплялся в названии. Древним авторам важно было продемонстрировать, как бывает, а не описывать различия между хиазмом и антиметаболой. Сегодня в русскоязычной риторике закрепился термин «хиазм».

Для того чтобы говорить и думать о моде, архитектуре или речи, нужны специальные слова, «квантующие» это пространство: рукав-реглан, канелюры, исоколон. Ср.: «Вся современная архитектура от Возрождения до наших дней воспринимала наследие античности прежде всего и главным образом через Витрувия, и трудно себе представить, как сложился бы ее облик, если вычеркнуть трактат Витрувия из этого наследия», — пишут издатели русского перевода Витрувия в тридцатые годы двадцатого (Витрувий 1936:12). Но Витрувий рассказал о своих ордерах и их элементах в декларативной манере, а совсем не с позиции строгого систематизатора. Причем последующие трактаты от Леоне Баттиста Альберти до Андреа Палладио и Джакомо Бароцци да Виньола, автора канона пяти ордеров, стремились сделать систематизацию более строгой. Ср.: «Основные мотивы архитектура продолжает черпать из ордеров. В XVII и XVIII вв. это не более, как варианты на тему *окончательно* [курсив мой] установленную сочинениями Палладио и особенно Виньолы» (Шуази 1937: с. 676).

Риторике повезло больше (или меньше?): до нас дошло много риторических трактатов. Все они написаны абсолютно в такой же, как у основоположника теории архитектуры, декларативной манере: «Тропов есть двадцать семь». Развитие семантики, а затем семиотики положило, казалось, начало борьбы с произволом. Тропы прекрасно ложатся в систему и могут, как это сделано у Романа Якобсона, свестись к оппозиции селекции (метафора) и комбинации (метонимия) (Jacobson, R.O. 1956). При некоторой наклонности к изощренному мышлению и «компактности» в духе изложения теории множеств у Николя Бурбаки все тропы можно свести к одной синекдохе, как это сделано у авторов «Общей риторики» (Дюбуа, Эделин, Клинкенберг, Мэнге, Пир, Тринон 2006). Фигуры, будучи

истолкованы как иконические знаки-диаграммы, могут быть сведены к трем типам. Так по крайней мере кажется автору этих строк (Хазагеров 2009). При этом, однако, многие «квазитропы» и «квазифигуры», т.е. речевые феномены, на которые сочли нужным обратить внимание древние риторы, остались за бортом.

Если теперь сопоставить современные работы и те три явления, о которых речь шла выше, выяснится, что мода облетает соответствующую ойкумену в считанные дни, что ораторы и архитекторы ориентировались на тот инструментарий, который им предлагали риторы и теоретики архитектуры. А вот наши сочинения имеют ограниченный круг читателей и влияние их на социальное поведение людей, на формирование городской или языковой среды крайне незначительно.

Почему «недодуманная» классификация риторики оказалась успешной, а вот грамматика не могла позволить себе роскоши оставаться недодуманной, потребовала строгих описаний и кодификации норм, что вылилось в языковой стандарт, с которым так или иначе приходится считаться каждому, кто собирается общаться на выбранном им языке? Ответ прост, но очень поучителен. Так происходит, потому что, вопреки устоявшему предубеждению, риторика не есть вторичная грамматика. Риторика — это совсем не грамматика, она отличается от грамматики самыми существенными свойствами, которыми могут различаться вещи в этом мире: отношением к дискретности и континуальности, отношением к отсутствию и присутствию, и, наконец, природой системности. Поучительно это еще и потому, что риторика обнаруживает глубинное родство с категорией «дискурс», и это родство может послужить своеобразным маяком в окутанных туманом теориях дискурса.

2. МЕТАПЛАЗМ VS. ВАРИАНТ. ОППОНЕНТ VS. ОППОЗИЦИЯ

Фердинанд де Соссюр сравнивал язык с шахматами, подчеркивая, что для понимания этой игры надо знать правила и значение каждой фигуры. В этом смысле язык — система, его элементы взаимно обусловлены. Если рассмотреть эту систему в контексте того, что мы узнали после появления и широкого применения кибернетики — науки о системах — то следует признать, что соссюровская система относится к классу управляемых, но не адаптивных систем. Оппозиции, определяющие шахматные фигуры, выдуманы для того, чтобы осуществлять функцию игры. Можно сделать следующий шаг в уподоблении и говорить не о шахматах, а о пишущей машинке. Место буквы в алфавите, как и место клавиши на клавиатуре, определяется (функционально, а не только геометрически) через другие буквы и другие клавиши. Машинка — типичный пример управляемой системы, подобной гвоздям и молотку или автомобилю. Соссюр не мог знать о гомеостазе, об экологических системах и даже о такой винеровской мысли, как обратная связь. Обратной связью, простым проявлением которой является «переспрос», лингвисты заинтересовались только, когда стали изучать диалоговые системы. Экологическая лингвистика возникла только в конце двадцатого века на волне экологического мышления (Haugen 1972). Гомеостаз — термин введен в 1932 году (Cannon 1932) — все еще не находится в числе активных категорий у языковедов (Хазагеров 2001).

Но, если я играю в шахматы с партнером, с Другим, как выражался Бахтин, я должен отвечать на вызовы, которые создает его игра, я должен приспосабливаться к ситуации, наступать и обороняться, и это похоже уже не на язык, а на речь. Ее системность задана не набором элементов, не комплектом, не фонологическими, скажем, оппозициями или системой грамматических времен, а независимым поведением других субъектов, образующих среду, в которой языковой личности приходится выживать. В этой среде элементы не просто обусловлены друг другом, потому что обладают набором дифференциальных признаков, а приспосабливаются друг к другу. Оппозиции сохраняют силу (шахматные фигуры все те же), но появляются еще и оппоненты (а с ними шахматные часы и турниры). Это уже экологическая система, система с проблемами взаимодействия и выживания.

Соссюра обычно обвиняют в том, что он отказывался изучать речь, но он в этом исключительно последователен. Либо ты изучаешь систему знаков, в которой весьма опосредованно отражены интерсубъектные отношения, и ими можно и нужно пренебречь, либо ты изучаешь речевое поведение носителей языка, постоянно находящихся в интерсубъектных отношениях. При этом Соссюр, и это также последовательно, хотя и противоречит фактам, настаивал на произвольности языкового знака. На самом деле и в языке, и даже в шахматах (!) присутствует иконизм. Более того, иконизм, как известно, ощутим и в грамматике (Wescott 1971). Но иконизм — это джокер в системе, он прорывает ее конвенциональный характер и тем самым отвлекает нас от установившихся конвенций, возвращает нас в открытое поле жизни, у которой своя система, основанная на том, что ее акторы и даже целые их сообщества стремятся к самосохранению, к поддержанию гомеостаза.

Соссюровская лингвистика активизировала объективно присущее грамматике вариантное мышление (Солнцев 1990: 80—81). Если существует закрытый список дискретных вариантов, мы выбираем данный вариант, и этим либо соответствуем грамматике, либо совершаем грамматическую ошибку. Инерция грамматического мышления заставляет и на фигуры риторики смотреть под тем же углом. Возникают следующие рассуждения.

Можно выбрать повтор, можно, напротив, пропуск слов. А еще существует нейтральная форма — полный аналог нулевого знака в грамматике, где нет ни повтора, ни пропуска. Пропуск, повтор и нейтральная форма взаимно определяет друг друга. На них можно посмотреть как на набор в ящике (шахматы). Так можно рассуждать и так действительно рассуждали авторы риторик того типа, который можно было бы назвать протостилистикой. В России самый яркий пример такой риторики — теория Ломоносова, которая занята стратификацией синонимических вариантов (Ломоносов 1952, Ломоносов 1986). Правильное распределение слов по стилям и жанрам (в том числе и распределение тропов) делает речь «пристойной», то есть уместной. Вопрос эффективности речи в такой риторике выглядел бы так же странно, как вопрос об эффективности окончания множественного числа.

Однако исконно риторика мыслила себя по-другому. Закрытого списка фигур (да и тропов) в общем-то не было. Варианты также не были дискретны. Риторические варианты хорошо описываются термином «метаплазм», сохранившимся в фонетике, но относительно недавно относившимся и к словесным фигурам (Маркасова 2002: 68—82). Метаплазм — это буквально лепка речи, растягивание, сокращение, перекручивание материала, а не выбор готовой формы из ящика. Звуки действительно можно растягивать, а слова можно повторять. Но звуки можно растягивать больше и меньше, а слова повторять разное количество раз. К тому же поиски нулевой формы в риторике — занятие менее благодарное, чем может показаться на первый взгляд.

Нефигуральную речь, так называемую кириологию, еще можно себе представить в виде нулевого знака, если под фигуральной речью понимать только употребление слов в переносном смысле. Но даже и в этом случае придется объяснить отсутствие нулевой формы для катахрезы. Сложней с собственно фигурами. *Один стоял внутри, другой — снаружи*. Это протозевгма, т.е. фигура, в ее основе лежит пропуск слова. *Один внутри, другой стоял снаружи*. Это гипозевгма, т.е. фигура, в ней также пропущено слово. *Один стоял внутри, другой стоял снаружи*. Это гиперзевгма, т.е. опять-таки фигура, в ней имеется повтор слов. А как высказаться нейтрально? *Они (эти двое) стояли, соответственно, внутри и снаружи? Я летел на самолете, он ехал на поезде*. Это синтаксический параллелизм — фигура. А как без фигуры?

Впрочем, и с тропами все непросто. Трудно представить себе вне риторики декорума [См. о ней: (Лахманн 2001)] оратора, который выбирает между метафорой и метонимией. А если он выбрал, положим, метафору, то ведь здесь у него просто неограниченное число возможностей для уподоблений. Где же выбор варианта из набора дискретных элементов? Конечно, в ритуализованной, этикетной риторике, где, условно говоря, выбор ограничен алой и белой розой, сходство с грамматикой усмотреть легко. Оппозиция «кощеево седло — златое стремя» почти грамматическая. Но в живой риторике наборы, созданные для управляемых систем, отсутствуют или присутствуют факультативно. Д.С. Лихачев называл это литературным этикетом (Лихачев 1970).

Наконец, сам концепт, «уклонение», лежащий в основе определения и тропа, и фигуры, не подразумевает заданного списка, хотя и смутно указывает на нулевую форму, от которой происходит уклонение. Думаю, и это последнее — иллюзия, речь просто шла о том, что мы начинаем лепить свою речь, что мы «уклоняемся» не столько от прямого смысла к переносному, сколько от необработанной речи к обработанной. Последнее хорошо заметно в Аристотелевой теории периода, которая своей тривиальностью способна озадачить любого свежего человека (Аристотель 1978: 140) и которая тем не менее была исключительно авторитетной. Разгадка в том, что периодический синтаксис — это обработанная речь цивилизованных людей, а непериодический — речь архаичная или варварская. Но «отклонения» в нашем смысле слова здесь нет. Просто речь членится на отрезки — колоны и коммы, подобно тому, как в архитектуре в периптере мы видим колоны и антаблемент. Причем аналогия с периодом здесь полная. А «нулевому знаку» будет соответствовать нагромождение камней или слов.

Когда мы стараемся следовать указаниям грамматики, мы имеем дело с системой, и ответственны мы именно перед системой и только опосредовано перед собеседником. Причина ответственности в том, что если долго нарушать нормы системы, ею будет трудно пользоваться. Не бей кулаком по клавиатуре! Не грызи шахматные фигуры! Такова мораль. Из подобных соображений унифицируется написание и произношение слов. Когда же мы пытаемся применить знания риторики, мы имеем дело с самим собеседником. Мы не ответственны перед нормой, мы ответственны перед людьми непосредственно. Мы можем, например, ввести их в заблуждение, или, напротив, развеять их заблуждения. Мы ответственны перед делом, ради которого говорим.

3. СИСТЕМНОСТЬ ДИСКУРСА

В этом пункте речь пойдет о сближении риторического и дискурсивного подходов и о системности дискурса. В этом сближении мы будем двигаться по шагам, соответствующим различным пониманиям дискурса: от «дискурс — это выход за пределы предложения» к «дискурс — это текст плюс ситуация» и дальше к пониманию дискурса как части коммуникативной деятельности сообщества.

Как только лингвистика осознала понятие «дискурс» и вышла за пределы предложения, “language above the sentence or above the clause” (Stubbs 1983), она вступила в ту область, где обитала риторика и где грамматическое мышление обнаруживает свою недостаточность. До этого говорили только о синхронии и диахронии. И ту и даже другую можно описывать в рамках парадигматических отношений, в ситуации наряду, а не рядом, in abscentia, а не in presentia. Синтагматика при этом легко сводима к парадигматике, так, например, можно описывать глагольное управление. В диахронии момент динамичной перестройки в системе дискретных вариантов (один реализуем, два — в уме) ничего не меняет в общей картине. Все теоретики нормы со времен пражан с удовольствием повторяют, что норма динамична (Матезиус 2003). Но в дискурсе вместо диахронии системы мы видим живую динамику реагирования, исчисляющуюся не веками и эпохами, а зачатую минутами и секундами. В классическом примере о двух объявлениях по поводу использования бассейна и туалета правильное понимание приходит, когда посетитель переходит от чтения одного объявления к другому. Ему, следовательно, требуется всего несколько секунд, чтобы адекватно понять ситуацию, не вытекающую из буквального понимания каждого предложения в отдельности.

Но гораздо важнее то, что вместе с «дискурсом» мы обращаемся к диалогу, хотя, как увидим ниже, и это не предел проникновения в глубины риторического мышления. Тем не менее, если дискурс это не просто два предложения, но «язык плюс ситуация», мы из движения по узким каналам грамматики попадаем в открытое море жизни. Ведь это жизнь поставляет «ситуации». Это в ней существуют другие субъекты, которые в грамматике, стилистике и даже риторике декорума представлены только в виде муляжа абстрактной нормы и никаким образом не могут проявить самостоятельность. Грамматика не имеет дело со свободной волей. Конечно, в диахронии имплицитно отражены какие-то выборы речевого

поведения, и именно здесь и кроется причина адаптивности нормы. Но ни шахматы, ни пишущая машинка сами по себе перестроиться не могут. Диахроническое описание языка не имеет дела с непредсказуемым или предсказуемым поведением субъекта. «А вот мы редуцируем окончания и посмотрим, что Он скажет», — так никто не рассуждает, тем более что диахрония опрокинута в прошлое. «Он» уже сказал, и нам осталось привычное занятие — расставить новые шахматы фонемных отношений.

Когда лингвисты отвергают устойчивое значение слова и предлагают обратиться не к словарю, а к тезаурусу (Martin 2017), они поступают прямо противоположно французским синонимистам (Ору 2000), которые в духе эпохи Людовика XIV (для функциональной стилистики длящейся и сегодня) стремились развести смыслы по дискретным гнездам. При Людовике как раз и властвовала риторика декорума, этикета, и даже было изобретено слово «этикет». Все это прекрасно согласовывалось с картезианством. Но после открытия «дискурса» ситуация изменилась. Современный стилист Н.И. Клушина отмечает поворот от функциональной стилистики к коммуникативной, отмечая, что последняя работает на одном поле с дискурсологией (Клушина) и, от себя замечу, с риторикой.

Главное видится не только в том, что слова меняют свой смысл в зависимости от соседних слов, тем более не в том, что они существуют в общих смысловых полях (в теории поля видится как раз желание грамматикализовать лексику). Главное в том, как будут меняться эти смыслы в общении двух независимых воль. И здесь вариантное, дискретное, парадигматическое мышление просто исчерпывает себя. Простой пример: у одного собеседника синонимический ряд состоит из шести синонимов, половина из которых идеографические, а у другого из одного. Дистинкции управляемой системы, ради которой работали синонимисты, в этом случае просто не работают. Если бы так было в грамматике — это, впрочем, можно придумать для случая понимания чужой системы времен как своей — все оппозиции немедленно бы «поплыли». В случае общения с неносителями языка акценты смещаются с модели «смысл — текст» на модель «интенция — текст». Здесь критично не понимание эталонного смысла, а взаимопонимание собеседников (Kecskes 2016).

В живом общении закономерным образом кончается власть управляемых систем и начинается область систем адаптивных, экологических. Собеседника приходится учитывать, с собеседником приходится объясняться, на собеседника можно влиять, и он может влиять на тебя. В дело также идут социальные статусы и репутации. Последние складываются за пределами *здесь и сейчас* конкретного речевого акта.

Но в «ситуации» («дискурс — язык + ситуация») кроется еще одно ограничение. «Ситуация» вращает все богатство жизни вокруг речевого акта, что напоминает геоцентрическую систему. Меж тем сообщество со своими горизонтальными и вертикальными связями живет за пределами речевого акта. Репутация говорящего, его статус, языковой имидж складываются в ходе других речевых актов за пределами данного. «Ситуации» недостаточно, потому что говорящие

живут в дискурсе относительно долго и обладают памятью. «Погруженность в жизнь» трудно свести к одной точке, перегружая ее непомерно растущим числом параметров, отражающим контексты. Репутация, в частности, размывает границы между микро- и макроконтекстом высказывания. Так, Ван Дейк (Ван Дейк) к микроконтексту относит выступление в парламенте, а макроконтексту — парламентский дискурс как таковой. Но выступающие в парламенте помнят друг друга и знают друг о друге, каждый из них «выживает» в конкретном парламенте, и это еще не парламентский дискурс, но и не единичное выступление. Конкретный парламент тоже живет как адаптивная система, но это тоже не парламентаризм как таковой.

Языковая жизнь различных сообществ переживает эволюционные и инволюционные процессы, у нее есть свои факторы риска. Например, проблемой сегодняшнего научного сообщества является появление спамовых публикаций. Это проблема научного дискурса, или риторики научной речи, но она не может изучаться в рамках изолированного акта. Мучительные проблемы сертификации ученых, не всегда совпадающей с их репутацией у коллег, тоже дискурсивная (риторическая) проблема. Для выживания в сообществе можно взять курс на признание коллег, а можно — на достижение определенных параметров KPI (Key Performance Indicator, например, количество цитирований). В какой-то мере эти стратегии совместимы, но иногда приходится выбирать. Очевидно, в долговременной перспективе эти стратегические выборы скажутся на выживаемости самого дискурса. Вообще конфликт интересов дискурсивного сообщества и интересов индивидуальных, описанный мной в терминах ближней и дальней прагматики (Хазагеров 2006), может быть выявлен, когда мы выходим за пределы речевого акта. Такой конфликт возникает, разумеется, не только в научном дискурсе, но и, например, в дискурсе деловом (Гальчук 2017: 137).

Национальные сообщества тоже представляют собой большие адаптивные системы, определяемые не только достаточно неуловимой «картиной мира», но и зримыми лингвокультурными традициями, например, по-разному проявляет себя в общении категория вежливости (Ларина 2009), непосредственно связанная с социальной адаптацией индивида и в то же время образующая каркас для жизни коммуникативной жизни сообщества в целом.

При грамматическом подходе к языку последний предстает как управляемая система. И если мы повернулись к функционализму или диахронии, это еще не значит, что мы стали смотреть на него как на систему адаптивную. Управляемые системы тоже функционируют. А функционирующие системы могут быть спланированы как, скажем, алфавиты для бесписьменных языков. Диахрония вносит свои коррективы, в которых скрытно, «за кадром» отражена адаптация. Это так. Но это за кадром, где действуют «социальные процессы», «экстралингвистические факторы» и т.п. — hic sunt leonem. Кроме того, в языке много несистемного, что в свое время привлекало внимание, случайного, что также бывает с управляемыми системами. Например, залипание какой-то буквы на клавиатуре.

При риторическом подходе мы имеем дело с адаптивной системой — дискурсом. В нем диалог (диалоги), смены говорящих и слушающих субъектов при-

сутствует эксплицитно. Там случаются коммуникативные удачи и неудачи. Это не просто функционирование, это нескончаемая система проб и ошибок, это мутации, девиации, закрепление полезных мутаций путем присваивания им имен (путь классической риторики), это естественный отбор моделей речевого поведения.

Различие, на котором настаивает автор данной статьи, имеет прямое отношение к тому, что мы преподаем.

Для управляемой системы важна строгая систематизация. Нужны парадигмы, таблички с системой времен, падежей и прочее. Нужны аккуратные описания всех различий. Нужна героическая борьба со всякой идиоматикой, исключениями, несистемностью. Все это нужно «задекларировать». «Норма — это коллективная реализация системы, которая опирается как на саму систему, так и на элементы, не имеющие функциональной (различительной) нагрузки», — писал Г.В. Степанов, и это стало общим местом (Степанов 1984: 84). Управляемая система предполагает наличие языкового стандарта, или нормы. Прескрипция здесь адекватна объекту: без нормы система перестанет быть управляемой. Кодификация нормы необходима для нормального функционирования языка, как было показано уже Пражским лингвистическим кружком, иначе не получишь «отшлифованный» язык.

У адаптивной системы место прескрипции заменяет предложение, или проектирование. Однако такое предложение не сводится к так называемой либерализации нормы, отмечаемой как современный тренд (Стернин 2015: 72). Это не то, что сказать: «пусть кофе будет и среднего рода тоже». Риторическое предложение активно, оно выкладывает сразу множество инструментов, а при более пристальном взгляде каждый инструмент — это целая стратегия. И все-таки риторика настаивает на своих рекомендациях, как это делает журнал мод. Например, сегодня можно сказать студенту: «неумеренное использование статуса отвода обессмысливает интернет диалог, смягченным вариантом может быть обращение к статусу оценки, в крайнем же случае постарайтесь обосновать отвод причиной, релевантной именно для аргументации вашего оппонента». Или: «обилие парентез в современной прозе уже не встречает читательского одобрения, ищите других путей для экспрессивного синтаксиса, можно порекомендовать...». Короче говоря, стандарт заменяется мониторингом, но это не похоже, скажем, на мониторинг движения ударений (звони́шь — зво́нишь) для выработки акцентологической нормы. Риторический мониторинг неизбежно связан с называниями трендов. Так появляются «мемы», «смайлики», «троллинги». Постулирование существования особого класса объектов — «мемов» — очень хороший пример риторического мышления. Теоретически мем был задуман как аналог гена, но это аналогия не выдерживает серьезной критики, да и вообще мем определен не более строго, чем античный топос. Тем не менее категория работает.

Риторика живет, когда она придумывает названия или «вспоминает» старые, приспосабливая их к новым случаям. В двадцатом веке заговорили о парцелляции, не отмеченной ни в каких курсах риторики, потому что парцелляция появилась в жизни. Менее «свежий» пример: античная риторика не знала термина «анта-

подозис», но сам антаподозис (развернутая метафора с комментариями) появляется в христианском средневековье под влиянием Евангелия. Тогда же появляется и термин (Хазагеров 1994).

Инструмент риторики — номинация, а не систематизация. Пример критически важен. При этом учитель риторики должен быть и ее популяризатором, что не обязательно для грамматика. Ритор должен «внедрять» свои каталоги, иначе они теряют смысл, будучи одновременно лишены и логической чистоты (почти неизбежно), и социального значения (по определению). Хорошо, если учитель риторики связан с практикой подготовки убеждающих речей, хотя бы как консультант, логограф нашего времени. Это даст ему запас живых прецедентов, на которые всегда хорошо реагирует аудитория.

Различие адаптивной и управляемой систем имеет отношение и к тому, что мы исследуем. Только здесь различие лежит уже не в области прескрипций, а в области дескрипций. В идеале управляемую систему можно описывать булевой алгеброй. В адаптивной потребуется и вероятностная, и нечеткая логика. Здесь потребно моделирование такого типа, которое еще никогда всерьез не производилось. Вероятностные измерения в тексте, чем увлекалась лингвистика на заре компьютеризации, в частности, в связи с проблемой автоматического перевода, предполагали угадывание букв и слов, то есть с самого начала имели дело с диалогом (Пиотровский 1973). Впоследствии в стилистике декодирования был предложен принцип выдвижения, тоже связанный с диалогической интерпретацией системы «текст — читатель», основанной на вероятностных оценках (Арнольд 1999). Еще в 1995 году А.Е. Кибрик прогнозировал, что языкознание нового тысячелетия перейдет от дискретной лингвистики к лингвистике, основанной на нечеткой логике и размытых множествах (Кибрик 1995).

Отталкиваясь от известного определения дискурса И.Д. Арутюновой «текст, погруженный в жизнь», В.И. Карасик пишет, что «...дискурс — это личностно, культурно и ситуативно детерминированная коммуникативная практика. Такая дефиниция расширяет поле исследования, перед нами не только текст, но и процессы текстопорождения и текстовосприятия» (Карасик 2014: 146).

В самом деле, перед нами не текст, а целое дискурсивное сообщество. Это сообщество людей, пребывающих в постоянных интеракциях, постоянно убеждающих в чем-то друг друга, верящих и разуверяющихся. Для его описания потребуется как минимум аппарат теории игр. Вообще же даже умозрительные модели такого рода, описывающие дискурсивное сообщество, не слишком распространены. Определенный толчок в этом направлении дало изучение языка тоталитаризма, т.е. языка патологического сообщества. Особенно интересно рассматривать жизнь таких сообществ в динамике, что и позволяет говорить об адаптации и деградации. Как всегда при изучении патологии, кое-что интересное оказалось выявленным, в частности, выяснилось, что происходит с метафорами, которыми мы «больше не живем» (Хазагеров 2006). В этом отношении плодотворна мысль о роли мультимедийности в политической риторике (Понтон 2016). Обращение к мультимедийности позволяет нам гораздо глубже понять жизнь

дискурсивного сообщества. В частности, это дает возможность рассмотреть роль «праздничности» в государственной культуре, которая особенно высока в тоталитарных государствах, но и повсюду сопутствует торжественному красноречию политической риторики.

4. ВЫВОДЫ

Грамматика и риторика имеют дело с системами разного типа: первая — с управляемой системой, вторая — с системой адаптационной. Первая связана с дискретными вариантами, вторая имеет дело с континуальными метаплазмами. Первая неизбежно связана с языковым стандартом и строгими систематизациями. Вторая действует через систему обновляемых номинаций и рекомендаций, ее систематика основывается на нечеткой логике и стабилизируется с помощью понятия «гомеостаз». Старое, хотя и не исконное представление о риторике как о вторичной грамматике тормозит развитие риторики, сводит ее к стилистике. Стратегии преподавания и изучения риторики принципиально отличны от стратегий преподавания и изучения грамматики.

Дискурсивный подход к языковым явлениям гораздо ближе к риторическому, чем грамматическому. Причем именно сближение с риторикой способно углубить дискурсивный подход и само понятие «дискурс». Потенции такого углубления кроются в выходе за пределы речевого акта, сколько бы ситуационных параметров (учет влияния тех или других контекстов) мы ему ни приписывали. При выходе за пределы речевого акта мы имеем дело с дискурсивным сообществом, которое и является источником адаптации, выживания в качестве сообщества, поддерживающего параметры своего существования в определенных пределах, т.е. обладающего гомеостазом. Язык, погруженный в жизнь, есть язык, погруженный в то, что стремится к самосохранению — обладает свойством гомеостаза. Это «что-то» есть, во-первых, языковая личность, выживающая в сообществе, и, во-вторых, само сообщество, подверженное различным вызовам.

© Г.Г. Хазагеров, 2018

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Аристотель Риторика III, 9 // Античные риторики. Изд-во МГУ, 1978. [Aristotel' (1978). Ritorika III, 9 (Rhetoric). Moskow. (In Russ.)]

Арнольд. И. В. Семантика, стилистика, интертекстуальность. СПб., Изд-во СПГУ. 1999. [Arnol'd, I. V. (1999). *Semantika, stilistika, intertekstual'nost'* (Semantics, Stylistics, Intertextuality).]

Витрувий. Десять книг об архитектуре. М., ИАА. 1936. С. 12. [Vitruvii. Desyat' knig ob arkhitekture. Saint-Petersburg, pp. 12. (In Russ).]

Гальчук Л.М. «Двадцатипроцентное решение»: концепция социального капитала сквозь призму английских неономинаций конца XX — начала XXI // *Вестник Российского университета дружбы народов.* Серия: Лингвистика. 2017. Т. 21. No 1. С. 126—140. [Galchuk, L.M. (2017). "The Twenty Percent Solution": the Concept of Social Capital through the New Words in English Business Discourse at the Turn of the 21st Century. *Russian Journal of Linguistics*, 21 (1), 126—140. (In Russ).]

Гаспаров М.Л. Хиазм // *Литературная энциклопедия терминов и понятий*. М., НПК «Интелвак», 2001. С.1167. [Gasparov, M.L. (2001). Khiazm (Chiasm) *Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatii*. Moscow, pp. 1167. (In Russ.)]

Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж.-М., Мэнге Ф., Пир Ф., Тринон А. Общая риторика / пер. с фр. М., КомКнига. 2006. [Dubois, J., Edeline, F. Klinkenberg, J.M., Minguet, P, Pire, F., Trinon, H. (2006). Obshaya ritorika (General Rhetoric). per. fr. Moscow: KomKniga. (In Russ).]

Карасик В.И. Языковое проявление личности Волгоград. Парадигма, 2014. [Karasik, V.I. (2014). *Yazykovoe proyavlenie lichnosti* (Language Personality Manifestation). Volgograd. (In Russ.)]

Кибрик А.Е. Куда идет современная лингвистика // Лингвистика на исходе XX века. М., Русская филология, 1995. С. 33—52. [Kibrik, A.E. (1995). Kuda idet sovremennaya lingvistika (Where Modern Linguistics Goes). Lingvistika na iskhode XX veka, Moscow: Russkaya filologiya, pp. 33—52. (In Russ.)]

Клушина Н.И. Дискурс-анализ и стилистика: интегративные методы исследования медиа коммуникации // *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика*. Т. 20, № 4. 2016. С. 78—90. [Klushina, N.I. (2016). Discourse and Stylistics: Integrative Methods of Research of Media Communication. *Russian Journal of Linguistics*, 20 (4), 78—90. (In Russ.)]

Копнина Г.А. Культура русской речи. Энциклопедический словарь-справочник. М., Наука. 2003. С. 745—746. [Kopnina, G.A. (2003). Kul'tura russkoi rechi (Culture of Russian Speech). Entsiklopedicheskii slovar'-spravochnik, 745—746. (In Russ.)]

Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации: составление английских и русских лингвокультурных традиций. М., Языки славянских культур. 2009.[Larina, T.V. (2009). Kategoriya vezhlivosti i stil' kommunikatsii: sostavlenie angliiskikh i russkikh lingvokul'turnykh traditsii (Politeness and Communicative Styles: comparative analyses of English and Russian communicative traditions). Moscow: Yaziki slavyanskikh kul'tur. (In Russ.)]

Лахманн Рената Демонтаж красноречия. СПб., Академический проект. 2001. [Lakhmann, R. (2001). Demontazh krasnorechiya (Eloquence Dismantle). Akademicheskii proekt, St. Petersburg (In Russ.)]

Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., Наука. 1970 [Likhachev, D.S. (1970). *Poetika drevnerusskoi literatury* (Poetics of Old Russian Literature). Moscow. (In Russ.)]

Ломоносов М.В. О пользе книг церковных // Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 7. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 589—590 [Lomonosov, M. V. (1952). *O pol'ze knig tserkovnykh* (On the Benefits of Church Books) Lomonosov M. V. Poln. sobr. Soch. Moscow, 589—590. (In Russ.)]

Ломоносов М.В. Избранные произведения в 2 т. Т.2. История. Филология. Поэзия. М.: Наука, 1986. С. 158—160. [Lomonosov, M.V. (1986). Izbrannye proizvedeniya v 2 t. (Selected Works in 2 volumes) T. 2. Istoriya. Filologiya. Poeziya. Moscow, 158—160. (In Russ.)]

Маркасова Е.В. Представление о фигурах речи в русских риториках XVII — начала XVIII века. Петрозаводск. ПетрГУ. 2002. [Markasova, E.V. (2002). Predstavlenie o figurakh rechi v russkikh ritorikakh XVII — nachala XVIII veka (Figures of Speech in Russian Rhetoric of the XVII — early XVIII century). Petrozavodsk. (In Russ.)]

Матезиус В. О необходимой стабильности литературного языка // В. Матезиус Избранные труды по языкознанию. УРСС. М., 2003.С.194—209. [Matezius, V. O. (2003). O neobkhodimoi stabil'nosti literaturnogo yazyka (On the Necessity of Stability of the Literary Language). V. Matezius Izbrannye trudy po yazykoznaniyu. Moscow, pp. 194—209. (In Russ.)]

Москвин В.П. Аргументативная риторика: теоретический курс для филологов. Ростов-на-Дону, Феникс. 2008. [Moskvin, V.P. (2008). Argumentativnaya ritorika: teoreticheskii kurs dlya filologov (Argumentative Rhetoric: theoretical course for philologists). Rostov-on-Don. (In Russ.)]

Об образех // Изборник Святослава 1073 года: факсимильное издание. М.: Книга, 1983. Лист 4. [*Ob obrazekh*. Izbornik Svyatoslava 1073 goda: faksimil'noe izdanie. Moscow, List 4. (In Russ.)]

Ору С. Две гипотезы о происхождении соссюровской концепции языковой значимости // Сильвен Ору История. Эпистемология. Язык / пер. с фр. М.: Прогресс, 2000. С. 274—280. [Oru, S. (2000). Dve gipotezy o proiskhozhdenii sossyurovskoi kontseptsii yazykovoi znachimosti (Two Hypothesis on the Conception of Language Personality by Saussure // Sil'ven Oru. Istoriya. Epistemologiya. Yazyk / per. s fr. M.: Progress, 2000, pp. 274—280. (In Russ.)]

Пиотровский Р.Г. Текст, машина, человек. Л. «Наука». 1973. [Piotrovskii, R. G. (1973). Tekst, mashina, chelovek (Text, Machine, Man). L., Nauka. 1973. (In Russ.)]

Солнцев В.М. Вариантность // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 80—81. [Solntsev, V.M. (1990). *Variantnost'* (Variability). Lingvisticheskii entsiklopedicheskii slovar'. Moscow, 80—81. (In Russ.)]

Степанов Г.В. О двух аспектах понятия языковой нормы // Степанов Г.В. Язык. Литература. Поэтика. М.: Наука, 1988. [Stepanov, G.V. (1988). O dvukh aspektakh ponyatiya yazykovoi normy (Two Aspects of Language Norme). Stepanov G.V. Yazyk. Literatura. Poetika. Moscow. (In Russ.)]

Стернин И.А. Общественные процессы и развитие современного русского языка. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. [Sternin, I.A. (2015). Obshchestvennye protsessy i razvitie sovremennogo russkogo yazyka (Social Processes and Development of Modern Russian Language). Moscow-Berlin. (In Russ).]

Хазагеров Г.Г. «О образех»: Иоанн, Хировоск, Трифон // *Известия РАН, сер. «Литература и язык»*. № 1, 1994. [Khazagerov, G.G. (1994). *«*O obrazekh»: Ioann, Khirovosk, Trifon. *Izvestiya RAN, ser. «Literatura i yazyk»,* № 1. Moscow. (In Russ.]

Хазагеров Г.Г. Ось интенции и ось конвенции: в поисках новой функциональности в лингвокультурологических исследованиях // *Социологический журнал*. 2006. № 1/2. [Khazagerov, G.G. (2006). Os' intentsii i os' konventsii: v poiskakh novoi funktsional'nosti v lingvokul'turologicheskikh issledovaniyakh (Intention and Convention Axis: Searching New Functionality in Cross-Cultural Studies). *Sotsiologicheskii zhurnal*. № 1/2, Moscow. (In Russ.)]

Хазагеров Г.Г. Риторические фигуры: три аспекта «отклонения от обычного выражения» и перспективы изучения теории фигур. (Электронный ресурс: khazagerov.com 2009). [Khazagerov, G.G. (2009). Ritoricheskie figury: tri aspekta «otkloneniya ot obychnogo vyrazheniya» i perspektivy izucheniya teorii figur (Rhetorical Figures: Three Aspects of "Deviation from Ordinary Expression" and Perspectives of Studying the Theory of Figures). Retrieved from: khazagerov.com (In Russ).]

Хазагеров *Г.Г.* Убеждающая речь как гомеостаз // *Социологический журнал*. 2001. № 3. [Khazagerov, G.G. (2001). Ubezhdayushchaya rech' kak gomeostaz (Persuasive Speech as homeostasis). *Sotsiologicheskii zhurnal.* № 3. (In Russ.)]

Шуази Огюст История архитектуры. М., ИАА. 1937. Т. 2. [Shuazi, O. (1937). *Istoriya arkhitektury* (History of Architecture). T. 2. Moscow. (In Russ.)]

Aristotle's Rhetoric (2010). Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from: https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-rhetoric/.

Cannon, W.B. (1932). The wisdom of the body. W.W. Norton & Company, Inc.

Genett, G. (1966). Figures. Paris: Seuil.

Khazagerov, G. (2016). On Monstrosity of Metaphor in Cognitive Paradigm. Proceedings of Southern Federal University. Philology, 2, 91—101.

Lancham, R.A. (1968). A Handlist of Rhetorical Terms. A Gide for Students of English Literature. Berkley and Los Angeles.

Haugen E. (1972). The Ecology of language. Essays by Einar Haugen. Stanford: Stanford University Press.

Jacobson, R.O. (1956). Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances in Halle M., Jacobson R. Fundamentals of Language "Janua Linguarum", "Mouton Publishers" Gravenhage, 55—82.

Kecskes, I. (2016). A dialogic Approach to Pragmatics. *Russian Journal of Linguistics*, 20 (4), 26—42.

Leff, M. (2006). Up from theory: Or I Fought the topoi and the topoi won. *Rhetoric society* 36 (2), 203—211.

Martin, J R (2017). The Discourse Semantics of Attitudinal Relations: Continuing the Study of Lexis, *Russian Journal of Linguistics*, 21 (1), 22—47.

Ponton, D. (2016). Movements and Meanings: Towards an Integrated Approach in Political Discourse Analysis. *Russian Journal of Linguistics*, 20 (3), 122—139.

Qunitilian's Institutes of Oratory (1909). L. George Bell and sons. Vol. II. IX. 3.85.

Stubbs, M. (1983). Discourse Analyses: the Socialinguistic Analyses of Natural Language. Oxford.

Wescott, R.W. (1971). Linguistic iconism. *Language*, 47 (2).

Τρύφωνος περὶ τρόπων (1956). Spengel, L. Rhetores Graeci ex recognicione, Lipsiae: Teubner, 1856, vol. III, p. 189.

История статьи:
Дата поступления в редакцию: 20 ноября 2017
Дата принятия к печати: 15 декабря 2017

Для цитирования:
Хазагеров Г.Г. Риторика, грамматика, дискурс, гомеостаз // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2018. Т. 22. № 2. С. 357—372. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-357-372.

Сведения об авторе:
ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ХАЗАГЕРОВ — доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка Южного федерального университета. Автор книг и статей по риторике и русской филологии, вузовских учебников по риторике. *Сфера научных интересов:* риторика, стилистика, рецепция античных теорий стиля и учения о тропах и фигурах в теории и практике отечественного красноречия. *Контактная информация*: e-mail: khazagerov @gmail.com

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-357-372

RHETORIC, GRAMMAR, DISCOURSE AND HOMEOSTASIS

GEORGIY G. KHAZAGEROV

Southern Federal University
105 Sadovaja St., 344005 Rostov-on-Don, Russian Federation

Abstract

The paper compares the rhetorical, grammatical and discourse approaches to the study of language by focusing on issues of systematization and the contrast between controlled and adaptive systems. The key category of the analysis is homeostasis, a system to maintain its functions within certain limits. First, the study interprets the social meaning of rhetorical systemizations, traditionally interpreted as pre-scientific

and terminologically laden, and identifies the reasons why the ancient systematization was successful but cannot be applied to ɵ grammar. Then the idea of rhetoric as a secondary grammar is challenged by contrasting grammar as a controlled system and rhetoric as an adaptive system; while grammar selects discrete variants, rhetoric constructs continual metaplasms. Similarities between rhetoric and grammar concerning unmarked forms are also considered irrelevant because neutral forms cannot be produced for each trope and figure, which is proven by rhetorical period. Finally, the paper states the proximity of the discourse and rhetorical approaches. Different interpretations of discourse demonstrate different relations with rhetoric. The discursive approach is productive beyond the speech act, which means that the discursive community can be considered in terms of homeostasis. This idea is illustrated by the problems faced by individuals in joining the academic discourse community, communicating within it, and the viability of the community itself. The difference between the rhetorical and grammatical approaches determines the strategies of language teaching and language study. The paper concludes that the rhetorical approach can contribute to the concept and framework of discourse if this framework is constructed with reference to homeostasis.

Keywords: *rhetoric, grammar, discourse, system, homeostasis*

Article history:
Received: 20 November 2017
Revised: 5 December 2017
Accepted: 15 December 2017

For citation:
Khazagerov, Georgiy (2018). Rhetoric, Grammar, Discourse and Homeostasis. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (2), 357—372. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-357-372.

Bionote:
GEORGIY G. KHAZAGEROV is Doctor of Philology, Full Professor, head of Russian Language Department of Southern Federal University. *Research interests:* Rhetoric, Stylistics, Cultural, Socio-Psychological, Linguistic problems of the Russian language. *Contact information:* e-mail: khazagerov@gmail.com

Russian Journal of Linguistics
Вестник РУДН. Серия: ЛИНГВИСТИКА
2018 Vol. 22 No. 2 373—388
http://journals.rudn.ru/linguistics

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-373-388

О ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЯХ МЕЖДУ РУССКИМИ ГРАММАТИКАМИ ДЛЯ РЕЦЕПЦИИ И ДЛЯ ПРОДУКЦИИ

И.Г. МИЛОСЛАВСКИЙ

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
119991, Россия, Ленинские горы 1, стр. 13—14

Автор, рассматривая лингвистические основания для обеспечения рецептивных и продуктивных действий на русском языке, утверждает, что как при рецепции, так и при продукции речь прежде всего идет о соотношении языка и объективной действительности. О той действительности, которая прячется как часть «дано» за словами (лексика), словоформами (грамматика) в предложении и/или высказывании при рецепции и которую «требуется воплотить» в языковых формах при продукции. Утверждая принципиальную разницу между грамматическими характеристиками, ориентированными на сочетаемость (род, падеж имен) и ориентированными на действительность (число существительных; наклонение, время глаголов), автор утверждает, что в процессе рецепции все они должны быть непременно осмыслены на предмет соотносительности/несоотносительности с реальной действительностью, а в процессе продукции никогда, кроме вырожденных случаев, они не выступают в качестве цели речевой деятельности, оставаясь или средством для выражения замысла производителя речи, или регулятором собственно языковых правил.

Ключевые слова: *грамматика, русский язык, рецепция, продукция, значение, сочетаемость*

1. ОТ ГРАММАТИКИ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ — К ГРАММАТИКЕ ДЛЯ РЕЧЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Необходимость создания новой грамматики русского языка ясно осознается профессиональным сообществом (Плунгян 2016). Это осознание в некоторой степени обусловлено изменением самого русского языка в конце XX — начале XXI века. В то же время это осознание связано также с колоссальным увеличением возможностей привлечения и обработки самого разнообразного лингвистического материала. При этом обычно остаются в тени фундаментальные вопросы, относящиеся к самой **цели** (Доброхотов 2010) (не ритуальной, но научной и практической) создания такой грамматики, а также к **верификации** (Апель 2001) соответствующих положений, как проверке того, насколько *грамматика* в значении «описание» соответствует *грамматике* в значении «устройство». Более того. Не подвергается глубокому осмыслению то важнейшее обстоятельство, что все существующие русские грамматики (в смысле «описания») представляют собой результат **классификаций** (Wade 2006, Проблемы функциональной грамматики. Принцип естественной классификации 2013). Преимущественно по формальным основаниям, в рамках которых, как кажется, вожделенная адекватность между «описанием» и «устройством» в некотором смысле достигнута. В гораздо меньшей

степени «закрыли тему» классификации по основаниям семантическим. Подчеркну еще раз, что в обоих случаях перед нами именно классификации, внутри которых конкретное наполнение самых разнообразных рубрик, подрубрик, пунктов и пунктиков радикально облегчилось в условиях существования корпуса русского языка. В результате в геометрической прогрессии растет число публикаций, классификационных по цели исследования, где важнейшие вопросы: 1) внятности и ценности фундаментальных оснований классификации, 2) подчиненности именно такой, а не иной группировки фактов с конкретными целями исследования, 3) верификации сделанных выводов и обобщений — все эти три важнейших вопроса не подвергаются критическому осмыслению, делая классификацию и самоцельной, и самоценной (Ср. Fillmore 1988, Langacker 2008, Hudson 2010).

Почти тотальное господство классификационных по методу грамматических исследований в области русистики бессознательно восходит к взглядам младограмматиков, видевших свой предмет исключительно в уже представленных текстах. Не стану задерживаться на парадоксальном (и успешном) стремлении извлечь из письменных текстов фонетические, звуковые, диахронические законы. Соссюровское изучение языка «ради самого языка» также способствовало закреплению классификаций как важнейшего средства выделения связанных и взаимодействующих между собой языковых сущностей (Соссюр 2004).

Однако современное научное знание весьма четко противопоставляет, в частности, такие области, как геология или астрономия, таким, как, например, химия или энергетика. Первые — могут лишь изучать свой объект, вторые — на основе успешного предварительного изучения могут и должны **создавать** объекты, обладающие заранее заданными свойствами.

Замечу, что все науки движутся именно в направлении к возможности создавать. Ценность, например, биологии (и медицины) не столько в способности констатировать факты, явления, процессы, связи, закономерности, но в том, чтобы уметь воздействовать на них в желательном направлении (Лекторский 2005).

Нетрудно видеть, что лингвист принципиально отличается от геологов или астрономов тем, что его объект — язык — существует не только в виде буквенной или звуковой записи, но непременно и в виде создаваемых здесь и сейчас соответствующих произведений, которые состоят из слов, реализуют определенные правила, собственно языковые и коммуникативные и т.п.

Иными словами, лингвист должен предложить те единицы и такие процедуры, которые позволяли бы понять, т.е. соотнести с реальной действительностью, то, что прочитано и услышано. Причем в случае с мертвыми языками можно было бы и ограничиться только прочитанным. В случае же с живыми языками совершенно необходимо еще и предложить такие единицы и процедуры, которые обеспечивали бы не только чтение (с пониманием смысла) и аудирование (понимание того, что произнесено другим), но также письмо и говорение. При этом на первом месте в процессе создания стоит вовсе не орфография и орфоэпия, но прежде всего соответствие замыслу производителя речи. Эта мысль совершенно очевидна для двуязычного словаря, который, например, может быть или русско-английским,

и тогда он, толкуя исходные русские слова (семасиология, рецепция), находит затем средства для воплощения именно этого содержания средствами английского языка (ономасиология, продукция). Или англо-русским, благодаря которому для смыслов, вычленяемых у английских слов, отыскиваются выражающие этот смысл единицы русского языка. Англичанин использует русско-английский словарь для понимания русских текстов, а англо-русский — для создания текстов на русском языке. Русский же использует русско-английский словарь для создания текстов на английском языке, а англо-русский — для понимания написанного (произнесенного) по-английски. Tertium non datur!

К сожалению, не всегда осознается, что одноязычный русский толковый словарь — это для понимания читаемого и слышимого. А если я не могу подобрать какое-либо нужное слово, когда пишу и/или говорю, то толковый словарь мне не помощник. Как и не всегда осознается, что словарь синонимов — это для продуктивных речевых действий. Он — помощник в стремлении производителя речи обрести состояние «ужели слово найдено?», о котором так много написано (ср. Апресян и др. 2004). А сугубо сочетаемостные характеристики очень важны только для продуктивных речевых действий, а для чтения и аудирования на родном языке они практически не слишком полезны, кроме, может быть, случаев восприятия речевых произведений, созданных инофоном.

Увы, в русской грамматике (как в «описании») традиционно рецепция и продукция не противопоставляются. Речь также редко идет о фундаментальном противопоставлении того, имеется ли в виду грамматика читающего/слушающего (рецептивная, взаимодействующая с толковым словарем) или грамматика пишущего/говорящего (продуктивная, активная, взаимодействующая с идеографическим словарем или словарем синонимов). Это неразличение не только игнорирует соображения, высказанные еще около века назад Л.В. Щербой о пассивной и активной грамматике[1]. Оно выглядит весьма печально на фоне современного деятельностного (а не классификационного!) подхода, связанного с именами Л.С. Выготского (Выготский 1999), А.Н. Леонтьева (Леонтьев 1975), А.Р. Лурия (Лурия 1979) и утверждающегося ныне во всех науках о человеке, от изучения разнообразных речевых расстройств до педагогики и менеджмента.

2. СОЧЕТАЕМОСТНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РЕЦЕПЦИИ И ПРОДУКЦИИ

Традиционная русская грамматика, оперирующая грамматическими категориями, такими, например, как род, число, падеж имен, наклонение, время, лицо, вид, залог глагола, по существу имеет дело с феноменами двух принципиально разных типов. Первые — род и падеж существительных — выделяются на основе сочетаемостных свойств слов и словоформ, т.е. на основе характеристик единиц **языка**. Вторые — число существительных, наклонение, время глагола — на основе преломленных языком характеристик реальной **действительности** (Сепир 2002).

[1] Как-то не хочется связывать деятельность читающего/слушающего с пассивностью. Чтение и аудирование это активная работа, хотя и отличная по своей сути от письма и говорения. Более предпочтительной кажется другая номинация: «рецептивная» vs «продуктивная».

Утвердившееся в русской грамматической традиции как фундаментальное убеждение в однопорядковости этих совершенно разных оснований воплощается везде — от академических грамматик до школьного грамматического разбора. А между тем неразличение характеристик собственно языковых единиц и характеристик реальной внеязыковой действительности, которую язык каким-то образом отражает, принципиально порочно. Порочно именно в силу неразличения материи языка и отражаемой им действительности. А будучи положенным в основу рассуждений, это нестроение ведет к абсолютному непониманию того, что «части» языка как средства обозначения действительности (цель, смысл, оправдание его существования!) смешиваются с теми его «частями», которые существуют как собственно языковые проявления. Происходит примерно то же самое, когда, например, в деятельности некоего министерства смешиваются функции, ради которых оно существует (оборона, экономика, иностранные дела и т.п.), с работой хозяйственных служб этого министерства (состояние зданий, столовая, медобслуживание сотрудников и т.п.). Разумеется, успешное исполнение первого как-то связано со вторым, но это все-таки принципиально разные вещи. В теории систем хорошо известны случаи, когда институт, созданный ради каких-либо целей, постепенно превращается в институт, существующий исключительно ради самоподдержания. (Ср. *Хвост виляет собакой*) (Бодияр 2000). К счастью, с языками такого не происходит, они развиваются в совершенно противоположном направлении (Мартине 1960), но при их описании различение аспектов, направленных на действительность, и аспектов, характеризующих собственно язык, — это фундаментальное противопоставление обычно не рассматривается, по крайней мере, в русской традиции, как один из краеугольных камней.

Очевидно, что род существительных в русском языке — это сугубо сочетаемостная характеристика слова: *город большой был — деревня большая была — село большое было*. И при рецепции эту характеристику, позволяющую в некоторых случаях лишь лучше ориентироваться в связях слов в тексте, но не служащую для того, чтобы понимать его, можно просто игнорировать. Широко растиражированные и очень завлекательные примеры использования родовой характеристики слов в качестве намека на пол действующих существ выступают лишь в фольклоре и художественных текстах, а в других коммуникативных областях реально никак не представлены (Виноградов 1947). Кроме того, осмысление грамматического рода существительного как пола существа — это никак не номинативная часть значения соответствующего слова, но в лучшем случае — его ассоциативная часть (Mercier 2002).

Ситуация, однако, меняется, когда реципиент встречается с существительными так наз. общего рода (*соня, староста, забияка* и т.п.), где сочетаемостная по своей сущности характеристика получает важное семантическое наполнение: *хороший староста был* (мужской пол) — *хорошая староста была* (женский пол). То же самое происходит и с личными местоимениями *я* и *ты*. Не углубляясь в достаточно хорошо изученный вопрос о соотношении рода и пола, подчеркну принципиальную сторону дела, а именно превращение сочетаемостной характеристики в семантическую. Задача рецептивной грамматики в том, чтобы определить абсолютно точно и полно условия такого преобразования.

Принципиально такое же явление наблюдается и при противопоставлении в русском языке кратких и полных прилагательных. Будучи по своей сути явлением сочетаемостным (краткие выступают лишь в качестве предиката, но не определения, полные — в обеих позициях), это противопоставление иногда (когда же именно?!) получает семантическое наполнение: *она счастлива* (в данный момент) — *она счастливая* («ей везет», т.е. «вообще»); *брюки узкие* («констатация характеристики») — *брюки узки* («не годятся для данного человека»).

То же самое принципиальное соображение справедливо и в отношении падежа существительных. Эта характеристика, как и род, по своей природе сочетаемостная (Chvany 1996, Schäfer 2008, Corbett 2008). Только сочетаемость эта основывается не на свойстве отдельных слов, но на существовании определенных блоков, которые, во-первых, состоят из **всех** словоформ существительных русского языка, а во-вторых, образуют грамматически, но не обязательно лексически, правильные сочетания только в определенных условиях (Зализняк 1967). Например, *любуюсь домиком, столом, картиной, математикой, окном, свойством* и т.д. и т.п. (творительный падеж!). Это грамматически в значении «объект любования» правильно. И тот же ряд после *с* в значении «совместно» также образует грамматически правильные словосочетания. А вот этот же ряд после предлога *к* образует грамматически совершенно неправильные сочетания. После этого предлога должен выступать ряд *домику, столу, картине, математике, окну, свойству* и т.д. и т.п. (дательный падеж). Этот же ряд выступает в качестве называния того субъекта, который испытывает состояния, называемые словами *скучно, весело, интересно* и тому подобными.

Иными словами, падеж можно принципиально уподобить одному из типов деталей в детской игре Lego. С деталями A соединяются детали типа X, с деталями B — детали типа Z и т.д. и т.п., но A не соединяется с Z, а B — с X. Однако падеж, будучи по своей природе проявлением сочетаемости, иногда (когда же именно?!) получает семантическое наполнение, как это уже отмечено выше для рода.

Таким образом, падежная принадлежность, в частности, после предлогов, требующих после себя лишь одного-единственного падежа, не представляет для реципиента никакой семантической ценности, а следовательно, может/должна быть проигнорирована. Зато в других случаях (каких же именно?!) падежная характеристика (и только она!) позволяет обозначить участников ситуации: *сын принес* (именительный — «субъект»), *сына принес* (винительный — «объект»), *сыну принес* (дательный — «адресат»). Добавлю, что если представить падежную парадигму в абсолютном вакууме, т.е. без всякого воздействия конкретной ситуации или знаний человека о жизни вообще, а также без какого-либо словного окружения, неизбежно придется констатировать следующее: *дом — дома — дому — домом — доме* семантически (в вакууме!) ничем не различаются. Семантические характеристики появляются тогда, и только тогда, когда «вакуумная упаковка» нарушается. При этом, однако, при совпадении форм разных падежей семантическое их осмысление может оставаться неопределенным: *бытие определяет сознание, телевизор победил холодильник, кошелек победил отдых, рубль обскакал*

доллар. Во всех этих примерах каждая из падежных форм может быть понята и как обозначение субъекта, и как обозначение объекта. Зато в случае *Каин убил Авеля* и многих других именно падежные формы (и только они!) позволяют различить субъект и объект (Русская грамматика 1980). Все сказанное означает, что рецептивная грамматика (как «описание») должна четко и полно сообщить читающему/слушающему, когда же именно он может/должен просто игнорировать падежные характеристики существительных, а когда быть к ним чрезвычайно внимательным, чтобы понять с их помощью, каким же образом распределяются роли участников ситуации.

Ситуация принципиально меняется, если посмотреть на род и падеж существительных с позиций производителя речи. Первое и самое главное — говорящий/пишущий, если он, конечно, в здравом уме и не нацелен на какие-либо сугубо формальные упражнения и/или ухищрения, никогда не может иметь своей целью употребление слова определенного рода и/или определенной падежной словоформы. Его главная цель — выразить определенный смысл, однако при этом существует и другая задача (не цель!) — соблюсти определенные чисто языковые правила. Это противопоставление особенно важно при обучении иностранным языкам. На вопрос ученика, написавшего или произнесшего некую фразу, «правильно?» учитель обычно должен ответить: «Не знаю. Вы совершили (или не совершили) ошибку против языка (Так не принято говорить / Вы нарушили такое-то правило), но каков был Ваш семантико-коммуникационный замысел (прямой ответ, грубость, Вы не поняли вопроса и т.д. и т.п.), я не знаю».

Неудачи многих теоретических работ и практических пособий по лексике и грамматике в рамках преподавания РКИ обусловлены прежде всего невниманием к тому, что пишущий/говорящий не имеет своей целью употребить определенное слово и/или грамматическую характеристику, но стремится выразить мысль, воплощая ее разными средствами, возможными или невозможными в соответствии с собственно языковыми правилами. И в этом коренное отличие пишущего/говорящего, для которого точка отсчета это именно встреченное слово, или грамматическая характеристика, а не смысл, который производителю речи требуется тем или иным образом (sic!) воплотить. При этом широко распространенные формулировки «употребление» или «функционирование» лишь затемняют это фундаментальное для обеспечения речевой деятельности неразличение.

Как кажется, авторы, употребляющие эти слова, не задумываются над тем, что любое «употребление» языковых единиц непременно направлено на некоторую цель и лишь в болезненных состояниях может быть самодостаточным. Точно так же «функционирование» языковых средств само по себе бессмысленно, поскольку это «функционирование» непременно и обязательно каким-то образом связано с внеязыковой действительностью, причем либо в направлении к последней (рецепция), либо от нее (продукция).

В действительности не существует задач типа «употребить такой-то род/падеж». Существуют задачи другого типа, а именно отразить некоторые характеристики действительности. Например, обозначить женский пол живого суще-

ства. Эту характеристику чаще всего следует оформлять суффиксальными средствами как в условиях привативной оппозиции (*учитель — учительница*), так и в условиях эквиполентной оппозиции (*москвич — москвичка*). Реже — лексически (*баран — овца*). Однако для слов общего рода эта задача решается в рамках эквиполентной оппозиции исключительно с помощью именно родового противопоставления согласованных прилагательных: *ужасный соня* (мужской пол) — *ужасная соня* (женский пол).

Точно таким же образом реальная задача — обозначить объект действия — решается с помощью разных падежных словоформ: *читать книгу* (винительный), *мешать соседям* (дательный), *командовать полком* (творительный) и даже *надеяться на успех* (предложно-падежная конструкция). Осознание всех этих реальных, семантических, задач для успешной продуктивной речевой деятельности совершенно необходимо, но отнюдь не достаточно. Надо еще соблюсти и собственно языковые правила, часто лишенные для современного состояния языка каких-либо семантических оснований. Соединить по правилам, регулирующим родовую принадлежность существительных, согласуемые с этими существительными определяющие слова, соединить, следуя не только замыслу, но и соблюдая языковые правила тоже, глагольные формы с падежными словоформами существительных. При этом соответствующие рекомендации для продукции будут выступать тем более надежной верификацией тех сведений, которые представлены для рецепции и vice versa, чем больше фактов будет привлечено.

3. НОМИНАТИВНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РЕЦЕПЦИИ И ПРОДУКЦИИ

Дело выглядит несколько иначе в случае с теми языковыми характеристиками, которые коррелируют с объективной действительностью, например, числом существительных (Corbett 2000), временем и наклонением глагола. В отличие, например, от рода и падежа, т.е. характеристик в своей основе сочетаемостных и лишь иногда — более часто, как падеж, или более редко, как род, — обретающих семантическую ценность, число существительных, время, наклонение глаголов по своей природе семантичны. Они опираются именно на объективную действительность, а не на собственно языковые правила (или капризы?). Хочу подчеркнуть, что замечательный «Грамматический словарь русского языка» [Зализняк Андр. 1977], позволяя построить от словарной формы слова всю его парадигму, ориентирован именно на преобразования в рамках **языковой** системы координат, а не на отражение той **действительности**, которая стоит (рецепция) или может стоять (продукция) за всеми и каждым таким преобразованием.

Для числа, времени, наклонения нулевая семантическая ценность обычно выглядит странной. Однако, как и при обращении к толковому словарю, проблема реципиента прежде всего, как кажется, упирается в многозначность, в данном случае такого знака, формальная сторона которого представляет собой флексию. Именно поэтому реципиент не может удовлетвориться соотнесением с внутренней формой словосочетаний, называющих соответствующие характеристики. Иными

словами, грамматическое «прошедшее время» с его показателями в виде *-л-* (*писал*) или *Ø* (*нес*) в личных глагольных формах может обозначать и «время в прошлом», и иметь также и некоторые другие значения. Ср., с одной стороны, с многозначностью лексических единиц, а с другой — с обычным отсутствием всякой корреляции с действительностью у показателей рода и/или падежа. При этом как в одном, так и в другом случае грамматика для рецепции (как «описание») должна дать ответы на вопросы, в каких конкретных обстоятельствах появляется (создается?) то или иное конкретное значение. Либо как отсутствие всякой связи с реальностью, т.е. «нуль» (род, падеж существительных), либо как замена вполне конкретного, «основного», значения на другие конкретные значения, в том числе и нулевое. Выдвигая в качестве непременного требования к грамматике для рецепции не простую констатацию полного, исчерпывающего набора разных возможных значений, акцентирую внимание на необходимости внятного установления тех ситуаций и контекстных окружений, которые приводят именно к определенному значению из числа представленных в возможном наборе (Ariel 2008).

Оперируя с достаточно длинными последовательностями словоформ в тексте, следует иметь в виду, что отдельные представленные в этих последовательностях значения отнюдь не всегда складываются по принципу простой аддитации, когда 1 + 1 = 2 (Гак 1988). Например, *N пришел, буркнул что-то вроде «здрасьте» и пошел себе наверх* обозначает несколько событий, имевших место в прошлом. Однако, следуя за предложением, дающим общую характеристику N, как, например, *N не любит много разговаривать* (*нелюдим, обычно неприветлив, сосредоточен на себе и своих делах* и т.п.), уже упомянутые выше словоформы *пришел, буркнул, пошел* теряют значение прошедшего времени, обозначая действия обычные, вневременные (ср. *придет, буркнет, пойдет*, где также не сохраняется значение «будущее событие», но выступает то же значение, что и с формами прошедшего времени). Безусловно, грамматика для реципиента также должна отразить все такие случаи, неизбежно в силу своей целенаправленности превращаясь тогда уже в грамматику текста.

Справедливости ради отмечу, что в рассмотренном и подобных случаях принципиально сомневаюсь в целесообразности выделения множества значений, скажем, у форм прошедшего времени глагола. Речь, как кажется, следует вести о правилах взаимодействия содержания флексии, полученного из его рассмотрения в условном вакууме, во-первых, со значениями других формально представленных в тексте словоформ, во-вторых, со знаниями о конкретной ситуации общения, а также, в-третьих, со знаниями о жизни вообще (Арутюнова 2003).

Разумеется, два последних обстоятельства, выступая как исключительно важные потенциальные слагаемые, не имеют обычно никакого формального выражения, хотя и предстают в сознании реципиента, как и в сознании продуцента речи. Очевидно, что в предложениях *Здесь продают рыбу, Построено из кирпича, Дом журналиста* единственное число существительных *рыба, кирпич, журналист* вовсе не предполагает один-единственный «предмет», но заведомо несколько однородных предметов (*рыб, кирпичей, журналистов*). В предложениях

Отец согласился и *Отец, кажется, согласился* глаголы выступают в одном и том же, изъявительном наклонении, однако обозначают события, весьма различно соотносящиеся с действительностью. И формы повелительного наклонения, в условном вакууме называющие призыв к соответствующему действию (или состоянию), могут, хотя и значительно реже, обозначать и условие (*И будь я негром преклонных годов...*), и мгновенное прошлое действие (*А Алексей Иваныч и заколи поручика*, где неожиданность обозначается через *и* (союз? что он соединяет?), и состояние (*А я и позабудь, где Дуня-то живет*) (Аванесов, Сидоров 1945). И помощь реципиенту не завершается исчислением таких возможностей, но предполагает определение тех условий, которые позволяют правильно установить такое соотнесение (Ср. перечень возможных значений многозначного слова или слов-омонимов, с одной стороны, и, с другой стороны, правила выбора в тексте соответствующего значения из такого перечня).

Замечу, что нередко имеющийся контекст, всегда более или менее ограниченный, допускает разные решения. *Петя влюбился* (*скис, заболел*) обозначают состояние Пети в настоящем. (*Петя влюблен, кислый, больной* или *болен*), что возникает как результат сложения прошедшего времени словоформы и семы «начинательности» в глагольной лексеме со значением «состояние». Однако в случае *Когда Пете было 12 лет, он впервые влюбился*, благодаря наречию *впервые*, а также предполагая нечто известное о нынешнем возрасте Пети, т.е. с учетом знаний о ситуации, и о жизни вообще, вероятнее всего предполагать, что речь идет не о нынешнем, а о прошлом состоянии Пети. Однако и совершенно исключать «нынешнюю» возможность, пусть и менее вероятную, также нельзя. Ср. также *Петя заболел гриппом* и *Петя заболел туберкулезом*, где прогноз на лучшее будущее сильно различается, хотя бы по времени, отделяющему начало состояния до его прекращения. Однако это никак не еще одно из значений прошедшего времени, но результат (sic!) сложения значения словоформы прошедшего времени с другими формально и не выраженными, но существующими в коммуникации знаниями о жизни.

Думаю, что принципиально не следует смущаться прямых утверждений, что некоторая характеристика действительности нередко остается в слове или форме, вообще никак не выраженной. Например, «пол» в *собака* и *волк*, как и в некоторых других названиях животных (ср. *баран, волчиха*). Или временная отнесенность действия-состояния во многих личных формах настоящего времени глаголов. Внесение значений, идущих из контекстов разного типа (см. выше), в значение самой грамматической характеристики представляется результатом слишком большой увлеченности автора именно своим предметом, увлеченности, обычно идущей во вред осмыслению сущности самого этого предмета (Норман 2015).

4. О ВЕРИФИКАЦИИ ГРАММАТИК ДЛЯ РЕЦЕПЦИИ И ДЛЯ ПРОДУКЦИИ

Изложенные выше соображения о том, что можно и должно складывать только смыслы, т.е. номинативную ценность, а не лексическое (коррелирующее с действительностью) и грамматическое (иногда коррелирующее, а иногда и никак

не коррелирующее с действительностью), может быть верифицировано через обратную по отношению к рецепции процедуру, а именно через продукцию. Подобно тому, как деление проверяется умножением, вычитание — сложением, а успешность разбора, например, часов их сборкой, после которой часы идут, а лишних деталей не остается...

Хочу подчеркнуть, что, никак не претендуя на моделирование реальных психофизиологических процессов порождения речи, имею в виду чисто семантический подход к созданию речевых произведений. В рамках этого подхода непременно следует различать оформление смыслов, означивание ситуаций, воплощение номинативных характеристик, с одной стороны, и, с другой стороны, чисто формальные правила (и запреты) на сочетаемость знаковых языковых единиц между собой, будь то морфы, словоформы, лексемы или предложения. При этом представляется, что базисным выступает определенное номинативное содержание. А именно, обозначение (или сокрытие) пола живых существ, количества или, например, определенности—неопределенности «предметов», реальности, временной отнесенности, модальности действия, обозначение ролей участников ситуации с особым вниманием к собственной роли в ней, и т.д. и т.п. Короче, всего того, что имеет содержательную ценность, выступает как разнообразные стороны и аспекты действительности, требующие, по мнению говорящего/пишущего, означивания. С другой стороны, я не могу представить (за пределами сугубо учебных занятий русским языком, цель и эффективность которых в разных условиях — другой вопрос) производителя речи, устремленного к употреблению слова женского рода, словоформы дательного падежа или повелительного наклонения. Все эти признаки лексем и словоформ могут выступать только в двух ипостасях, и в них обоих в качестве характеристик, не выражающих смысл, но ему подчиненных. Либо, во-первых, как средство для выражения смысла, т.е. не падеж как цель, но обозначение участников ситуации, где падеж — это возможное средство. Не повелительное наклонение как цель, но призыв к другому совершить (или не совершить) действие, перейти в состояние, не множественное число от словарной формы слова, но стремление сообщить либо о том, что «предметов» > 1 (Рахилина, Ли Сун Хен 2009), либо уклониться в определенности обозначения «предмета». И, во-вторых, соблюсти правила сочетаемости слов и словоформ в предложении. Иными словами, дательный падеж не как цель, а как чисто языковое требование употреблять этот падеж после предлога *к*; полная, а не краткая форма прилагательного не как цель, но как необходимость, продиктованная именно языком, для определительной по отношению к существительному роли, либо как одно из средств, способных (в каких же именно «окружениях»?) выражать противопоставление «постоянно» — «в данный момент» и т.д. и т.п. (Всеволодова 2013).

С другой стороны, производитель речи свободен в своем выборе тех возможностей, которые предлагает язык для выражения одного и того же и/или примерно одного и того же содержания: *Иду я вчера...* (настоящее время глагола) и *Шел я вчера...* (прошедшее время глагола), *Маша красивая* и *Маша красива*, *Приказ подписал директор* и *Приказ подписан директором* и т.д. и т.п. И вновь речь идет

не о грамматических единицах как о цели, но о них исключительно как о средстве, выбираемом для некоторого, не всегда ощущаемого ни производителем, ни получателем, содержательного сдвига, либо как свободное использование предоставляемых языком синонимических и/или квазисинонимических возможностей при большей или меньшей стабильности содержательной отнесенности.

Продолжая эти рассуждения, хочу привести еще один пример. В грамматике, обеспечивающей рецептивные речевые действия на русском языке, вполне закономерен вопрос о том, что могут обозначать глаголы, заканчивающиеся на *-ся* (*сь*). Этот вопрос предполагает несколько ответов. Во-первых, замкнутость действия в самом субъекте (*море волнуется, Иван строится, Собака кусается*) с различными дополнительными модификациями типа «себя» (*одевается, моется*), «друг друга» (*целуются, ругаются, знакомятся*), с некоторыми более или менее уникальными дополнительными семами (*печататься* — «свои произведения», *ругаться* — «нецензурно» и т.п.). Во-вторых, обозначение действия, совершаемого некой неясной силой, «безличность» (*не сидится, не лежится, не гуляется*). В-третьих, — «пассив, или страдательность», обозначение того, что субъект не выступает, если выступает вообще, в форме именительного падежа (*Курение запрещается, Проблема решается, Слово предоставляется*). И, наконец, нулевое значение (*бояться, гордиться, стучаться*). Разумеется, следует непременно стремиться к тому, чтобы все эти разные случаи не просто обозначались как некоторые возможности, но сопровождались внятным определением тех **условий**, лексических и синтаксических, в которых читающий/слушающий сталкивается именно с тем или иным проявлением, а также тех частных случаев, когда «условия» не позволяют давать однозначную семантизацию.

Представляя интересы производителя речи, данный фрагмент, который в традиционной русской грамматике выступает обычно как рассмотрение вопросов возвратности и переходности глаголов, должен быть представлен совсем по-другому. Очевидна смехотворная бессмысленность задач типа «образуйте от данного глагола возвратный, (если в исходном нет *-ся*(*-сь*)) или невозвратный (если в исходном *-ся*(*-сь*) есть)». Первый из рассмотренных выше четырех случаев включается в круг модификационных изменений глаголов наряду с такими модификациями, как, например, начинательность, однократность, результативность, повторность и т.п. и представляет собой словообразовательную семантическую модификацию, приводящую к получению от данных — других словарных единиц с заданным семантическим различием (Русская грамматика 1980, Dokulil 1962). При этом совершенно необходимо внятно и исчерпывающе определить те глаголы, где вопреки семантике такое преобразование невозможно (*воровать, пить, любить*), либо, осуществившись, приводит к существенным семантическим сдвигам в значении корня (*красться, рисоваться, клясться*). Во всех случаях возможной модификации по параметру «замкнутость действия в самом его производителе» с помощью *-ся*(*-сь*) существенно не только отсутствие/наличие каких-либо иных более или менее серьезных дополнительных семантических изменений (см. выше), но сохранение или конкретное изменение синтагматических свойств производящего в производном, т.е. не только стандартное *мыть руки — мыться*, но и *оставить одного — оставаться одному, готовить доклад — готовиться к докладу*.

Очевидно, что случаи 2 и 3, будучи никак не связаны со словообразовательной глагольной модификацией, представляют ценность совсем для другой проблемы пишущего/говорящего, а именно для возможных способов представления производителя действия (Падучева 2012). Субъективных, связанных с желанием автора представить ситуацию так или иначе, и с реальными возможностями, более или менее нейтральными, которыми располагает язык. Ср. *Я не хочу (могу) читать — Мне (не) читается — Книга читается трудно — Книга не читается современными школьниками*. При этом представление действия скорее как такого состояния субъекта, которое неизвестно чем вызвано, («безличность») и стремление либо вовсе не упоминать субъект (пассивная, страдательная, конструкция), либо сместить его во второстепенную позицию, — это вещи близкие, но все же разные. Хотя и требующие, как и семантическая модификация, общего к себе подхода, в частности, четкого определения исходных объектов, участвующих (или не участвующих) именно в определенно заданном семантическом аспекте. Ср. различные способы оформления приблизительно одного и того же содержания: *Я представляю задачу так..., (Мне) задача представляется так..., Задачу (обычно) представляют так*.

Заканчивая рассуждения о верификационной ценности продуктивной грамматики по отношению к грамматике рецептивной, хочу особо подчеркнуть, что именно апелляция к реальной действительности (а не к чисто языковым проявлениям) выступает одновременно и как главная цель рецептивной речевой деятельности, и как задача для языкового воплощения при продуктивной речевой деятельности.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Грамматика русского языка точно так же, как и различного типа одноязычные словари, должна не просто сообщать сведения о языке, но и давать внятные ответы на те вопросы, которые возникают в процессе речевой деятельности (выбор в данном тексте соответствующего значения представленного слова и/или словоформы — при рецепции; выбор адекватных замыслу средств языкового выражения, соблюдение правил соединения этих средств между собой — при продукции).

2. Следует непременно различать среди грамматических характеристик, с одной стороны, те, которые в своей основе ориентированы на реальную действительность (число предметов, модальность и время действия и т.п.), а с другой стороны, те, которые отражают сочетаемостные свойства языковых единиц (род и падеж существительных, краткость — полнота прилагательных, типы склонения и спряжения). При этом последние в условиях, которые требуется строго определить, могут, вопреки своей природе, получать содержательное наполнение. Что же касается «содержательных» грамматических характеристик, то они складываются с теми значениями слов, предложений и высказываний, в которых они выступают. Однако законы такого сложения не сводятся к простому 1 + 1 = 2.

3. Цель рецептивной грамматики отнюдь не в традиционном школьном и вузовском грамматическом разборе, но в том, чтобы **вместе** с толковым сло-

варем русского языка обеспечить полное и точное выявление того **содержания**, объективного и субъективно авторского, которое стоит за этими словоформами, словосочетаниями, предложениями, высказываниями.

4. Цель говорящего/пишущего практически всегда состоит в именовании объективной действительности, а разнообразные собственно языковые «содержательные» характеристики отнюдь не могут выступать в качестве такой цели, но являются лишь средством для возможного воплощения содержательного замысла. Что же касается «сочетаемостных» средств, то они никогда не могут быть целью коммуникации, но в своей содержательной ипостаси могут выступать в качестве одного из средств выражения задуманного. Эти средства никогда не цель, но необходимое средство соблюдения собственно языковых правил и капризов.

5. Грамматика для продуктивных речевых действий, оперируя содержательными характеристиками ради их воплощения средствами языка, в конце концов имеет дело с теми же сущностями, которые открывает, идя от слов, словоформ, словосочетаний, предложений и высказываний, грамматика для рецептивных речевых действий. При этом собственно языковые, сочетаемостные характеристики, обычно не существенные для рецепции, в процессе продукции обеспечивают соблюдение собственно языковых норм, способствуя облегчению коммуникации для адресата и усложняя ее для адресанта.

© И. Г. Милославский, 2018

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Аванесов Р.И., Сидоров В.Н. Очерк грамматики русского литературного языка. (раздел «Морфология»). М., 1945. [Avanesov, R.I., Sidorov, V.N. (1945). Ocherk grammatiki russkogo literaturnogo yazyka. (razdel «Morfologiya») (Essay on the Grammar of the Russian Literary Language. (section “Morphology”)). Moscow. (In Russ).]

Апель К.О. Трансформация философии. М., 2001. [Apel', K.O. (2001). *Transformatsiya filosofii* (Transformation of Philosophy). Moscow. (In Russ).]

Апресян Ю.Д. и др. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. М., ЯСК, 2004. [Apresyan, Yu.D. i dr. (2004). Novyi ob"yasnitel'nyi slovar' sinonimov russkogo yazyka (New Explanatory Dictionary of Synonyms of the Russian Language). Moscow. (In Russ).]

Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М., 2003. [Arutyunova, N.D. (2003). Predlozhenie i ego smysl (Sentence and its Meaning). Moscow. (In Russ).]

Бодрияр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. [Bodriyar, Zh. (2000). Simvolicheskii obmen i smert' (Symbolic Exchange and Death). Moscow. (In Russ).]

Виноградов В.В. Русский язык. М. Л., 1947. [Vinogradov, V.V. (1947). Russkii yazyk (The Russian language). Moscow. (In Russ).]

Всеволодова М.В. О грамматике кратких и полных форм прилагательных и причастий в русском языке // *Вопросы языкознания*. № 6. 2013. [Vsevolodova, M.V. (2013). O grammatike kratkikh i polnykh form prilagatel'nykh i prichastii v russkom yazyke. (On the Grammar of Short and Complete forms of Adjectives and Participles in the Russian Language). *Voprosy yazykoznaniya*. № 6. (In Russ).]

Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 1999. [Vygotskii, L.S. (1999). Myshlenie i rech' (Thinking and Speaking). Moscow. (In Russ).]

Гак В.Г. Языковые преобразования. М., 1998. [Gak, V.G. (1998). Yazykovye preobrazovaniya (Language Transformations). Moscow. (In Russ).]

Доброхотов А.Л. Цель // Новая философская энциклопедия. Институт философии РАН. М., 2010. [Dobrokhotov, A.L. (2010). Tsel' (Purpose). Novaya filosofskaya entsiklopediya. Institut filosofii RAN. Moscow. (In Russ).]

Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. М., 1977. [Zaliznyak, A.A. (1977). Grammaticheskii slovar' russkogo yazyka (Russian Grammar Dictionary). Moscow. (In Russ).]

Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. М., 1967. [Zaliznyak, A.A. (1967). Russkoe imennoe slovoizmenenie (Russian Nominal Word Modification). Moscow. (In Russ).]

Лекторский В.А. (ред.). Наука глазами гуманитария. М., Наука, 2005. [Lektorskii, V.A. (2005). Nauka glazami gumanitariya (Science through Humanities). Moscow. (In Russ).]

Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1975. [Leont'ev, A.N. (1975). Deyatel'nost', soznanie, lichnost' (Activity, Consciousness, Personality). Moscow. (In Russ).]

Лурия А.Р. Язык и сознание. М., 1979. [Luriya, A.R. (1979). Yazyk i soznanie (Language and Consciousness). Moscow. (In Russ).]

Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях. М., 1960. [Martine, A. (1960). Printsip ekonomii v foneticheskikh izmeneniyakh (Economy Principles in Phonetics). Moscow. (In Russ).]

Норман Б.Ю. Жизнь словоформы. М., 2015. [Norman, B.Yu. (2015). Zhizn' slovoformy (Wordform Life). Moscow. (In Russ).]

Падучева Е.В. Неопределенно-личное предложение и его подразумеваемый субъект // Вопросы языкознания. № 1. 2012. [Paducheva, E.V. (2012). Neopredelenno-lichnoe predlozhenie i ego podrazumevaemyi sub"ekt (Indefinite-Personal Sentence and its Implicit Subject). *Voprosy yazykoznaniya*. № 1. (In Russ).]

Проблемы функциональной грамматики. Принцип естественной классификации. М., ЯСК, 2013. [Problemy funktsional'noi grammatiki. Printsip estestvennoi klassifikatsii (2013) (Functional Grammar Issues. Principle of natural classification). Moscow. (In Russ).]

Рахилина Е.В., Су Хён Ли. Семантика лексической множественности в русском языке // Вопросы языкознания. № 4. 2009. [Rakhilina, E.V., Su Khen Li (2009). Semantika leksicheskoi mnozhestvennosti v russkom yazyke (Semantics of Lexical Multiplicity in Russian). *Voprosy yazykoznaniya*. № 4. (In Russ).]

Русская грамматика. М., 1980. С. 475—482. [(1980). Russkaya grammatika (1980) (Russian Grammar). Moscow, 475—482. (In Russ).]

Русская корпусная грамматика (http://rusgram.ru); Плунгян В.А. и др. «Материалы к корпусной грамматике русского языка. Глагол. Часть I. СПб. Нестор-история. 2016; http://www.helsinki.fi/venaja/rg2017. [Plungyan, V.A. i dr. (2016). Russkaya korpusnaya grammatika (Russian Corpus Grammar). (http://rusgram.ru); «Materialy k korpusnoi grammatike russkogo yazyka. Glagol. Chast' I. St. Petersburg, http://www.helsinki.fi/venaja/rg2017. (In Russ).]

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 2002. [Sepir, E. (2002). Izbrannye trudy po yazykoznaniyu i kul'turologii (Selected Works on Linguistics and Cultural Studies). Moscow. (In Russ).]

Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. М., 2004. [Sossyur, F. (2004). Kurs obshchei lingvistiki (General Linguistics Course). Moscow. (In Russ).]

Ariel, M. (2008). Pragmatics and grammar. Cambridge textbooks in Linguistics, 2008.

Chvany, C. (1996). Hierarchies in the Russian Case System: for N-A-G-L-D-I against N-G-D-A-I-L; selected Essays. Columbus, Ohio: Slavica Publishing.

Corbett, G. (2000). Number, Cambridge.

Corbett, G. (2008). Case and grammatical relations; Studies in honor of B. Comrie. Amsterdam.

Dokulil, M. (1962). Tvořemi slov v češtine. Teorie odvozavani slov. Praha.

Fillmore and others (1988). Regularity and Idiomaticity in Grammatical Constructions: The Case of Let Alone. *Language*, 64 (3).

Hudson, R. (2012). Introduction to Word Grammar. Cambridge.

Langacker, R. (2008). Cognitive grammar. *A basic introduction*. No. 7.

Mercier, A. (2002). L'homme et la factrice: Sur la logique du genre en français. *Dialogue*, 41 (3).

Schäfer, F. (2008). The Syntax of (Anti-) Causatives: External arguments in change-of-state contexts. Amsterdam.

Wade, T. (2006). A Comprehensive Russian Grammar. Oxford.

История статьи:
Дата поступления в редакцию: 30 ноября 2017
Дата принятия к печати: 18 января 2018

Для цитирования:
Милославский И.Г. О принципиальных различиях между русскими грамматиками для рецепции и для продукции // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2018. Т. 22. № 2. С. 373—388. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-373-388.

Сведения об авторе:
ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ МИЛОСЛАВСКИЙ — доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой сопоставительного изучения языков факультета иностранных языков и регионоведения, заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик Международной академии. *Сфера научных интересов*: изучение вопросов активной грамматики русского языка, создание специальных разделов идеографической грамматики русского языка, выявление комбинаторных возможностей единиц различного уровня, выражающих определенное номинативное содержание. *Контактная информация:* e-mail: igormil@hotmail.com

БЛАГОДАРНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Статья подготовлена при содействии РФФИ (грант № 17-04-00053 «Проспект грамматики русского языка для продуктивных речевых действий»).

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-373-388

RUSSIAN GRAMMAR FOR RECEPTION AND PRODUCTION: MAIN DIFFERENCES

IGOR G. MILOSLAVSKY

Lomonosov Moscow State University
31 Bldg.a Lomonosov Str., 119192, Russian Federation

Abstract

Considering a linguistic basis of receptive and productive language skills in Russian the author states that both reception and production are primarily influenced by the correlation of language and objective reality. At reception this objective reality is hidden as a part of innate structure behind words

(vocabulary) and word forms (grammar) in a sentence and/or an utterance, and at production it needs to be 'embodied' in linguistic forms. Affirming the fundamental difference between compatibility-oriented (gender, case of nouns, adjectives) and reality-oriented (number of nouns, mood and tense of verbs) grammatical characteristics the author claims that in the process of reception all of them must be analysed for their correlation/non-correlation to objective reality, and in the process of production they never act as speech objectives, remaining either a means of expressing the speaker's thoughts or a regulator of language rules.

Key words: *grammar, Russian, reception, production, meaning, collocation*

Article history:
Received: 30 November 2017
Revised: 20 December 2017
Accepted: 18 January 2018

For citation:
Miloslavsky, Igor G. (2018). Russian Grammar for Reception and Production: Main Differences. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (2), 373—388. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-373-388.

Bionote:
IGOR G. MILOSLAVSKY is Doctor of Philology, Academician of the International Higher Education Academy of Sciences, Distinguished professor of Lomonosov Moscow State University, Head of the Department of Comparative Analysis of Languages. *Research interests*: studies of active grammar of the Russian language, creation of special divisions of ideographic grammar of the Russian language, revelation of combinatory possibilities of the units of different level, conveying definite nominative contents. *Contact information:* e-mail: igormil@hotmail.com

FINANCE AND ACKNOWLEDGEMENTS
The paper was supported by the RFBR (Research grant 17-04-00053 "Проспект грамматики русского языка для продуктивных речевых действий").

Russian Journal of Linguistics
Вестник РУДН. Серия: ЛИНГВИСТИКА
2018 Vol. 22 No. 2 389—403
http://journals.rudn.ru/linguistics

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-389-403

CLASSICAL ELEMENTS AND WORD-FORMATION IN ACADEMIC DISCOURSE

IRINA KOROTKINA

Moscow School of Social and Economic Sciences
82/2 Vernadsky prospect, Moscow, 119571, Russian Federation

Abstract

Despite the variety of disciplinary discourses, the global academic discourse in English preserves the uniform language of study and research, the lexical corpus of which contains structures composed of classical elements, morphemes of Latin and Greek origin. Understanding and mastering this international academic corpus is essential for all members of the academy, especially neophytes and international researchers. However, the information concerning classical combining forms and word-formation in dictionaries, reference books and academic English teaching materials is often insufficient, inaccurate or unsystematic. The paper analyses the state of affairs in the study of classical elements in academic discourse in English and offers an interdisciplinary approach to more effective comprehension of academic vocabulary. The approach draws from linguistics, discourse analysis, contrastive rhetoric (viewed as intercultural rhetoric) and the theory of common underlying proficiency of language acquisition, aimed at developing academic vocabularies simultaneously in both the native language and English. The approach has been tested in a variety of academic contexts and provides an efficient model for developing academic vocabulary by activating the prior, tacit knowledge of classical elements shared by participants of academic discourse across cultures.

Keywords: *academic discourse, classical elements, English word-formation, academic vocabulary, English for academic purposes, intercultural rhetoric, common underlying proficiency*

1. INTRODUCTION

Academic discourse is inseparable from the language of the academy, which is shared by all the members to interact and create knowledge. The language of global academic discourse is mainly written English, presented in specific forms of scholarly and academic texts, which individuals use to discuss problems, collaborate, educate neophytes, and exchange ideas. According to Ken Hyland (2011), "[d]iscourse is at the heart of the academic enterprise" (171), so mastering academic English is essential for students and researchers regardless of their native language or field of study.

As the language of global academic discourse, academic English has specific features, such as the ways of organizing information in texts, the use of complicated syntactic structures and academic vocabulary (Hyland 2000; Jordan 1997). One of the major characteristics of academic English is that it employs lexical structures composed of classical elements, affixes and roots of Latin and Greek origin, which English inherited from Latin along with the role of *lingua franca* of academic communication. Classical elements play a central role in disciplinary terminology and general academic

vocabulary. Words like *bronchoesophagostomy, synchrophasotron, asthenosphere* or *hemidemisemiquaver* are difficult to spell or pronounce, but they are recognized by members of disciplinary communities, who use classical elements productively to create new terms. Latin adoptions with affixation, not common in spoken English, permeate written academic discourse (compare: *no doubt — indubitably, foolish — preposterous*, *true — incontrovertible, last — perpetuate,* etc.).

Although mastering academic English is crucial in the global world with intensive information exchange, members of the academic community whose native language is other than English face more challenges in coping with scholarly texts and tend to be discriminated in writing for study (Hyland 2000, 2006; Bhatia 2002; Bizzel 1999) and publication (Flowerdew 2008; Tardy 2004; Uzuner 2008). They are even more disadvantaged by language and cultural diversity if the social aspects of academic discourse are taken into account, for it does not only imply the knowledge of language conventions in education and research, but "constructs the social roles and relationships which create academics and students and which sustain the universities, the disciplines, and the creation of knowledge itself" (Hyland 2011: 171). Language difficulties may therefore affect researchers' and students' social statuses and worldviews (Bizzel 1999) and force them to express their ideas or share research results in a way which is not common in their own discourses but is expected in academic discourse in English (Olschtain & Celce-Murcia 2001; Grabe and Kaplan 1996).

Still, it is necessary for academic discourse to maintain the common core language of the academy to support the creation of knowledge and interaction within the global academic community. It is therefore crucial for international members of the academy to master the lexical corpus of the language, which requires systematic study of classical elements, their functions and word-formation. To make the study systematic, an integrated approach is needed, which can draw from linguistic studies in word-formation (Kastovsky 1977; Bauer 2002; Adams 2013; Plag 2003), discourse analysis (Hyland 2011; Schiffrin, Tannen & Hamilton 2001; Flowerdew 2002), contrastive, or intercultural rhetoric (Grabe and Kaplan 1996; Connor 2008), and English for academic purposes (Hyland 2000; Flowerdew 2002; Jordan 1997), the methodology of which is framed by the study of academic discourse (Olshtain, E. & Celce-Murcia 2001; McCarthy & Carter 1994; Hatch 1992).

In this paper, I will analyze the problems of the study of classical elements and word-formation in academic English, and offer an interdisciplinary approach to academic vocabulary acquisition by non-native speakers of English based on combining the methods of the above listed disciplines with the theory of common underlying proficiency and the dual iceberg model of language acquisition designed by James Cummins (Cummins 1996, 2000). The specific features of the common underlying proficiency concerning classical elements in both Russian and English presented in the model, are meant to provide researchers and students with an explicit set of linguistic and analytical skills, which will help them develop conceptual knowledge of classical elements in both languages and master the lexis of both the global and native academic discourse across disciplines.

2. WORD-FORMATION IN MODERN ENGLISH: A LINGUISTIC PERSPECTIVE

Today, there is no one accepted doctrine or "theory of word-formation" (Bauer 2002; Adams, 2013). One reason for the neglect of word as a language unit was the development of synchronic descriptive linguistics (Saussure 1916; Bloomfield 1935), according to which language is studied internally as a system of elements defined in relation to one another. The formation of words being closely related to external, changing factors had little to do with the new methodology. Productivity, essential in word-formation, also did not match the synchronic approach. Harris (1951: 255) considered the productivity of word elements beyond the methods of descriptive linguistics "since that is a measure of the difference between our corpus and some future corpus of the language". The precedence of the study of morphemes over the study of words was further supported by the "Chomskyan revolution" in linguistics (Chomsky 1957), syntactic structures becoming more important than words, and morphemes more important in forming the meaning of a whole sentence.

As theoretical linguistics formed its epistemology, developing scientific methods of inquiry, word-formation remained an area of uncertainty for researchers mainly because words depend more on acceptability and occurrence rather than regularity or grammatical correctness. Nevertheless, non-occurrence of particular words is a weak argument to consider word-formation insignificant, and some researchers admit that "it is an obvious gap in transformational grammars not to have made provision for treating word-formation" (Pennanen, 1972: 293). Focused studies in word-formation exist, and although researchers in the field are eclectic in approaches and avoid discussing such essential theoretical features of word-formation as productivity, they seem to be seeking for unity in theory (Kastovsky 1977; Bauer 2002; Adams 2013; Plag 2003). As Bauer (2002) points out, "researchers seem to be showing a greater willingness to blend various theoretical viewpoints when dealing with [word-formation]: to blend synchrony and diachrony, morphology and phonology, syntax and semantics" (6).

Paradoxically, it is the complexity of study and relation with the external world that makes the field of word-formation so attractive for both linguists specializing in different areas of linguistic theory, and researchers in applied linguistics involved in matters of teaching languages, especially those for academic or specific purposes.

Elements from classical languages are a perpetual source for forming new terminology and lexis in academic and professional discourse. Having been the *lingua franca* of scientific and cultural communication for many centuries before English, Latin lost its predominance as a written and spoken language by the end of the 19th century, but still permeates today's international academic discourse. Not only are Latin affixes productive and accepted by participants of academic discourse in English, but also Greek and Latin roots are actively used to form new words (Bauer 2002; Green 2015; Kastovsky 1977). To describe the formation of such words, the new term 'combining form' was coined in morphological and lexicological studies (Menzel & Degaetano-Ortlieb 2017). These elements have their own lexical meaning, but are commonly used in combination with other elements (affixes or other roots) to form complex lexical structures.

Although the term ‘combining form’ is still disputable (Bauer 2002; Adams 2013; Kastovsky 2009), the Oxford English Dictionary uses it to refer to such elements, attaching a hyphen on the appropriate side of the element (e.g. hydro-, -graph, -log- or photo-). Unfortunately, English dictionaries do not always make distinctions between derivation and compounding. The same elements are often presented as separate units in combinations with different affixes (e.g. -graph, -grapher, -ography) or in different representations (e.g. historio- from Latin and historico- from Greek). Sometimes elements with lexical meanings are listed as affixes (e.g. -some in chromosome as a suffix) (Menzel & Degaetano-Ortlieb 2017: 190—191). Provided these inconsistencies are overcome, the number of combining forms will be much shorter and therefore clearer and more comprehensive for academic discourse participants.

Theoretical issues in word-formation have more implications for academic discourse than it might seem. Although linguists and lexicographers still argue about the consistency of the term ‘combining form’ or other labels of the concept, as well as the difficulties in defining its borders (Pr̈ж 2005; Kastovsky 2009), the overwhelming prevalence of classical combining forms in academic and disciplinary discourses is considered obvious in all modern studies of word-formation. As science and technology spread, more and more technical and specific dictionaries tend to define combining forms as separate units. Unless this process is systematized, different sources will apply different classifications and impede understanding. Pr̈ж (2005) suggests that a more consistent labeling of word elements in dictionaries will help overcome the problems of today’s solutions which are “to a large extent inconsistent, unexplained and hence confusing for the user” (p. 313). Indeed, agreement on one comprehensive system of labeling can alleviate interactions among the participants of the global academic discourse and specific disciplinary discourses.

Dictionaries are not the only resources for the academic discourse community to obtain the information about classical elements. Proper labeling and definitions are equally relevant in English for academic purposes (EAP). As Menzel and Degaetano-Ortlieb (2017: 189) point out, “[m]orphological awareness, the skill to analyse internal structures of complex words and to understand morphological rules of the native languages, is a comprehension and language production skill that has to be acquired by language users along with other linguistic skills.” Frameworks for EAP pedagogy are informed and supported by studies in both linguistics and discourse analysis (Flowerdew 2002: 1), so classical elements are expected to be presented in them explicitly because the purpose of EAP is to meet the needs of neophytes of the academy, international students and non-native scholars, for “the EAP community have consistently taken [academic discourse] to be a single and uniform entity, with a ‘common core’ across disciplines and often genres” (Bhatia 2002: 29).

Sadly, EAP resources do not always refer to classical elements, and may contain inconsistences. Most academic vocabulary books are aimed at self-study, with affixes and roots listed in reference materials and appendices (e.g. Campbell, 2007;

McCarthy & O'Dell, 2008; Nadler, 2004). Such resources do not give any systematic explanations and sometimes appear confusing. For instance, the list of prefixes, such as *ex-, de-, in-*, or *pre-*, may include lexemes, such as *semi, quasi, pseudo, mono, kilo* or *neo*, and even the abbreviation *e-* for *electronic* (McCarthy & O'Dell 2008: 128—131). In this logic, the combining form *anthropo-* should also be considered a prefix because it occurs in words *anthropology*, *anthropomorphic*, and *anthropometric*. As a result, the users get a much longer list of 'prefixes' than necessary and either do not understand what a prefix is (in case of speakers of analytic languages), or get puzzled (in case of speakers of synthetic languages with a high morpheme-per-word ratio, like Russian). The language of academic discourse presented in EAP books should be especially clear and explicit; simplifications and generalizations are possible, but never ambiguity or confusion.

Explicit and systematic books about classical elements and word-formation exist. Two most prominent ones were published by American classicists in the mid-1960s (Levine 1965; Ayers 1986). They addressed American students in higher education and were aimed at helping them cope with complicated academic discourse. Notably, these books are still very popular in the US academic community, which proves that the grapholect language of academic discourse in English, which is meant to be read and written, but "too elaborate to be spoken" (Bizzel 1999: 9—10) is difficult to acquire for native speakers of English. Another notable fact is the publication of books on classical elements and Latin affixation for schoolchildren (Draze 2005; Callela 2004), which is the result of the US educational policy aimed at preparing students for understanding complicated lexemes used in the language of academic discourse starting from primary school.

I believe that the reason is not only the developments in academic writing, in which US researchers have made the most prominent contribution, but also the increasing importance of classical elements in the information society. The language of academic discourse permeates the language of media, creating specific blended discourses (Cotter 2001; Egorova 2011; Sinelnikova 2017). Although the focus of this paper is narrower, I will give just one example to demonstrate the social function of classical elements in creating discourse communities on the Web: the designers of a site the mission of which is to consult businesses in competitive markets coined the word *Provictus* as the domain title. The appeal of this inexistent, but transparent word with pinpoint accuracy attracting the target audience arises from the Latin prefix *pro-* (forward), root *vict* (win, conquer) and ending *-us.* It will not however attract those whose cultural and academic background is poor. The example shows how "the text encodes values and ideologies that impact on and reflect the larger world" (Cotter 2001: 416).

3. A CROSS-CULTURAL APPROACH TO ACADEMIC VOCABULARY ACQUISITION

The specificity of the lexis used in the English academic discourse is difficult for both native and non-native participants. However, speakers of synthetic languages can benefit from the similarities in word-formation between their native language and Latin, thus having an advantage in acquiring academic vocabulary in English, of which native speakers seem to be deprived.

Similarities and differences between written academic discourses of different languages are subject to contrastive rhetoric, which provides the basis for acquiring or producing discourse in a manner that is considered acceptable in the target language (Olschtain & Celce-Murcia 2001: 716). Describing the study of contrastive rhetoric, Grabe and Kaplan (1996) define the rationale for this approach as meeting "preferred expectations about the way information should be organized" (109). As the global academic discourse involves cross-cultural interactions in educational and scientific contexts, contrastive rhetoric research agenda are gaining a momentum. To match the situation, Connor (2008) considers it more appropriate to change the name of the study into "intercultural rhetoric". I consider the term most relevant to describe the cross-cultural conventions which emerge in the study of classical elements in English and Russian.

Indeed, the academic conventions in L1 (the native language) and L2 (the language of academic discourse, English) develop synchronously and influence social and cultural development of an individual as a member of the global academic community and the local, university or disciplinary community. Analyzing word-formation and combining elements in English, students refer to similar classical elements in L1 and decode their meanings; operating the elements as separate units, they can reconstruct the meanings of words in both languages, thus reconsidering academic discourse in their native tongue. For instance, in decoding the word *dislocation,* two Russian words occur: *дислокация* and *размещение* (the roots of the same meaning *loc, мест*). The root *loc* becomes clear in meaning, which along with Latin affixation becomes a key to decoding many English and Russian words alike: *localize, collocation, allocation, relocate, delocalization, локализовать, локация, аллокация, коллокация, локальный, локатор,* etc.

Parallel development of academic vocabularies in both academic languages (and therefore succeeding in both academic discourses) is best represented by the dual iceberg model of language acquisition designed by James Cummins (1996, 2000). The model resembles an iceberg with two tips rising above the surface with the common 'underwater' part. The two surface features represent L1 and L2, and the 'underwater' part is referred to as 'common underlying proficiency' (CUP) defined as "an underlying cognitive/academic proficiency that is common across languages" (Cummins 1996: 111). According to this notion, students can actively involve the knowledge and concepts obtained in L1 to support L2 acquisition and vice versa. The knowledge and concepts therefore form the common basis for both the acquired languages and are transferable from one language to the other. The development of either language contributes to the development of the CUP, and the whole iceberg grows. In case of academic vocabulary, the CUP is the corpus of classical elements obtained by individuals in their lives through culture and education, which provides the basis for boosting both vocabularies. In terms of discourse analysis, CUP is close in meaning to the term 'prior knowledge' (Olshtain, E. & Celce-Murcia 2001; McCarthy & Carter 1994; Hatch 1992), which refers to all tacit and explicit knowledge of an individual and plays a central role in reading and writing as a "conceptual framework for interacting with the world" (Olshtain, E. & Celce-Murcia 2001: 707).

The CUP for classical elements in Russian and English academic discourse includes the following features:

1. Words of classical origin recognizable in both English and Russian and already familiar to students, e.g. *evolution, construct, perspective, deductive, illusion, circulate, organize, reproduction, encyclopedia.* Individuals may significantly differ in their cultural and academic backgrounds, but in a discourse-based model for language pedagogy these differences serve as a source for shared knowledge (Olshtain, E. & Celce-Murcia 2001: 711). Shared vocabulary enhances interaction in a group which acts in educational context as a discourse community (Swales 1990: 24).

2. Words of classical origin and proper nouns which can be guessed despite the differences in spelling and affixation in Russian, e.g. *apocalypse, euthanasia, mythology, orthography, eunuch, aegis, Phoenician, Thermopylae, Aphrodite.* Most such words can be decoded provided the regularities of spelling Greek in English and Russian are revealed. For instance, the Russian Cyrillic tradition of spelling Greek words can be roughly divided into two periods, before Peter I, when words were taken directly from Greek, and after, when scientific terms started to come from Western Europe in Latin. Because of that we spell, for instance, the Greek *beta* and *theta* differently in older and later adoptions, e.g. *mythology, orthography* with '*ф',* but *theory, orthodox* with *'т'; Babylon, Thebes* with '*в*' but *bibliography* with '*б*'. As for *ph, ch, y (i-Greek), eu, oe* or *ae,* correspondences are easily listed; for instance, *oe* and *ae* typically occur as '*э*', although this letter mainly occurs in the beginning of a word (e.g. *aesthetics, aegis, Oedipus,* but *phoenix, archaeology*). Words which appear in English without augments (e.g. *aegis, Iris, Venus, pharaoh)* can be guessed in context if the possible augment is expected; in Russian, augments occur in words like *имя, мать, дочь,* etc.

3. Words containing combining classical elements, the meanings of which can help decode unfamiliar words in both languages, e.g. the words *gynecology, misanthrope, polyglot* help decode *misogyny* and *polygyny; Sophia* and *philosophy* containing *soph* as "wisdom" is a key to *sophisticated, sophistry, sophism, sophomore*; *hypothesis, monograph — hypograph; hypo-, geography — hypogaeum, subordinate, territory — Subterranea,* etc. Some words in Russian and Latin are similar (e.g. *vert — верт, turn; vid — вид, see; sem — сем, seed; oc — ок/оч, eye; sid — сид, sit; i — и/ид, go),* which helps decode words like *subvert, disseminate, binoculars, president, transient.* Thus, the word *provision* in *"government provision"* should be decoded as 'seeing forward', instead of being misinterpreted by the Russian *провизия* ('food supplies').

4. Latin prefixes, the core of CUP of academic discourse. They have only grammatical meaning, and they are few; their list should consequently be as short as that of the English prepositions (postpositions), commonly used to explain Latin prefixes (e.g. *de*stroy — pull *down*, *com*pose — put *together, re*pell — drive *back, in*sert — fill *in,* etc.) or Russian prefixes. If not confused with Greek elements, like *meta-, quasi-* or *peri-,* or lexemes, like *mini-, neo-* or *milli-*, Latin and Russian prefixes match each other well (e.g. *pro-pulse — про-талкивать, pre-dict —прред-сказывать, dis-miss — рас-пускать, con-vention — со-брание, se-paration — от-деление).* There are some problems with Russian irregularities, such as the polysemantic prefix *пере-,* or no

correspondence for *de-;* in such cases, English postpositions can be used (*re- — back; thans- — across; per- — through; de- — down).*

An essential characteristic of Latin prefixation is assimilation, which is regular in some prefixes (e.g. *in-, con-, syn-: immobile, irrelevant, combine, correlation, colloquial, syllabus, sympathetic),* and more complicated in others (e.g. *sub-: support, surrender, succumb, sustain; ad-: acquire, account, allocate, associate, affiliate, aggregate*). The knowledge of assimilation is an incredibly powerful tool of decoding the meanings of words in academic texts. Decoding familiar words is also a useful experience: e.g. *as-soc-iate (ad-)* as *при-общ-ить* or *sy-stem (syn-)* as 'growing from the same root' (unlike *com-position,* 'putting together').

Unfortunately, Russian researchers do not only confuse prefixes with other elements, e.g. *dys-, meta-* (Zubenko, Masneva 2002: 89), *bi-, multi-, semi-, micro-, vice-, mini-, milli-* (Yanutik, Amatov 2017: 78—80), but define them in words; for instance, *con-* "совместность, соединение", *pre-* "предварительно, предшествование во времени" (Yanutik, Amatov 2017: 78), although the Russian prefixes *со-* and *пред-* are clearly seen in the defining words.

This brief analysis shows that CUP is not a collection of mere concepts, but analytical skills and intellectual practices (higher-order thinking) which provide individuals with "conceptual framework for interacting with the world". Taking it into account, the CUP can be further supplemented with some more general, but systematic and therefore useful knowledge about the functioning of classical elements in academic English:

1. Classical elements are used in formal and metaphoric contexts (compare: *fatherly — paternal, walker — pedestrian, understanding — comprehension, words — lexis, look — regard*, etc.). *Motherly* love is *felt*, therefore, whereas *maternal* duties are usually *considered*. In academic context, the use of 'common' English is often limited to prepositions and articles. In students' essays, words like *a lot* instead of *multiple* or *numerous*, *think* instead of *consider*, *speak* instead of *discuss*, or *great* instead of *significant* or *considerable* are commonly corrected in teaching academic writing.

2. Greek elements are commonly used in natural sciences and technology, philosophy and philology, whereas Latin is used in social sciences (probably because of the Roman contribution to law and order) and communication (because of the millennial use of Latin as *lingua franca*). For instance, both the Latin root *aqua* and the Greek *hydro* mean "water", but the word *aquatic* refers to social activities (e.g. sports), whereas *hydraulic* to technologies (e.g. mechanisms); similarly, the word *contemporary* (Latin, *con-* — "together", temp — "time") is used to describe social relations, whereas the word *synchronous* with similar meanings of both Greek elements, physical motion; *multicoloured* (Latin) is used in everyday communication, whereas *polychromatic* with similar meanings of both Greek elements, in optics. Consequently, Latin is more common in academic vocabulary (communicative purposes), whereas Greek prevails in terminology (scientific purposes).

3. Latin elements are usually combined with Latin, Greek with Greek, and English with English (e.g. *semi-annual, circum-scription, in-appropriate* (Latin); *hemi-sphere,*

mono-graph, a-typical (Greek); *half-witted, un-kind, under-go* (English)). Occurrence matters, and some Latin words become homely English, attaching English prefixes (e.g. *unfortunate, underestimate, overcritical*), and vice versa, some Latin prefixes occur in 'common' English words (e.g. *remake, discharge, precooked*). This, however, does not imply that English is becoming more synthetic: the opposite example is the use of a prefix as a separate word: *prepped* (a passive form generalizing verbs with *pre-*).

4. Many Latin roots occur in two forms, which can be distinguished as imperfect and perfect (e.g. *duce/duct, cede/cess, vince/vict, leg/lect).* The former is used in words with hypothetical, abstract or intellectual meaning, whereas the latter with physical, formal or legal. Compare: *evince, convince — evict, convict; deduce, induce — deduct, abduct*. This feature seems rather uncertain from the point of view of linguistics, but it helps understand why *producer, introducer* or *seducer* are formed with *duce,* but *conductor* or *abductor* with *duct.*

The distinctions can help students and scholars infer the meanings of academic words or terms from their inner contexts. In reading, when a larger context is available, inference is even easier, but in this case, it is not the matter of guessing. In writing, the use of such words can help writers develop academic literacy and meet the requirements of academic English generically, enriching their writing and making it more acceptable for the members of the academic or professional discourse community.

The skills of deciphering, spelling, pronouncing or combining the classical elements needs practicing, which is best done through learning. Although EAP courses specifically aimed at developing vocabulary skills are rare, an approach involving the specific features of classical elements was used to design the course of *Academic Vocabulary for Social Sciences* for postgraduate students of the Moscow School of Social and Economic Sciences. In the course, the listed features serve as the basis for explicit teaching, and the students' CUP, which varies due to the variety of individual cultural backgrounds, as the basis for interactive learning. To foster interaction, PowerPoint visual aids are involved: words, affixes or prompting images appear on the screen; for instance, students are offered a task to 'translate' words from Latin into Greek with increasing difficulty (e.g. *aquatic — hydraulic, contemporary — synchronous, consonant — symphonic, subscription — hypograph, Subterranea — hypogeum),* and the animated words follow their guess. It is essential that the differences in meanings are discussed by the students (this is where emerging images are helpful). As affixation is the most powerful tool for deciphering meanings, prefixes and suffixes are learned separately, step by step, through a variety of activities, which involve analysis and synthesis. They are then used to form multiple derivatives (e.g. *emit, permission, omit, commitment, emissary, mission, remission*, etc.) and mastered in bigger context (sentences or texts). More elaborate exercises involve matching synonyms and antonyms, or analogies, such as "*Mankind* is to *misanthropy* as *marriage* is to _____ (answer: *misogamy*); *Theocracy* is to *religion* as *plutocracy* is to _____ (answer: *wealth*).

The approach proved effective in a variety of academic contexts and discourse groups, including seminars for academics and researchers and classes for undergraduate students. Discovering classical elements becomes not only a key to better reading and

writing in English, but also to a more careful use of words in L1. Applied for nearly two decades, the approach emerged into a book (Korotkina 2016), which is widely used by Russian students and researchers in self-study and EAP professionals in teaching students. The approach was presented in a number of publications (e.g. Korotkina 2017).

However arguable the features of the approach could be from the point of view of linguists or discourse analysts, it does provide a flexible and practical model of academic vocabulary acquisition. The approach enables the members of academic community not only to develop "the skill to analyse internal structures of complex words" (Menzel and Degaetano-Ortlieb: 2017), but also obtain academic literacy through discovering 'regular features of academic English that are well defined and teachable' and employing intellectual activities of 'higher-order thinking — decoding, conceptualizing, inferring, inventing, and testing' (Scarcella 2003: 10). Russian researchers also admit that developing the language of science, finding appropriate equivalents, and understanding other languages can help comprehend one's native tongue better (Kolesnikova 2010: 132) and that "the analysis of unknown words by word-forming elements provides a rational way to learn to understand scientific text [...] in English without a dictionary" (Zubenko and Masneva 2002: 87).

The idea behind the dual iceberg model is that the more conceptual, lexical and practical knowledge of classical elements an individual develops, the higher the level of his or her academic literacy becomes in both L1 and L2. Consequently, the more academic vocabulary rises 'above the surface' in the individual's writing and speaking, the more accepted he or she becomes by the academic community. In other words, the more classical elements per page, the more academic the text is.

However, this simple idea cannot be supported by quantitative methods of corpus analysis. Both terminology and academic vocabulary include classical elements, but terminology can vary. Some disciplines, such as medical science or physics, employ Greek combining elements virtually in every term, while management or pedagogy often employ general English words. Thus, comparison between the disciplinary corpora based on the frequency of classical elements will be irrelevant. Despite a high ratio of classical elements in terminology, many studies, for instance, in medical science and law, contain case studies described in vernacular language. Contrarily, unlike 'soft' social science, sociology, for instance, operates a very specific, highly terminological language of professional discourse. Words of classical origin abound in literature on public policy analysis, but it also contains real life examples of policy implementation, which can affect the average figures.

Academic vocabulary being steady and interdisciplinary in nature, could provide a basis for judging texts on academic literacy. However, apart from the difficulties caused by distinctions between terms and academic words, it is the quality, not quantity of classical elements that matters. Repetitive, limited use of popular academic lexemes is difficult to compare with the variety and complexity of vocabulary employed by proficient academic writers. The elite register and variety of words distinguish scholarly papers from popular science or students' papers — provided the whole text is written without an effort visible for the reader. Mastering scholarly writing requires not only

expanding the writer's active vocabulary, but understanding the meanings and functions of its elements. Lexical proficiency strengthens the author's authentic voice, and it is the voice that makes the participant of academic discourse heard clearly and distinctly.

4. CONCLUSIONS

Although academic discourses vary in different disciplines, genres and cultural contexts, the global academic community preserves a single unified language, which enables effective communication among the members of the academy across disciplines, genres and academic cultures and therefore is essential for all the members to master. The language of study and research is a specific form of English, which includes complicated lexical structures formed of classical elements and employs the principles of Latin word-formation.

Mastering academic vocabulary requires analytic linguistic skills, which can be developed by students and researchers, neophytes of the academy and speakers of languages other than English. To make these skills explicit and manageable, the academic community needs an interdisciplinary approach, which draws from linguistic theory and lexicography, discourse analysis and EAP pedagogy. The pedagogy underlying the approach is only briefly presented in the paper due to its focus and scope, but demonstrates the benefits of such learning.

The complex studies of classical elements and word formation may also contribute to better organization of information in dictionaries, reference books and EAP teaching materials, increasing their efficiency for the users.

These studies may also provide an insight on the matters of academic writing and literacy for the Russian academic community. One of the major limitations for developing academic Russian is the lack of clear distinctions in using words of classical and native origin, and carelessness in adopting words (e.g. adding the words *менеджмент (management)* and *администрация (administration)* to the native *управление* and *руководство)*. Academic vocabulary is certainly not the only issue in discussing clarity and efficacy of academic language, or its genres (for which a more focused study is needed). Russian scholarly publications often tend to be wordy and inexplicit, terminologically overloaded or syntactically complicated. Closer attention to the English language of the global academic discourse in its many representations may foster the developments in Russian for academic purposes and academic writing as a discipline, which is the matter of increasing concern among Russian scholars, academics and publishers.

© Irina Korotkina, 2018

REFERENCES

Adams, Valerie (2013). *An Introduction to Modern English Word-formation*. London: Routledge: Taylor and Francis Group.

Ayers, Donald M. (1986). *English Words from Latin and Greek elements*. University of Arizona Press.

Bauer, Laurie (2002). *English Word-formation. Cambridge Textbooks in Linguistics.* Cambridge University Press.

Bhatia Vijay K. (2002). A Generic View of Academic Discourse. *Academic Discourse*. John Flowerdew (ed.) 2002. 21—39.

Bizzel, Patricia (1999). Hybrid academic discourses: what, why, how. *Composition Studies*, 27 (2). 7—21.

Bloomfield, Leonard (1935). *Language*. London: George Allen & Unwin.

Campbell, Colin (2007). *English for Academic Study: Vocabulary*. Reading: Garnet.

Callella, Trisha (2004). *The Learning Works: Prefixes and Suffixes, Grades 4—8: Teaching Vocabulary to Improve Reading Comprehension*. Creative Teaching Press.

Chomsky, Naom (1957). *Syntactic Structures*. The Hague: Mouton.

Connor, Ulla (2008). Mapping multidimensional aspects of research. *Contrastive rhetoric: reaching to intercultural rhetoric.* Ulla Connor, Ed Nagelhout & William V. Rozycky (eds.). John Benjamins Publishing Company, pp. 299—316.

Cotter, Colleen (2001). Discourse and Media. *The Handbook of Discourse Analysis*. Deborah Schiffrin, Deborah Tannen & Heidi E. Hamilton (eds.), pp. 416—436.

Cummins, James (1996). *Negotiating identities: Education for empowerment in a diverse society*. Los Angeles, CA: California Association for Bilingual Education.

Cummins, James (2000). *Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire.* Clevedon, England: Multilingual Matters.

Draze, Dianne (2005). *Red Hot Root Words: Mastering Vocabulary With Prefixes, Suffixes And Root Words* (Book 2). Prufrock Press.

Flowerdew John (ed.) (2002). *Academic Discourse*. Routledge: Taylor & Francis Group.

Flowerdew, John (2008). Scholarly writers who use English as an additional language: What can Goffman's "Stigma" tell us? *Journal of English for Academic Purposes*, 7, 77—86.

Grabe, William and Kaplan, Robert B. (1996). *Theory and Practice of Writing: An applied linguistic perspective.* Harlow: Pearson Education.

Green, Tamara M. (2015). *The Greek and Latin Roots of English*. 5th ed. Lanham: Rowman & Littlefield.

Harris, Zellig S. (1951) *Methods in Structural Linguistics*. Chicago: University of Chicago Press.

Hatch, Evelyn (1992). *Discourse and Language Education*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hyland, Ken (2000). *Disciplinary Discourses: Social Interactions in Academic Writing.* London, Longman.

Hyland, Ken (2006). Disciplinary differences: Language variation in academic discourses. Hyland, Ken & Bondi, Marina (Eds.) *Academic Discourse Across Disciplines*. Frankfort: Peter Lang. pp. 17—45.

Hyland, Ken (2011) *Academic Discourse*. Hyland, Ken & Paltridge Brian (eds.) The Bloomsbury Companion to Discourse Analysis. Bloomsbury.

Jordan, Robert R. (1997). *English for Academic Purposes: A guide and resource book for teachers.* Cambridge: Cambridge University Press.

Kastovsky, Dieter (1977). Word-formation, or: at the crossroads of morphology, syntax, semantics and the lexicon. *Folia Linguistica*, 10. 1—33.

Kastovsky, Dieter (2009). Astronaut, astrology, astrophysics: About combining forms, classical compounds and affixoids. *Selected Proceedings of the 2008 Symposium on New Approaches in English Historical Lexis (HEL-LEX*), Lammi, Finland, 25—28 April 2008, 1—13.

Korotkina, Irina B. (2016). *Academic Vocabulary for Social Sciences*. Moscow: HSE Publishing House.

Korotkina, Irina B. (2017). Expanding academic vocabulary through logical games. *Problems of Contemporary Science and Practice*. Tambov State Technical University. 66 (4), 173—180.

Levine, Harold (1965) *Vocabulary for the College Bound Student*. Amsco School Publications.

McCarthy, M. and Carter, R. (1994). *Language as Discourse: Perspectives for Language Teaching.* London: Longman.

McCarthy & O'Dell (2008). *Academic Vocabulary in Use*. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Menzel, K. & Degaetano-Ortlieb, S. (2017). The diachronic development of combining forms in scientific writing. *Lege Artis: Language yesterday, today, tomorrow*. II (2). 185—234.

Olshtain, E. & Celce-Murcia M. (2001). Discourse analysis and language teaching. *The Handbook of Discourse Analysis.* D.Schiffrin, D.Tannen & H.Hamilton (eds.). Blackwell Publishers, 2001, pp. 707—724.

Pennanen, E.V. (1972). Current views of word-formation. *Neuphilologische Mitteilungen*. 73, 292—308.

Plag, I. (2003). *Word-formation in English*. Cambridge: Cambridge University Press.

Prćić, T. (2005). Prefixes vs Initial Combining Forms in English: A Lexicographic Perspective. *International Journal of Lexicography*. 18 (3), 313—334.

Saussure, F. de (1916). *Cours de linguistique générale (Course in General Linguistics)*. Paris.

Scarcella, R. (2003). *Academic English: A Conceptual Framework. Technical Reports, University of California Linguistic Minority Research Institute*, UC Berkeley. Retrieved from: http://escholarship.org/uc/item/6pd082d4. Accessed 9 January 2018.

Schiffrin D., Tannen D. & Hamilton H. (eds.) (2001). *The Handbook of Discourse Analysis*. Blackwell Publishers.

Swales, J. M. (1990). *Genre Analysis: English in Academic and Research Settings.* Cambridge: Cambridge University Press.

Tardy, C. (2004). The role of English in scientific communication: lingua franca or Tyrannosaurus rex? *Journal of English for Academic Purposes*, 3, 247—269.

Uzuner, S. (2008). Multilingual scholars' participation in core/global academic communities: A literature review. *Journal of English for Academic Purposes*, 7, 250—263.

Warren, B. (1990). The importance of combining forms. *Contemporary morphology*. Dressler, W.U., Luschützky, H.C, Pfeiffer, O.E. et al. (eds.). Berlin: de Gruyter. 111—132.

Egorova, L.A. (2011) The problem of scientific hypermedia discourse perception. *Russian Journal of Linguistics.* 2. 5—10.

Kolesnikova, N. (2010). What is important to know about the language and style of academic texts. *Vysshee obrazovaniye v Rossii [Higher Education in Russia*]. Part 1. 3, 130—137.

Sinelnikova, L.N. (2017). Rhizome and discourse of intermediality. *Russian Journal of Linguistics*. 21 (4), 805—821.

Yanutik S.Y., Amatov A.M. (2017). Derivational potential in prefixes of Latin origin. *Belgorod State University Scientific Bulletin. Humanities*. 14 (263), 34. 76—83 (in Russ.)

Zubenko I.V., Masneva I.E. (2002). Morfemnoye slovoobrazovaniye v latinskom i angliyskom yazykah [Morphemic word-formation in Latin and English] *Yazyk i Kul'tura [Language and Culture*]. 2, 86—90. (In Russ.)

Article history:
Received: 28 December 2017
Revised: 25 January 2018
Accepted: 27 February 2018

For citation:
Korotkina, Irina (2018). Classical Elements and Word-formation in Academic Discourse. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (2), 389—403. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-389-403.

Bionote:
IRINA KOROTKINA is PhD, Head of the Interdisciplinary Department of English Moscow School of Social and Economic Sciences, Associate professor at the School of Public Policy, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. She is a Member of the National Society of English Teachers (NATE) and author of a number of teaching manuals, educational programs and more than 70 scientific publications in the field of English language teaching methodology, academic literacy, distance learning and the use of Information and communication technologies in the educational process. *Contact information:* e-mail: irina.korotkina@gmail.com

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-389-403

ЭЛЕМЕНТЫ ЛАТИНСКО-ГРЕЧЕСКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

И.Б. КОРОТКИНА

Московская высшая школа социальных и экономических наук
119571, Москва, Россия, пр. Вернадского, д. 82/2

Несмотря на многообразие дисциплинарных дискурсов и различия в национальных научных традициях, глобальный академический дискурс использует английский язык как единый язык образования и науки. Однако специфику академического языка определяет активное словообразование на основе элементов из классических языков как в терминологии дисциплин, так и в междисциплинарном контексте. Понимание функциональных особенностей этой лексики необходимо каждому члену академического сообщества, как студентам, так и исследователям, в особенности тем, для кого английский язык не является родным. К сожалению, информация о латинско-греческом словообразовании в английском языке в словарях, реферативных источниках и учебной литературе не всегда достаточна, точна и систематизирована. В статье обсуждаются проблемы изучения классических элементов и словообразования в английском языке и предлагается междисциплинарный подход к их изучению на основе лингвистической теории, дискурсивного анализа, контрастивной (межкультурной) риторики и теории общей компетенции, лежащей в основе развития родного и изучаемого языка. Подход был апробирован в различных образовательных контекстах и может быть использован в качестве модели для расширения лексики глобального академического дискурса на основе активизации скрытого в родном языке знания латинско-греческих элементов носителями других языков.

Ключевые слова: *академический дискурс, элементы классических языков, словообразование в английском языке, лексика академического дискурса, межкультурная риторика, теория общей компетенции*

История статьи:
Дата поступления в редакцию: 28 декабря 2017
Дата принятия к печати: 27 февраля 2018

Для цитирования:
Korotkina, Irina B. (2018). Classical Elements and Word-formation in Academic Discourse. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (2), 389—403. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-389-403.

Сведения об авторе:
ИРИНА БОРИСОВНА КОРОТКИНА — кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой английского языка Московской высшей школы социальных и экономических наук, является членом Национального общества преподавателей английского языка (NATE), Российской ассоциации глобальной коммуникации и Российского общества по изучению американской культуры (ОИКС). Автор свыше 70 научных и учебно-методических публикаций, в том числе пяти учебных пособий. *Сфера научных интересов: а*кадемическое письмо, проблемы академической грамотности и языка науки, требования к публикациям в зарубежных научных журналах, академическая лексика и проблемы терминообразования, международные исследования в области новой грамотности (New Literacy Studies), английский для специальных и академических целей (EGAP/ESAP), онлайновое образование, интернационализация образования и науки. *Контактная информация:* e-mail: irina.korotkina@gmail.com

Russian Journal of Linguistics
Вестник РУДН. Серия: ЛИНГВИСТИКА
2018 Vol. 22 No. 2 404—422
http://journals.rudn.ru/linguistics

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА
THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-404-422

STANCE BUNDLES IN ENGLISH-TO-POLISH TRANSLATION: A CORPUS-INFORMED STUDY

ŁUKASZ GRABOWSKI
University of Opole
11a pl. Kopernika, 45-040 Opole, Poland

Abstract

In this paper, we make an attempt to improve the textual fit of English-to-Polish translation of a peculiar type of multi-word units known in corpus linguistic literature as lexical bundles (Biber et al. 1999). Inspired by a study conducted by Grabar and Lefer (2015), we used the English-Polish parallel corpus Paralela (Pęzik 2016) and the National Corpus of Polish (NKJP) to extract and explore the use — in terms of frequency distributions — of the Polish equivalents of selected English lexical bundles expressing attitudinal and epistemic stance. More precisely, we used the NKJP corpus to check whether the Polish equivalents are typical of contemporary Polish as found in native texts. The results of this corpus-informed study revealed a high number of Polish equivalents, both single- and multi-word units, expressing stance. Also, the results showed that the majority of Polish equivalents are frequently used in native Polish texts and therefore they can potentially help enhance the textual fit of translations. Finally, we discussed limitations of the methods and corpora used in this preliminary study and presented suggestions on how it can be pursued further in the future to better explore the usefulness of lexical bundles for translation teaching and translation practice. To that end, we also presented proposals of in-class translation activities.

Keywords: *corpus linguistics, lexical bundles, English-to-Polish translation, parallel corpus, textual fit*

1. INTRODUCTION

When we read translations, be it literary novels, user manuals, press articles or otherwise, we are sometimes under the impression that the text sounds somewhat unnatural or reads with difficulty. This impression of ours is largely based on the linguistic intuition of native speakers of a given target language, which, in turn, is contingent upon our prior experience (i.e. reading and/or writing) with native non-translational texts. In that respect, the linguistic intuition is largely determined by the memory of contexts, both linguistic and extra-linguistic ones, in which words or expressions were used in the past (Piotrowski 2011: 50). In a similar vein, Hoey (2005, 2007) argues that linguistic intuition of language users represents accumulation of their prior linguistic experience[1].

[1] More specifically, Hoey (2005: 13) claims that a "word is primed for use in discourse as a result of the cumulative effects of individual encounters with the word", a statement which is an essence of his lexical priming theory. Accordingly, when we use a particular word, we primed to use it again in the future with its typical collocations, in its typical grammatical function, in similar semantic and pragmatic contexts, in the domains, registers and genres associated with it as well as in familiar social contexts (Hoey 2005: 13; 2007: 8).

A clash between linguistic intuition and linguistic properties of texts may arise in the case of translations, which — by their very nature — are produced under different constraints than native texts, e.g. interference from the language of the original, standardization to the norms of a target language (Toury 1995), to name but a few factors[2]. For example, if a native speaker of Polish is confronted with a choice between two alternative equivalents of the English sentence *I am not at home*, he or she will most probably argue that *Nie ma mnie w domu* sounds more natural in Polish than *Nie jestem w domu*, a calque of the English sentence, which is ungrammatical in Polish. At this point, one may also refer to the concept of text's naturalness, which can be described — capitalizing on the definition proposed by Lewandowska-Tomaszczyk (2012: 34) — as a system of language users' preferences of the use of linguistic items measured by their frequency of occurrence in a particular context. Hence, the use of language corpora providing access to information on the frequency of use of particular linguistic items in a given context and co-text offers a more objective way, notably when compared with linguistic intuition alone, to capture and measure linguistic preferences of language users as well as the text's naturalness. According to Pérez-Paredes (2010: 157), "we can all too easily, maybe too 'easy', make generalizations about language use based on our perceptions or personal experiences, contact with a language or plain introspection." Also, given the fact that native texts and translations are produced under different circumstances, linguistic preferences of translators, in particular those rendering texts into a target language which is not their native one, may not always coincide with the native speakers' preferences.

In view of the above considerations, we can assume that when a translation sounds somewhat unnatural, idiosyncratic or reads with difficulty (due to excessive lexical or syntactic calques, simplification of syntactic structures, overuse or underuse of certain grammatical structures or prefabricated formulas etc.), it most probably does not fit the norms and conventions (grammatical, stylistic, generic etc.) of the target language. Accordingly, such a translation may not closely resemble native texts (i.e. non-translations) originally written in the target language. That being so, one may observe certain linguistic distance or dis/similarity of translated texts to non-translated texts, a hypothesis known in literature on the so-called translation universals as the textual fit hypothesis (Chesterman 2004: 6). It accounts for the relation of acceptability of a text or its fitting into the family of non-translated native texts in the target language, e.g. whether lexical, grammatical or stylistic profile of a translation from source language and culture into target language fits into the corresponding profile of non-translated texts in the target language, which function in the target culture (Chesterman 2004: 6). As argued by Kranich (2016:10), apart from cultural differences and interference from the source language "a tendency to 'say what seems normal or safe' should be also kept in mind as a potential explanation for differing behaviour of translated texts compared to the source and target language originals".

The interest in corpus linguistic research on the textual fit hypothesis has intensified in recent years. For example, Biel (2014a, 2014b) explored the textual fit of EU law

[2] Interference and standardization are two laws of translation described by Toury (1995, 2001).

translated into Polish as compared with non-translated Polish law. From a cross-linguistic perspective, Grabowski (2018a) made an attempt to use a custom-designed comparable corpus of English and Polish patient information leaflets (i.e. non-translated English and Polish texts) to extract lexical bundles of similar discourse functions (referential, discourse-organizing and expressing stance), which may help enhance the textual fit of translated texts[3]. In practice, the textual fit hypothesis implies that what is important for the translator to take account of when performing a translation task is adherence to discourse norms and conventions of text production in the target language and culture, which also includes expectations of the receiver of a translated text.

In this preliminary corpus-informed study[4], an attempt is made at enhancing the textual fit of translated texts taking the translation of recurrent multi-word units as a case in point. Also, the study aims to verify whether the results of descriptive research — conducted using corpus linguistic methodology — on the so-called lexical bundles (Biber et al. 1999), a peculiar type of recurrent multi-word units, may be turned into actionable knowledge useful for practitioners of English-to-Polish translation. A similar attempt, which provided motivation to undertake a study like this one, was made by Grabar and Lefer (2015), who focused on English-to-French translation of lexical bundles found in the transcripts of debates held at the European Parliament.

2. RECURRENT MULTI-WORD SEQUENCES AS A PROBLEM IN TRANSLATION

Before the scope and methodology used in this preliminary study is described, it is necessary to justify why the emphasis is put in this paper on translation of recurrent multi-word units (henceforth MWUs). Generally speaking, MWUs pose a plethora of problems in translation, in particular machine translation and computer-assisted translation. As for machine translation, the main problems refer to varying degrees of fixedness, pattern variability, syntactic flexibility (positional and constituency variation), and semantic compositionality of MWUs (Sag et al. 2002; Bouamor et al. 2012; Barreiro & Batista 2016; Skadina 2016). For example, it may happen that the same sequence or combination of words (e.g. *умывать руки*, which literally means ‘to wash one’s hands’) may convey different meanings in different contexts of language use[5], e.g.:

> *Нарезаю лососину на ошметки (...), мажу чуть-чуть васаби с одной стороны (...) и приделываю сверху на бобышки — так, чтобы васаби оказался между лососем и рисом. Получаются суси с лососем.* ***Умываю руки****. Теперь — роллы с лососем. Рис готовится так же, как и для суси.* [Александр Черных. Москва — Токио (2004) // «Хулиган», 2004.08.15]

[3] The research conducted by Grabowski (2018a, forth.), which provided another motivation to pursue a study like this one, revealed that genre-specific stylistic conventions also determine the choice of the most natural (acceptable) translation, e.g. it was found that English patient information leaflets are written in a less formal, plain style as compared with their Polish counterparts.

[4] This preliminary descriptive study is described as corpus-informed one (or corpus-illustrated one), as the use of corpora (parallel and monolingual ones) is largely limited to quoting examples of language use (Górski 2012: 292; Lee 2008: 88).

[5] Similar example: *дать прикурить* etc.

Петр Антонович пожал плечами. — Если вы настаиваете на своем, — сказал он, — то я ***умываю руки****, и слагаю с себя ответственность за возможные последствия* [Ф.К. Сологуб. Турандина (1912)][6].

In the examples presented above, the word combination under scrutiny, namely *умываю руки*, should be translated differently into Polish depending on its sense, which emerges from the context of its use. In the first example, *умываю руки* should be translated into Polish as *myję ręce* (used in the context of washing one's hands, i.e. similar to *умывать лицо* 'wash one's face') while in the second one an acceptable translation should be *umywam ręce* (used to communicate that one accepts no responsibility for something). However, for the reasons described above, machine translation systems often fail to make such sense distinctions, as it is illustrated by the data extracted from Google Translate (as of 14 December 2017), e.g.:

Kroję łososia na strzępy (...), smaruję odrobinę wasabi po jednej stronie (...) i przymocowuję go na wierzchu łapek — tak, aby wasabi było splecione z ryżem. Zdobyte sushi z łososiem. ***Myję ręce****. Teraz — bułki z łososiem. Ryż jest przygotowywany w taki sam sposób, jak w przypadku sushi.* [Alexander Chernykh. Moskwa — Tokio (2004) // "The Hooligan", 2004.08.15]

Piotr Antonowicz wzruszył ramionami. "Jeśli nalegasz na własną rękę", powiedział, "wtedy ***myję ręce*** *i rezygnuję z odpowiedzialności za możliwe konsekwencje".* [Ф.К. Сологуб. Турандина (1912)]

Also, MWUs pose challenges for computer-assisted translation tools (the so-called CATs), which process texts as sequences of words divided by spaces or punctuation signs. That is why such tools fail to perform text segmentation in a way sequences of words are mapped with particular meanings (senses). In other words, as text segmentation is based on text's orthography or punctuation, a translation unit is usually a sentence or clause rather than a multi-word unit constituting a readily available form-and-meaning mapping[7].

Another closely related problem is described by Piotrowski (1994: 104), who argues that in translation one can hardly speak of a stable translation unit. It is often the case that words or MWUs, which are more or less stable across source-language texts, can be or must be translated using target-language words or expressions at different levels of language organization[8], a change in translation as compared with the original referred to by Catford (1965: 76) as a unit shift, e.g. Eng. *there is no doubt that* vs. Pol. *niewątpliwie*. Also, MWUs may convey different pragmatic meanings depending on the context of language use, e.g. a Polish noun phrase *zły pies* 'bad dog' can be translated into English as *bad dog* if used in a narrative text, or *Beware of the dog!* if used as

[6] The examples were extracted from the Russian National Corpus (www.ruscorpora.ru).

[7] More detailed discussion on the limitations of CAT tools can be found in Kornacki (2017).

[8] The original reads: „trudność polega na tym, że w rzeczywistych tłumaczeniach nie istnieje stabilna jednostka przekładu (...) zaś wyrażenia w języku źródłowym, stałe w rozmaitych tekstach w tymże języku, mogą bądź muszą być tłumaczone za pomocą wyrażeń języka docelowego na innym poziomie" (Piotrowski 1994: 104).

a warning nailed to a gate or fence (Grabowski 2018a: 182, forth.). As with any linguistic form, be it a single-word or multi-word unit, its pragmatic meaning emerges from a situation of language use, e.g. from particular speech acts. That being so, the very identification of pragmatic meanings of MWUs largely determines the choice of the most natural and acceptable translation in a given context. Finally, it goes without saying that recurrent MWUs may differ with respect to their length, frequency and distribution in texts produced in typologically different languages (cf. Granger 2014; Grabowski 2014, 2018a).

This paper focuses on the translation of a particular type of recurrent MWUs known in corpus linguistic literature as lexical bundles (Biber et al. 1999), e.g. *I don't think*, *as a result*, *the nature of the*, *when it comes to, it is important to, it is clear that*. In short, lexical bundles (henceforth LBs) are extracted from texts based on their length, frequency and distribution. In essence, they perform specific textual or discourse functions (e.g. referential, discourse-organizing, expressing stance) across the whole variety of text types, genres or specialist domains of language use (Biber et al. 2004; Hyland 2008; Biber 2006, 2009; Goźdź-Roszkowski 2011; Breeze 2013; Salazar 2014; Grabowski 2015, 2018b; Fuster-Marquez 2017; McVeigh 2018). In short, those studies provide evidence that the number, distribution, structure and functions of LBs vary across spoken and written registers according to many factors related to situational contexts and communicative functions, such as topic, setting, participants, relations among participants, production circumstances, communicative purposes etc. (Biber & Conrad 2009: 37—47). However, most research studies on LBs have been conducted using English-language material and they are largely descriptive. An overarching aim of those studies, which are predominantly targeted at teaching English in various academic contexts, is to describe and later isolate those MWUs which are potentially the most pedagogically useful (e.g. Simpson-Vlach & Ellis 2010; Martinez & Schmitt 2012; Salazar 2014). One may also note the scarcity of cross-linguistic studies focusing on recurrent n-grams or LBs, with the notable exceptions of Forchini and Murphy (2008), Granger (2014), Oksefjell Ebeling and Ebeling (2016), Biel (2017), Berūkštienė (2017), Grabowski (2018a) or Grabar and Lefer (2015). Approaching those peculiar MWUs from the perspective of translation, the last-mentioned study is targeted at identification of LBs in English and French EU parliamentary debates in order to develop bilingual lexicons to be further used in computer-assisted translation tools or machine translation tools. In a similar vein, Berūkštienė (2017) explored how different structural types of LBs found in English court judgments were rendered into Lithuanian. The rationale behind those cross-linguistic studies is the assumption that LBs, which represent recurrent and reproducible MWUs in a given source language, should have more or less regular equivalents in other languages (Jukneviciene 2017: 63).

An observation made by Grabar and Lefer (2015), who argue that terminological databases used by translators rarely, if ever, include MWUs that express writer's stance or structure texts, provided motivation to undertake a study like this one. The following section describes the methodology, research material and goals of this study.

3. METHODS

Likewise in Grabar and Lefer (2015), the general aim of this preliminary study is to verify the usefulness of LBs for translation purposes. More precisely, following selected elements of the methodology used by Grabar and Lefer (2015), we aim to explore whether LBs may be used to improve naturalness — in this study operationalized as the textual fit — of English-to-Polish translation of selected LBs expressing stance and found in the EU parliamentary debates. As mentioned earlier, a unit of analysis used in this paper are LBs expressing attitudinal stance, i.e. the speaker's subjective feelings, emotions, attitudes, value judgments or assessments of the following proposition, and epistemic stance, i.e. the speaker's expression of certainty, doubts, reliability or limitations of the following proposition (Biber et al. 1999: 966; Biber 2006: 139; Mindt 2011: 74; Gray & Biber 2013)[9]. Capitalizing on the results of the study conducted by Grabar and Lefer (2015), who identified a high number of stance LBs in EU parliamentary debates[10] in English and aligned them with their French equivalents, in this paper we want to explore, first, how four stance bundles[11] (*it is not surprising that, it would be wrong to, there is no doubt that, it may well be*) were translated into Polish and, second, whether the Polish equivalents are at the same time typical of the Polish language (i.e. whether they are the ones that enhance the textual fit of translations as compared with native texts produced originally in Polish). Employed to strengthen or weaken the force of the following proposition, epistemic stance LBs (*there is no doubt that*, *it may well be*) can be said to pragmatically function as boosters or hedgers[12]. As for attitudinal stance LBs (*it is not surprising that, it would be wrong to*), which are used to subjectively evaluate or assess the content of the following proposition, they may help persuade someone into accepting the speaker's interpretation of information conveyed in the text or his/her point of view. Hence, the study results may also offer cursory insight into pragmatic preferences in English and Polish as regards the linguistic expression of stance.

As a research material, we will use two corpora: a parallel one and a monolingual one. More specifically, in order to identify Polish equivalents of the four aforementioned English stance bundles, we will use Paralela corpus (Pęzik 2016), an English-Polish and Polish-English parallel corpus. Currently, the corpus includes 262 million words in 10,877,000 translation segments found predominantly in legal texts (European Union legislation, proceedings of the European Parliament etc.), press releases, medical texts (provided by the European Medicine Agency) as well as film subtitles (Pęzik 2016: 68). The English and Polish translation segments are aligned at the sentence level (Pęzik 2016: 70), with 5.3% of the segments aligned manually. The size of the sub-corpus of the European Parliament proceedings (EPP) is 13,026,414 words stored in 693,139

[9] The division between attitudinal and epistemic stance is also described by Jalali (2017: 31).

[10] The transcripts of EU parliamentary debates were extracted from the Europarl corpus (Koehn 2005).

[11] The LBs under scrutiny were randomly selected from the ones identified in the English Europarl corpus by Grabar and Lefer (2015).

[12] In a similar vein, Kranich (2016: 95) argues that expressions of epistemic modality can perform the function of hedgers.

translation segments. Recorded on 11th, 12th and 23rd October 2006, the debates were originally translated from English into Polish.

Having identified Polish target language equivalents of the English LBs under scrutiny, the monolingual corpus of Polish will be used to verify the status — in terms of the frequency of use — of the equivalents as they are used in native texts originally written in Polish. The selection of the reference corpus is not devoid of methodological problems. Ideally, one should employ a corpus representing the same genre, e.g. a collection of debates held in the Polish parliament. However, such a corpus is not readily available to researchers. That is why a decision has been made to use a balanced sub-corpus of the National Corpus of Polish (NKJP), which includes 240,192,461 words found in texts published after the year 1945 and represents the whole variety of text types and genres, both written and spoken. In fact, 10% of the texts represent spoken language, including parliamentary debates held in the Polish parliament (Pęzik 2012: 39). However, throughout validation of the target-language equivalents the frequencies obtained from the spoken language component of NKJP were found to be too low to arrive at any definite conclusions. That is why we decided to use the entire balanced sub-corpus of NKJP, also in view of the fact that in terms of their use both source- and target-language equivalents are not restricted to spoken texts[13]. Another limitation of the procedure adopted in this study is that the target language equivalents were searched for in their exact form, which follows that any variation within MWUs was ignored.

In the following section, the results of the quantitative and qualitative analysis will be presented. They will provide an insight into the equivalent Polish lexical items, be it single-words or MWUs, expressing attitudinal and epistemic stance. It is believed that LBs, which are recurrent MWUs typical of specialist discourses, text types or registers and which perform specific discourse functions, can be used as a starting point in the search for target language equivalents. The search will be conducted through close reading of parallel concordances and manual identification of equivalent pairs of translation units. Later, in order to identify the most salient equivalents, i.e. the most typical of contemporary Polish, the frequency of the Polish translation units will be verified against native texts collected in the NKJP corpus.

4. RESULTS

The first attitudinal stance bundle under scrutiny, namely *it is not surprising that*, occurs only 9 times in the EPP sub-corpus of Paralela. One may find there the following Polish equivalents: *nie może zaskakiwać, że; nie zaskakuje* [*(propozycja), by*]*; nie jest zaskoczeniem* [*(propozycja), by*]*; nie zaskakuje, że; nie jest zaskakujące, że*; *nic dziwnego, że*; *nie należy się dziwić, że; nie dziwi (fakt), że; nie dziwi (to), że*. In this particular case, there was no unit shift in the translation, i.e. the MWUs in the original were translated using MWUs in the target language. However, the manual verification of the Polish equivalents revealed that two items, namely *nie może zaskakiwać, że*

[13] According to Pęzik (2012: 39), transcripts of pre-written speeches are referred to in specialist literature as ‘to-be-spoken’ texts.

(0 occurrences *in* NKJP), *nie jest zaskakujące, że* (1 occurrence in NKJP) are very rare (or not used at all) in the National Corpus of Polish, e.g.:

(1) *Biorąc pod uwagę te niepewności,* ***nie jest zaskakujące, że*** *wielu z nich ma opory co do inwestowania, jak też zatrudniania nowych pracowników.* (IJP-PAN_p00009600946).

The most frequent Polish equivalent found in NKJP is *nic dziwnego, że* (2,744 occurrences), followed by *nie dziwi, że* (184 occurrences) and *nie należy się dziwić, że* (52 occurrences). That is why these target language equivalents can be considered to be more typical of contemporary Polish and hence they may help enhance the textual fit of translated texts. The examples of their use in the EPP sub-corpus of Paralela are presented below.

(2) ***It is not surprising that****, at the end of this period, we have actually created the greatest productive power and the greatest degree of clarity in this period.*
Nic dziwnego, że *pod koniec tego okresu rzeczywiście stworzyliśmy największy produktywny potencjał i przejrzystość najwyższego stopnia w tym czasie.*

(3) *(...)* ***it is not surprising that*** *the first full impact on the real economy of the crisis in the financial markets has hit the car market.*
Nie dziwi to, że *oddziaływanie kryzysu finansowego na gospodarkę realną jest w pierwszej kolejności odczuwalne na rynku samochodowym.*

(4) *I should also say that Shen Yun promotes the philosophy of truthfulness, tolerance and compassion so* ***it is not surprising that*** *the Chinese Government and Communist Party fear that contrary ideology.*
Trzeba też powiedzieć, że Shen Yun promuje filozofię prawdy, tolerancji i współczucia, więc ***nie należy się dziwić, że*** *chiński rząd i partia komunistyczna obawiają się tej obcej sobie ideologii.*

The remaining Polish equivalents do not enhance the degree of textual fit to the same extent. The reason for that is that they occur in NKJP with considerably lower frequencies and in different lexical and grammatical contexts, e.g. *nie zaskakuje* [*(propozycja), by*] and *nie jest zaskoczeniem* [*(propozycja), by*] do not occur in the said corpus in the form of constructions such as '*nie zaskakuje/nie jest zaskoczeniem* + noun + *by'*. Interestingly, the expression *nie jest zaskoczeniem* occurs in NKJP 121 times, in most cases either in sentence-final position (e.g. *Opór ludowców* ***nie jest zaskoczeniem***. (PELCRA_1303919931001)) or followed by conjunctions, such as *bo* or *gdyż* introducing explanations to information introduced earlier in the text (e.g. *Brak w tym gronie Unibaksu* ***nie jest zaskoczeniem, bo*** *żużlowcy jako spółka akcyjna dostaną wsparcie z funduszu promocji* (IJPPANp0006300176)). Finally, the expression *nie jest zaskoczeniem, że/iż* is used in NKJP 12 times only.

The next bundle subjected to the analysis, *it would be wrong to*, is found 17 times in the EPP sub-corpus of Paralela, and its two Polish equivalents, namely *błędem byłoby* and *byłoby błędem*, are the most frequent ones (10 occurrences in total), e.g.:

(5) *At the same time* ***it would be wrong to*** *compare the African Union with the European Union, because they are different types of Unions and we should not try to compare them one to one.*
Równocześnie **błędem byłoby** porównywanie Unii Afrykańskiej z Unią Europejską, ponieważ są one różnymi rodzajami unii; nie powinniśmy więc porównywać ich ze sobą.

(6) *In both cases, however, I think* ***it would be wrong to*** *break off the talks.*
Sądzę jednak, że w obydwu przypadkach zrywanie rozmów ***byłoby błędem****.*

Other Polish equivalents include *niewłaściwe byłoby* (1), *byłoby złym* (np. *posunięciem*) (1), *niesłuszne/niesłusznym byłoby* (2 occurrences), *byłoby niestosowne* (1 occurrence) *nie byłoby dobre* (1 occurrence) or *nie można* (2 occurrences), e.g.:

(7) *That is why* ***it would be wrong to*** *agree with him in this instance.*
Dlatego też ***nie można*** *zgodzić się z nim w tym względzie.*

(8) *It would be wrong to deny that.*
Niesłuszne byłoby *zaprzeczanie temu.*

(9) *In the rapporteur 's view,* ***it would be wrong to*** *miss this opportunity to ensure that this directive does more than supply a set of definitions.*
W opinii sprawozdawczyni ***nie byłoby dobre*** *przeoczenie możliwości zapewnienia przez tę dyrektywę czegoś więcej niż tylko zbioru definicji.*

However, the data found in the National Corpus of Polish show that the most frequent equivalents in Paralela (*błędem byłoby* and *byłoby błędem*) are at the same time the most typical of contemporary Polish (156 occurrences in NKJP). Other equivalents occur in the corpus with lower frequencies (*niewłaściwe byłoby* — 6 occurrences; *byłoby złym* — 11 occurrences; *niesłuszne/niesłusznym byłoby* — 12 occurrences; *nie byłoby dobre* (followed by gerunds — 4 occurrences). As for the impersonal construction with *nie można* followed by the infinitive, it occurs 7,283 times in NKJP in the whole variety of contexts (‘must not’, ‘one cannot’, ‘it is not permitted to’ etc.), i.e. not limited to *it would be wrong to* followed by the infinitive, as it is the case in the English original.

The third lexical bundle analyzed in this paper, *there is no doubt that,* is used in Paralela 181 times and its most frequent Polish equivalent is *nie ma wątpliwości, że* (75 occurrences in Paralela), e.g.:

(10) ***There is no doubt that*** *the damage to the Fukushima nuclear power plant is a disaster, but the final death toll will not be counted in thousands or hundreds, and perhaps not even in tens.*
Nie ma wątpliwości, że *szkody w elektrowni jądrowej w Fukushimie to katastrofa, ale ostatecznie ofiary nie będą liczone w tysiącach czy setkach, a być może nawet nie w dziesiątkach.*

(11) ***There is no doubt that*** *the US is a superpower, and its views, proposals and requests cannot be swept off the table just like that.*
Nie ma wątpliwości, że *Stany Zjednoczone to supermocarstwo oraz że poglądów, propozycji i żądań tego kraju nie można tak po prostu ignorować.*

Among other equivalents, one may find both MWUs and single-word units. The former ones include *nie ma wątpliwości co do tego, że* (10 occurrences), *nie ma żadnych wątpliwości, że* (1 occurrence), *nie ulega wątpliwości, że* (21 occurrences), *bez wątpienia* (28 occurrences), *co oczywiste* (1 occurrence), *z całą pewnością* (3 occurrences), *nie podlega wątpliwości* (1 occurrence), *brak wątpliwości co do tego, że* (1 occurrence), e.g.:

(12) *For example,* ***there is no doubt that*** *the Court of Justice, in particular, would use the accession to once again extend the EU 's powers.*

Przykładowo ***nie ma wątpliwości co do tego, że*** *w szczególności Trybunał Sprawiedliwości może wykorzystać przystąpienie do kolejnego rozszerzenia uprawnień UE.*

(13) ***There is no doubt that*** *this is an EP own-initiative report that is highly relevant and topical.*
Bez wątpienia*, przedmiotowe sprawozdanie PE z inicjatywy własnej jest w wysokim stopniu trafne i rzeczowe.*

The verification of the findings in the National Corpus of Polish revealed that the most frequent equivalent in the EPP subcorpus of Paralela is not necessarily the most typical one of contemporary Polish. More precisely, the most frequent expression in the NKJP is *nie ulega wątpliwości, że* (1,289 occurrences), followed by *nie ma wątpliwości, że* (953 occurrences), *nie ma żadnych wątpliwości, że* (53 occurrences), *nie ma wątpliwości co do tego, że* (48 occurrences), *nie podlega wątpliwości* (19 occurrences). The equivalent *brak wątpliwości co do tego, że* is not found in NKJP. Other equivalents, namely *bez wątpienia* 'without doubt' (3,866 occurrences in NKJP), *co oczywiste* 'obviously' (262 occurrences in NKJP)*, z całą pewnością* 'certainly' (3,463 occurrences in NKJP), represent interesting translational choices yet they can be also used as equivalents of other words or expressions.

As for the single-word items, adverbials such as *niewątpliwie* ('undoubtedly', 'doubtless') with 18 occurrences in Paralela (and 10,891 in NKJP), *oczywiście* ('of course', 'obviously') with 2 occurrences in Paralela and 86,424 in NKJP) and *niezaprzeczalnie* 'undeniably' (1 occurrence in Paralela and 103 in NKJP) account for all the three equivalents of *there is no doubt that*, e.g.:

(12) ***There is no doubt that*** *cluster munitions are very cruel weapons systems which cause great suffering to civilians.*
Niewątpliwie *amunicja kasetowa należy do bardzo okrutnych typów broni, który powoduje ogromne cierpienia wśród ludności cywilnej.*

(13) **There is no doubt that** the Commission is telling us that this will mean a reduction in bureaucracy.
Komisja ***oczywiście*** *zapewnia nas, że zabieg ten ograniczy biurokrację.*

(14) *This is a pity, because* ***there is no doubt that*** *science allows us to assess what influence economic changes have on the environment in the region.*
Szkoda, bo ***niezaprzeczalnie*** *to nauka pozwala nam ocenić, jaki wpływ w tym rejonie wywierają zmiany ekonomiczne na środowisko.*

A relatively high frequency of *niewątpliwie* ('undoubtedly') in both the EPP sub-corpus of Paralela and NKJP shows that it may also be treated as an acceptable translation equivalent of a MWU *there is no doubt that*, which is another example of the so-called unit shift (Catford 1965: 76).

Finally, the bundle *it may well be* occurs in the EPP subcorpus of Paralela 12 times with the following equivalents: *być może* (2 occurrences); *bardzo możliwe, że* (1 occurrence); *jest możliwe* (1 occurrence) *niewykluczone, że* (1 occurrence); *może się okazać, że* (1 occurrence); *równie dobrze* (2 occurrences); *może* (4 occurrences), e.g.:

(15) ***It may well be*** *that I will then be among them.*
Być może *będę wtedy jedną z nich.*

(16) *However, **it may well be** the case that tools such as XBRL tagging can develop that.*
***Może się** jednak **okazać**, że umożliwią to takie narzędzia jak format elektroniczny XBRL.*

(17) *We need to adopt a completely different approach to dismantling and, in my opinion, **it may well be** possible to induce the shipowners to do so, especially given all the negative publicity on this issue in recent years.*
*Musimy zająć zupełnie inne stanowisko wobec demontażu statków i moim zdaniem **równie dobrze** można nakłonić właścicieli statków do tego samego, zwłaszcza biorąc pod uwagę wszelkie negatywne materiały, jakie zostały wydane w ciągu ostatnich kilku lat.*

(18) *Indeed, **it may well be** the case that liberalisation fuels liberalisation.*
*W istocie, liberalizacja w jednym miejscu **może** przyśpieszać liberalizację w drugim.*

(19) *As for your agreement with Australia, **it may well be** a cut above other agreements, for example with the United States.*
*Jeżeli chodzi o umowę z Australią, **niewykluczone**, że jest lepsza od innych umów, na przykład tej ze Stanami Zjednoczonymi.*

The manual verification of the Polish equivalents in the National Corpus of Polish revealed that all equivalents occur there with high frequencies, e.g. *być może* (35,247 occurrences), *bardzo możliwe, że* (242 occurrences), *niewykluczone, że* (2,353 occurrences), *może się okazać, że* (1,091 occurrences), *równie dobrze* (2,430 occurrences) and *może* (395,510 occurrences). On the one hand, these high frequencies show that all the equivalents are typical of contemporary Polish. On the other hand, one may expect that they occur in the whole variety of contexts that require the expression of epistemic stance. For example, an impersonal construction starting with *niewykluczone, że* could as well mean ‘it is possible that’ or ‘there may be’, likewise ‘it may well be’; *być może* could as well mean ‘perhaps’, ‘maybe’, ‘possibly’, ‘might be’, ‘could be’ etc.

5. DISCUSSION

Based on the selected examples of English-to-Polish translations under scrutiny, the results of this study revealed that the translator may use, at least in theory, an infinite number of linguistic means as suitable equivalents that express writer’s or speaker’s attitudinal or epistemic stance. In practice, by creating adequate contexts of language use — taking into consideration both the original text as well as similar native texts in the target language — the translator is restricted neither to those linguistic items which have already occurred in the target language nor to those which are frequent in the target language (Piotrowski 2011: 48), which has been often the case in the examples presented throughout this study (cf. example 1). Also, the translator may attach the expression of stance to a text fragment in the translation which does not correspond to a text fragment expressing stance in the original (cf. example 13). Hence, it is often the case that a MWU in the source language is translated as a single-word unit in the target language. In such a situation, the actual verification of the target language equivalents — in terms of their frequency and potential textual fit — in monolingual reference corpora such as NKJP poses particular challenges. Since monolingual general

language corpora (e.g. NKJP, BNC), by their very nature, contain the whole variety of text types and genres, the target language equivalents subject to verification may occur in various contexts of language use. Moreover, the number and distribution of stance bundles may vary across written and spoken registers according to communicative purposes implied by their co-text and context. That is why it is recommended in the future to replicate this study by using a relatively large target language corpus with native texts representing the same text type, namely transcripts of parliament debates originally conducted in Polish.

6. CONCLUSIONS

The aim of this preliminary study was to verify whether (and if so, then how) lexical bundles may be used to enhance the naturalness — in this paper operationalized as the textual fit (Chesterman 2004: 6) — of English-to-Polish translation of EU Parliament debates. Inspired by the study conducted by Grabar and Lefer (2015), we used the European Parliament sub-corpus (EPP) of Paralela (Pęzik 2016), an English-Polish and Polish-English parallel corpus, as well as the National Corpus of Polish (NKJP), a general language corpus, to explore how four attitudinal and epistemic stance bundles (*it is not surprising that, it would be wrong to, there is no doubt that, it may well be*) are translated into Polish and, second, whether the Polish equivalents are at the same time typical of contemporary Polish language in terms of their frequency of use.

As expected, the results obtained from the EPP sub-corpus of Paralela revealed a high number of Polish equivalents, both single- and multi-word units, expressing stance, which means that the translators use the whole variety of translation techniques when selecting the equivalents. Notably, we reported a high number of unit shifts, where a MWU in the original was translated using a single-word item in the translation. It was also reported that occasionally entirely different sentence fragments in the original and in the translation conveyed attitudinal and epistemic stance.

Next, the results obtained from NKJP corpus revealed a number of Polish equivalents (e.g. *nie może zaskakiwać, że; nie jest zaskakujące, że*)[14] which are very rare or do not occur — in their exact form — at all in the National Corpus of Polish. As a result, it may be argued that they fail to enhance the textual fit of Polish translations. On the other hand, the majority of the Polish equivalents (e.g. *nic dziwnego, że*) are frequently used in native Polish texts and therefore they can potentially help enhance the textual fit of translations.

As for verification of the Polish equivalents in the entire NKJP corpus, we encountered a number of problems. Most importantly, since NKJP includes a plethora of text types and genres[15], the equivalents occur in the whole variety of contexts that require expression of attitudinal and epistemic stance. Hence, the verification of the equivalent in a given context, e.g. in a parliament debate, requires that a custom-designed

[14] These are the translations of the English-original lexical bundle *it is no surprise that*.

[15] See Przepiórkowski et al. (2012) for a more detailed description of NKJP.

collection of transcripts of parliament debates originally conducted in Polish be used in the future to further verify the obtained results. Such collections of native texts in the source language and in the target language, i.e. non-translations, are referred to as bilingual comparable corpora (Laviosa 2002: 101). Obviously enough, in this study we largely focused on English-to-Polish translation of selected stance bundles originally found — by Grabar and Lefer (2015) — in EU Parliament debates, yet it is possible to replicate the procedures described in this paper using other text types or genres.

Both research procedures described in this paper, that is, using a parallel (Paralela) and monolingual reference corpus (NKJP) to extract and verify the use of translation equivalents, constitute the skills that enhance translation competence: using language corpora is nowadays recommended when designing translation training programmes at universities (Biel 2011: 165—169). Importantly, unlike the extraction of LBs from texts, following the methodology proposed by Biber et al. (1999)[16], the use of parallel and comparable corpora is a realistic scenario in the translator's work, which offers repeated exposure to authentic linguistic data. All in all, the use of monolingual, parallel and comparable corpora may help eliminate interference from the source language, identify formulaic expressions and collocations, adapt translations to stylistic conventions of the target language, among others (Biel 2011: 168—169). That is why practical exercises, e.g. focusing on stylistics, aimed at extraction and validation of the use of MWUs in translation and native texts — conducted using monolingual, parallel and comparable corpora as well as online multilingual resources (e.g. Linguee[17]) — should be encouraged in the translation classroom. Capitalizing on the proposals put forward by Jukneviciene (2017: 62—64) and Salazar (2011: 189)[18], the translation tasks may involve, for example, identifying recurrent n-grams or LBs and their functions in source texts and then searching for their equivalents in target texts; comparing the use of LBs (or other types of MWUs) across text samples in L1 and L2, e.g. by focusing on translation of particular MWUs expressing stance or performing text-organizing functions, e.g. cause-and-effect, connectives. For the sake of illustration, Appendix 1 presents a proposal of two translation tasks.

Since the use and distribution of LBs and other types of recurrent word combinations varies across proficiency levels of language learners (Jukneviciene 2009; Staples et al. 2013; Appel & Wood 2016), it may be expected that the frequency and distribution of LBs will also vary between trainee and professional translators. For example, Novita and Kwary (2018), who studied English-to-Indonesian translation of

[16] Extraction of lexical bundles is a task for corpus linguists rather than for professional translators. An attempt at extracting lexical bundles from a custom-designed comparable corpus of English and Polish patient information leaflets, aimed at developing bilingual glossaries (in the form of functionally-aligned lexical bundles in English and Polish) to be implemented into translation memories used in CATs, is described in Grabowski (2018a, forth.).

[17] https://www.linguee.com/.

[18] The research conducted by Salazar (2011, 2014) was focused, among others, on teaching LBs in ESP contexts.

literary texts using 600-word samples of short stories, showed that professional translators produce more LBs, which also occur with higher frequencies, as compared with trainee translators. Hence, similar future studies conducted from the perspective of English-to-Polish translation may provide valuable pedagogical insights into the use of recurrent phraseologies by trainee translators, notably if compared with translations produced by professionals as well as with native texts originally produced in Polish. The results of such studies may also potentially help improve the textual fit of translations.

Summing up, it is hoped that the results of this preliminary research, likewise the results of the study conducted by Grabar and Lefer (2015), showed that the findings from descriptive studies on LBs, most of which were conducted using English language materials, can also be potentially useful for practitioners of translation.

© Łukasz Grabowski, 2018

REFERENCES

Appel, R. & Wood, D. (2016). "Recurrent Word Combinations in EAP Test-Taker Writing: Differences between High- and Low-Proficiency Levels". *Language Assessment Quarterly*, 13 (1): 55—71.

Barreiro, A. & Batista, F. (2016). "Machine Translation of Non-Contiguous Multiword Units". Proceedings of DiscoNLP 2016, 22—30. Available: http://www.inesc-id.pt/publications/12162/pdf (accessed in October 2017).

Berūkštienė, D. (2017). "A corpus-driven analysis of structural types of lexical bundles in court judgments in English and their translation into Lithuanian" *Kalbotyra*, 70: 7—31.

Biber, D. (2006). *University Language. A corpus-based study of spoken and written registers.* Amsterdam: John Benjamins.

Biber, D. (2009). "A corpus-driven approach to formulaic language in English: multi-word patterns in speech and writing". *International Journal of Corpus Linguistics*, 14(3): 275—311.

Biber, D., S. Johansson, G. Leech, S. Conrad & Finegan, E. (1999). *The Longman Grammar of Spoken and Written English*. London: Longman.

Biber, D., Conrad, S. & Cortes, V. (2004). "If you look at...: Lexical bundles in university teaching and textbooks". *Applied Linguistics, 25*(3), 371—405.

Biber, D. & Conrad, S. (2009). *Register, genre and style*. Cambridge: Cambridge University Press.

Biel, Ł. (2011). "Professional Realism in the Legal Translation Classroom: Translation Competence and Translator Competence". *Meta*, 56(1), 162—178.

Biel, Ł. (2014a). "The textual fit of translated EU law: a corpus-based study of deontic modality". *The Translator*, 20 (3): 332—355.

Biel, Ł. (2014b). *Lost in the Eurofog. The Textual Fit of Translated Law.* Frankfurt: Peter Lang.

Biel, Ł. (2017). "Lexical bundles in EU law: the impact of translation process on the patterning of legal language". In" S. Goźdz-Roszkowski & G. Pontrandolfo (Eds), *Phraseology in legal and institutional settings. A corpus-based interdisciplinary perspective*. London/New York: Routledge, 10—26.

Bouamor, D., Semmar, N., Zweigenbaum, P. (2012). "Identifying Bilingual Multi-Word Expressions for Statistical Machine Translation". In: *Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation* (LREC12), 674—679. Available at: http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/pdf/886_Paper.pdf (accessed in December 2017).

Breeze, R. (2013). "Lexical bundles across four legal genres". *International Journal of Corpus Linguistics* 18 (2): 229—253.

Catford, J. (1965). *A Linguistic Theory of Translation*. London: Oxford University Press.

Chesterman, A. (2004). Hypothesis about translation universals. In: G. Hansen, K. Malmkjaer & D. Gile (Eds), *Claims, Changes and Challenges in Translation* Studies. Amsterdam: John Benjamins, 1—13.

Forchini, P. & Murphy, A. (2008). N-grams in comparable specialized corpora. Perspectives on phraseology, translation and pedagogy. *International Journal of Corpus Linguistics*, *13*(3), 351—367.

Fuster-Marquez, M. (2017). "The Discourse of US Hotel Websites: Variation through the Interruptibility of Lexical Bundles". In: M. Gotti, S. Maci and M. Sala (Eds), Ways of Seeing, Ways of Being: Representing the Voices of Tourism. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 400—420.

Goźdź-Roszkowski, S. (2011). Patterns of Linguistic Variation in American Legal English. A Corpus-Based Study. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

Górski, R. (2012). "Zastosowanie korpusów w badaniu gramatyki". In: A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. Górski & B. Lewandowska-Tomaszczyk (Eds), *Narodowy Korpus Języka Polskiego*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 291—300.

Grabar, N. & Lefer, M-A. (2015). "Building a lexical bundle resource for CAT and MT". Presentation delivered at Workshop on Multi-word Units in Machine Translation and Translation Technology (MUMTTT2015) of EUROPHRAS 2015. 29 Jun — 1 Jul 2015, Malaga, Spain. Available at: http://natalia.grabar.free.fr/publications/grabar-MUMTTT2015.pdf (accessed in October 2017).

Grabowski, Ł. (2014). "On Lexical Bundles in Polish Patient Information Leaflets: A Corpus-Driven Study". *Studies in Polish Linguistics*, 19 (1): 21—43.

Grabowski, Ł. (2015). "Keywords and lexical bundles within English pharmaceutical discourse: a corpus-driven description". *English for Specific Purposes*, 38: 23—33.

Grabowski, Ł. (2018a, forth.). "On identification of bilingual lexical bundles for translation purposes. The case of an English-Polish comparable corpus of patient information leaflets". In: R. Mitkov, J. Monti, G. Corpas Pastor and V. Seretan (Eds), *Multiword Units in Machine Translation and Translation Technology* [*Current Issues in Linguistic Theory* 341], Amsterdam: John Benjamins, pp. 181—200.

Grabowski, Ł. (2018b). "Fine-tuning lexical bundles: A methodological reflection in the context of describing drug-drug interactions". In: J. Kopaczyk & J. Tyrkkö (Eds), *Applications of Pattern-driven Methods in Corpus Linguistics*. Amsterdam: John Benjamins, pp. 57—80.

Granger, S. (2014). A lexical bundle approach to comparing languages. Stems in English and French. In: M-A. Lefer & S. Vogeleer (Eds.), *Genre- and register-related discourse features in contrast.* Special issue of *Languages in Contrast*, *14*(1), 58—72.

Gray, B. & Biber, D. (2013). Lexical frames in academic prose and conversation. *International Journal of Corpus Linguistics*, *18*(1), 109—135.

Hoey, M. (2005). *Lexical Priming: A New Theory of Words and Language.* London: Routledge.

Hoey, M. (2007). Lexical priming and literary creativity. In M. Hoey, M. Mahlberg, M. Stubbs & W. Teubert (Eds.), Text, Discourse and Corpora. London: Continuum, 7—30.

Hyland, K. (2008). "As can be seen: Lexical bundles and disciplinary variation". *English for Specific Purposes* 27: 4—21.

Jalali, H. (2017). "Reflection of stance through it bundles in applied linguistics". *Ampersand* 4, 30—39. https://doi.org/10.1016/j.amper.2017.06.001 (accessed in October 2017).

Jukneviciene, R. (2009). "Lexical bundles in learner language: Lithuanian learners vs. native speakers". *Kalbotyra* 61 (3): 61—72.

Jukneviciene, R. (2017). *English phraseology and corpora: An introduction to corpus-based and corpus driven phraseology.* Vilnius: Vilniaus Univesiteto Leidykla.

Koehn, P. (2005). "Europarl: A Parallel Corpus for Statistical Machine Translation". In: *Conference Proceedings: the tenth Machine Translation Summit*, Phuket, Thailand: AAMT, 79—86.

Kornacki, M. (2017). *Computer-assisted translation (CAT) tools in the translator training process.* Unpublished PhD dissertation. University of Łódź.

Kranich, S. (2016). *Contrastive Pragmatics and Translation: Evaluation, epistemic modality and communicative styles in English and German*. Amsterdam: John Benjamins.

Laviosa, S. (2002). *Corpus-based translation studies: theory, findings, applications.* Amsterdam: Rodopi.

Lee, D. (2008). "Corpora and discourse analysis". In V. Bhatia, J. Flowerdew & R. Jones (Eds.), *Advances in Discourse Studies*. London: Routledge, 86—99.

Lewandowska-Tomaszczyk, B. (2012). "Cognitive Corpus Studies: A New Qualitative & Quantitative Agenda for Contrasting Languages". *MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences*, 1 (1): 26—64. Available at: http://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download/252098/f2601120e1c60067d1328094376a8c8d?Resolve_DOI=10.14456/connexion.2012.2 (accessed in February 2018).

Martinez, R. & Schmitt, N. (2012). "A Phrasal Expression List". *Applied Linguistics*, 33(3): 299—320.

McVeigh, J. (2018). "Join us for this. Lexical bundles and repetition in email marketing texts". In: J. Kopaczyk & J. Tyrkko (Eds), *Applications of Pattern-driven Methods in Corpus Linguistics*. Amsterdam: John Benjamins, 213—250.

Mindt, I. (2011). *Adjective Complementation: An Empirical Analysis of Adjectives Followed by That-clauses.* Amsterdam: John Benjamins.

Novita, H. & Kwary, D. (2018). "Comparing the use of lexical bundles in Indonesian-English translation by student translators and professional translators". *Translation & Interpreting* 10 (1): 53—74.

Oksefjell Ebeling, S. & Ebeling, J. (2017). "A Cross-Linguistic Comparison of recurrent word combinations in a comparable corpus of English and Norwegian Fiction". In: M. Janebova, E. Lapshinova-Koltunski & M. Martinkova (Eds), *Contrasting English and Other Language through Corpora*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2—31.

Pérez-Paredes, P. (2010). "The death of the adverb revisited: attested uses of adverbs in native and non-native comparable corpora of spoken English". In: M. Moreno Jaén, F. Serrano Valverde, & M. Calzada Pérez (Eds), *Exploring new paths in language pedagogy. Lexis and corpus-based language teaching*. London: Equinox, 157—172.

Pęzik, P. (2012). "Język mówiony w NKJP. (Spoken Language in NKJP)" In: A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. Górski & B. Lewandowska-Tomaszczyk (Eds), *Narodowy Korpus Języka Polskiego* (National Corpus of Polish), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 37—47.

Pęzik, P. (2016). "Exploring phraseological equivalence with Paralela". In: E. Gruszczyńska & A. Leńko-Szymańska (Eds), *Polish-Language Parallel Corpora*. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 67—81.

Piotrowski, T. (1994). *Z zagadnień leksykografii* (Problems in lexicography). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Piotrowski, T. (2011). "Ekwiwalencja w słownikach dwujęzycznych (Equivalence in bilingual dictionaries)". In: W. Chlebda (Ed.), *Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych* (Searching for translation equivalents). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 89—114.

Przepiórkowski, A., Bańko, M., Górski, R. & Lewandowska-Tomaszczyk, B. (Eds) (2012). *Narodowy Korpus Języka Polskiego* (National Corpus of Polish). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sag, I., Baldwin, T., Bond, F., Copestake, A., & Flickinger D. (2002). Multiword Expressions: A Pain in the Neck for NLP. *Computational Linguistics and Intelligent Text Processing: Third International Conference* (CICLing 2002), 1—15. Available at: http://lingo.stanford.edu/pubs/WP-2001-03.pdf (accessed May 2013).

Salazar, D. (2011). *Lexical bundles in scientific English: A corpus-based study of native and non-native writing.* Unpublished PhD dissertation. University of Barcelona.

Salazar, D. (2014). *Lexical Bundles in Native and Non-native Scientific Writing.* Amsterdam: John Benjamins.

Simpson-Vlach, R. & Ellis, N. (2010). "An Academic Formulas List: New Methods in Phraseology Research". *Applied Linguistics* 31(4): 487—512.

Skadina, I. (2016). "Multi-Word Expressions in English-Latvian SMT: Problems and Solutions. In: I. Skadina & R. Rozis (Eds), *Human Language Technologies — The Baltic Perspective: Proceedings of the Seventh International Conference Baltic HLT 2016*. Amsterdam: IOS Press. 97—106.

Staples, S., Egbert, J. & Biber, D. & McClair, A. (2013). "Formulaic sequences and EAP writing development: Lexical bundles in the TOEFL iBT writing section". *Journal of English for Academic Purposes*. 12. 214—225.

Toury, G. (1995). *Descriptive Translation Studies and Beyond*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Toury, G. (2001). ―The Nature and Role of Norms in Translation. In: L. Venuti (ed.), *The Translation Studies Reader*, London: Routledge, 198—211.

APPENDIX 1. EXAMPLES OF TRANSLATION TASKS

Task 1. Since lexical bundles constitute building blocks of specialist discourses (genres, text types and registers), they should have readily-available equivalents across languages. Identify Polish and/or Russian equivalents of the following stance bundles found in a collection of English patient information leaflets (Grabowski 2018a, forth.). To that end, you may compile a custom-designed corpus of patient information leaflets or use multilingual online resources.

please ask your doctor or pharmacist
tell your doctor or pharmacist
tell your doctor immediately
talk to your doctor
check with your doctor
please read this leaflet carefully
what you should know about
as directed by your doctor
never give it to someone else

stop taking the tablets
you may need to
you should not take

Task 2. Look at the following list of the top-20 lexical bundles — by frequency — found in a sample of specialist texts describing drug-drug interactions (Grabowski 2018b: 71). Some of them express stance (underlined). Can you find their Polish and/or Russian equivalents?

did not affect the
a single dose of
on the pharmacokinetics of
the concomitant use of
it is recommended that
the concomitant administration of
drug laboratory test interactions
in the presence of
the patient should be
has not been studied
caution should be exercised
had no effect on
caution should be used
has been reported to
have been reported in
no effect on the
affect the pharmacokinetics of
should be observed closely
the clinical significance of
did not alter the

Article history:
Received: 01 December 2017
Revised: 10 February 2018
Accepted: 20 February 2018

For citation:
Grabowski, Łukasz (2018). Stance bundles in English-to-Polish Translation: a Corpus-Informed Study. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (2), 404—422. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-404-422.

Bionote:
ŁUKASZ GRABOWSKI is Associate Professor at the Institute of English, University of Opole (Poland). His research interests include corpus linguistics, phraseology, formulaic language, translation studies and lexicography. He is also interested in computer-assisted methods of text analysis. He has published research articles and book chapters internationally in *International Journal of Corpus Linguistics* and *English for Specific Purposes* as well as with John Benjamins and Emerald, among others. He is also Managing Editor of the journal *Explorations: A Journal of Language and Literature.*
Contact information: e-mail: lukasz@uni.opole.pl

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-404-422

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СВЯЗКИ СО ЗНАЧЕНИЕМ ОЦЕНКИ И ОТНОШЕНИЯ В ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ПОЛЬСКИЙ: КОРПУСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ЛУКАШ ГРАБОВСКИЙ

Опольский университет
45-040, Ополе, Польша пл. Коперника 11а

Целью исследования является поиск более точных текстуальных соответствий в переводе с английского языка на польский специфического типа многословных блоков, известных в литературе по корпусной лингвистике как лексические связки (Biber et al. 1999). Под влиянием исследования М.-А. Грабарь и Н. Лефер (Grabar, Lefer 2015) мы используем англо-польский параллельный корпус Paralela (Pęzik 2016) и Национальный корпус польского языка (NKJP) для выделения и верификации статуса (с точки зрения частотности) польских эквивалентов выборочных английских лексических связок, выражающих оценку и отношение. Точнее, Национальный корпус польского языка использовался для проверки того, характерны ли польские эквиваленты для аутентичных текстов современного польского языка. В результате проведенного корпусного исследования было выявлено значительное количество польских эквивалентов как одного, так и многословных блоков, выражающих оценку и отношение. Кроме того, было установлено, что большая часть польских эквивалентов часто встречается в аутентичных польских текстах и, следовательно, они потенциально могут способствовать повышению уровня текстуального соответствия переводов. И, наконец, мы обсуждаем методические и корпусные ограничения данного исследования и намечаем перспективы его продолжения с целью дальнейшего изучения роли лексических связок в преподавании перевода и в переводческой практике. С этой целью мы также даем примеры заданий по переводу для работы в классе.

Ключевые слова: *корпусная лингвистика, лексические связки, перевод с английского на польский, параллельный корпус, текстуальное соответствие*

История статьи:
Дата поступления в редакцию: 01 декабря 2017
Дата принятия к печати: 20 февраля 2018

Для цитирования:
Grabowski, Łukasz (2018). Stance bundles in English-to-Polish Translation: a Corpus-Informed Study. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (2), 404—422. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-404-422.

Сведения об авторе
ЛУКАШ ГРАБОВСКИЙ — доцент Института английского языка Опольского университета, Польша. Его научные интересы включают корпусную лингвистику, фразеологию, лексикографию и теорию и практику перевода. Он также интересуется методами анализа текста с привлечением компьютерных технологий. Среди его публикаций — статьи и главы книг, опубликованные в международных журналах, в частности, в *International Journal of Corpus Linguistics*, *English for Specific Purposes* и др. Он является редактором журнала *Explorations: A Journal of Language and Literature*. *Контактная информация:* e-mail: lukasz@uni.opole.pl

Russian Journal of Linguistics
Вестник РУДН. Серия: ЛИНГВИСТИКА
2018 Vol. 22 No. 2 423—435
http://journals.rudn.ru/linguistics

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-423-435

TERMINOLOGICAL EQUIVALENCE IN TRANSLATION OF PHILOSOPHICAL TEXTS

KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁ, SANDRA ZÁKUTNÁ

University of Prešov
ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov, Slovak Republic

Abstract

The paper zeroes in on the problem of equivalence with regard to translating philosophical texts which have so far been marginalized in translation theory in comparison to other sorts of (non-)literary translation. The paper primarily aims to describe the current translator practice in the field of philosophy and disclose why philosophical discourse is rendered in the unique way it is. The goal of the paper is also to recommend good practice in the ambit of philosophical translation. Drawing on Nida's equivalence theory, the authors of this paper prioritize formal equivalence over dynamic one, which is connected with the specific nature of philosophical discourse. To this end, pertinent extracts from David Hume's *A Treatise of Human Nature* with a special focus on philosophical terminology have been compared with their published Slovak, German and Czech translations. The present paper draws first and foremost on the methods of comparative textual analysis and utilizes elements of translation quality assessment models by House (1997; 2015). The terminological research is conducted from the position of induction as it involves the elaboration of theory from the analysed terms. The comparative analysis suggests that the form and function of philosophical discourse is interconnected to such a degree that the form even constitutes a part of the text's function. The results of our analytical probe may be used as a springboard for deeper, quantitatively-oriented terminological-translational research.

Keywords: *philosophy, terminology, philosophical translation, equivalence theory, formal equivalence, dynamic equivalence, translation quality assessment*

1. INTRODUCTION

Over the past years, much has been written about both literary and non-literary translation. There is, however, one type of discourse which has been given scant attention by translation studies scholars. It is the discourse of philosophy and acquiring any information about philosophical translation is rather troublesome, as some admit (see *e.g.* Parks 2004, Knuuttila 2012). The present paper, of course, does not purport to address the entire variety of problems one can encounter when translating philosophical discourse[1]. Quite selectively, the paper homes in on the most vital problem in philosophical translation, *i.e.* equivalence and the issue of how it relates to the fidelity of the target text (hereafter abbreviated as TT) to the source text (hereafter referred to as ST). Firstly, the paper aims to elucidate the semantic-pragmatic choices translators

[1] Although on a stylistic level there is a fine distinction between text and discourse as "a decontextualized vs. contextualized speech event" (cf. Ferenčík 2016: 15), in this paper the two terms are used interchangeably for the sake of simplicity.

make when translating philosophical texts and secondly, it shows why philosophy is translated in the specific manner it is. Thirdly, the goal of the paper is to give recommendations for good practice in the selected field of translation. The motivation for writing this paper comes from the authors' personal experience with philosophy experts who tend to criticize translators for either misinterpreting the originals or for making translations almost unintelligible. Whereas the former problem may often be the outcome of a too free translation, dynamically or functionally equivalent, the latter results from adhering to the ST too closely. The choice of the 18th century Scottish philosopher David Hume was not a coincidence; we decided to put his selected terminology under scrutiny, because it offers a rich empirical material for interlingual comparison in translation across several languages including Slovak, German or Czech.

One way or another, philosophy represents a field where translations are accompanied by a mixed critical reception. As it is known, philosophical texts are seldom easy to understand. The complexity of the philosophical argument's construction is the chief reason why the translator has to be careful when opting for crafting a translation that is rather dynamically equivalent with the ST (*i.e.* communicates the text's message emphasizing the function of the text over its form) or the one that is more formally equivalent (*i.e.* tries to keep the form of the ST, stressing its interconnectedness with the text's function). Another thing is that philosophical discourse requires a thorough knowledge of the concepts, ideas and purposes of the ST, which determines linguistic choices when translating subtle nuances of meaning which are of high importance to the whole when 'energizing' a text in translation[2].

2. PRE-TRANSLATIONAL 'DIAGNOSIS' OF PHILOSOPHICAL TEXTS

In compliance with functional theories of translation, the ST should be subjected to a thorough translation-oriented analysis prior to the actual process of translation. The analysis of extra-textual factors (as worked out by Nord 2005) involving in our case the author, audience and translator constitutes an important part of the so-called pre-translational 'diagnosis' of philosophical texts.

The aspects of the ST connected with its author are among the first factors the translator has to take into account. Although philosophers aim for a universal truth of their writings with minimum personal involvement (Munday 2016: 250), it seems crucial to identify the historical and cultural context of the period in which a certain text originated. This is also relevant for the identification of concepts because a new philosophical concept is rarely created without being grounded on some preceding concept. Besides, the author may have a specific problem-orientation which influences their work. For instance, empirical philosophers (where Hume belongs), who believe that all human knowledge comes from sensuous experience, present their concepts in a fashion that is a tad easier to understand than that of rationalist philosophers (*e.g.* Leibniz), for whom reason was the source of knowledge. Therefore, the more is known to the translator about the particular author and their intention(s), the closer they get to interpreting the ST.

[2] On the concept of the energy of language in philosophical translation see Pound in Munday 2016: 258 ff.

The second prerequisite for a successful philosophical translation is the awareness of the text's audience. Philosophy is written to be read and is thus written with a receiver in mind. There is, however, no agreement as to whether philosophy is aimed at a specific audience or whether it comes with no strings attached. It is true that nowadays philosophy remains almost exclusively a prerogative of universities, being only limitedly absorbed by the general public as it is by nature not suitable for what could be labelled as 'popular consumption'[3]. The pre-translational question, which is relevant to the translator to pose, is who (*i.e.* what audience) the author had in mind when composing a particular text? Here, the translator needs to decide if they translate a text for the addressee, for someone the author conceived the text for, or if they translate for a 'chance receiver' (see Nord 2005), *i.e.* the general public. In most cases, philosophical texts are not aimed at chance receivers; they focus on the addressees. Moreover, the chance receiver and the addressee also differ in their approach to text and textuality. While the chance receiver is usually a 'semantic reader', the addressee is expected to be a 'semiotic reader' (see Eco 1994). The semantic reader concentrates on the information within the text, the meaning. On the other hand, the semiotic reader sets out to understand not only what is said but also how it is said, discriminating between a semantic and pragmatic meaning. Having the audience of philosophical discourse in mind, the translator also has to count with the fact that the ST and TT audiences may be several centuries apart. This is why they must be able to predict how much of the information connected to the time of the text's origin is still likely to be understood by the TT audience and how much information needs up-dating.

The third extra-textual factor relates to the personality of the translator of philosophical texts. A very good knowledge of the history of philosophy is necessary for every scholar who conducts any philosophy-oriented research. The same rationale may be applied to the translator because only a thorough knowledge of a philosophical problem makes it possible arrive at a plausible translation. This accounts for why it is usually philosophers who translate philosophical texts because studying the ST(s) extensively should precede the actual act of translation. This is because the authors sometimes draw on their forerunners using intertextuality, take issues with their concepts or re-evaluate their theories. In these situations, the knowledge of the history of philosophy becomes indispensable. What is also interesting to note when analysing the philosophical translator's profile is the fact that many of them have never had any form of translator training and are not professional translators, either.

3. TRANSLATIONAL CONSIDERATIONS FOR PHILOSOPHICAL TEXTS

As has been implied, before translating philosophical texts, their firm understanding comes first. What seems to make the situation for the translator intricate is first and foremost the style of the philosophical argument, marked by the overall complexity, which is many a time not easy to follow. The stylistic complexity is, quite paradoxically,

[3] The present paper, however, takes no account of philosophical texts that are translated for general audiences.

the effect of the opposite author's endeavour to explain things as general as possible. The corollary of such an approach is that by the overgeneralization the philosophical argument becomes very complex. For illustration, Kant may say that "one's mortal existence achieved its termination [while] Hegel would say that a finite determination of infinity had been further determined by its own negation" (qtd. in Blanshard 1953: 35). Both statements capture the idea of the event of death, but whereas Kant's statement makes the implicit explicit, Hegel attempts to not only state a fact but also defines it in the process, which may cause that the semantic reader (not to speak of the translator) ends up being entangled in the argument.

In connection with the tendency of philosophy to overgeneralize, the syntactic aspect of translation deserves to be addressed. The consequence of the increasing level of generality is that the sentence structure becomes more elaborate. In this respect, the analysed German translation versions of Hume's philosophical writing are the most problematic because the German syntax usually places the finite verb at the end of the clause. In this way, an ultra-long sentence structure may become confusing and consequently requires several re-readings. For this reason, even German university students tend to read *e.g*. Kant's writings in their English translations, which speaks volume about the nature of German philosophical discourse. This poses a question if it were possible to decrease the threatening unclarity in philosophical translation. Doing so, however, would mean reversing the author's line of thought, which is to be avoided in philosophy.

From a stylistic angle, philosophical texts have both a scientific and a moral dimension (see Parks 2004). The moral dimension is connected to the literary aspect of the philosophical writing, suggesting an author's personal engagement. The scientific and moral levels, however, are never clearly marked off and so it is the translator's task to strike a balance in literary and scientific means of expression. Nonetheless, in philosophical texts, it is not the moral dimension that the author primarily strives for because their aim is, first and foremost, to inform and to communicate ideas. Hence, the translation of philosophical texts exhibits a whole lot of traits of specialized translation. In the scientific ambit of translation, the translator does not have to be excessively creative and does not need to follow the original means of expressions as closely as possible.

Another problem related to style is philosophical terminology. Philosophers use words in a way that may not be natural for the reader. For illustration, when Hegel says that reason is substance, how is one to imagine the reason? Substance is material, reason is not (see Kiczko et al. 1997: 92—94). Such paradoxes may rightly confuse the (semantic) reader and translator. Moreover, philosophers often invent their own terms or assign new meanings to previously coined terms. All this means that the translator has to pay close attention to the author's words, to the rich, suggestive texture of writing, comparing and contrasting the different uses of one and the same word in different contexts (Parks 2004: 1). Arising from this, it is to be expected that reading and research may take up as much time as the actual translation, without being fully remunerated.

Another thorny issue in philosophical terminology is the uncertainty of terms, *e.g.* the Greek word *logos* may have the following meanings: word, speech, principle, reason, standard or even meaning. For this reason, authors try to use such ambiguous terms in their original form, especially when they become the object of explicit discussions (Rée 1999: 22). Similarly, it is the role of translators to put the TT reader before the same problem. If the translator decided to lower the obscurity of a certain text passage believing they know what is meant and trying to word it in a more straightforward manner, they could risk missing the author's point entirely.

4. EQUIVALENCE IN PHILOSOPHICAL TRANSLATION: THEORIES & INTERPRETATIONS

By and large, equivalence refers to the relationship between the ST and TT which makes it possible to call the final product translation. Despite heated more recent debates about its usefulness, equivalence remains a core concept of translation theory and a conceptual basis of translation quality assessment although it may be linked to subjectivity in evaluation. Terminologically-speaking, equivalence may be understood as "a relation of 'equal value' between a source language term and a target language term which can be established on any linguistic level from form to function" (Pym 2010: 7). This means that equivalence indicates that a source language term and target language term share some kind of 'sameness', implying an 'illusion of symmetry between languages' (Snell-Hornby qtd. in: House 2015: 6).

Although approaches to equivalence in translation studies have been put forward by many (among them to mention are *e.g.* Kade, Catford, Jakobson, Koller, Baker or Pym, to name just a few), this paper draws on the concept of equivalence worked out by Nida (1964) who differentiates between formal and dynamic equivalence. The two terms have often been understood fundamentally as word-for-word translation and sense-for-sense translation. In formal equivalence "one is concerned that the message in the receptor language should match as closely as possible the different elements in the source language" (Nida 1964: 159). Later called 'formal correspondence', it is keenly oriented towards the ST structure; the features of the form of the ST are mechanically reproduced in the target language (see Nida and Taber 2003/1969: 22—28). As formal equivalence reflects to some degree the linguistic features such as lexis, grammar and syntax of the source language, this has great impact on correctness and accuracy. Most typical of this sort of translation are gloss translations, with a close approximation to ST structure. Dynamic equivalence, later known as 'functional' equivalence, is based on what Nida dubs as 'the principle of the equivalent effect', where "the relationship between receptor and message should be substantially the same as that which existed between the original receptors and the message" (Nida 1964: 159). In other words, the message has to be tailored to the receptor's linguistic needs and their horizon of (cultural) expectations, "aiming at complete naturalness of expression" (ibid.). This receptor-oriented approach considers adjustments of lexicon, grammar and cultural references quintessential for achieving naturalness. Stress is put on transferring meaning, not grammatical form so the 'foreignness' of the ST is minimized. Dynamic equivalence

is designed to be used where the readability of the translation matters more than the original wording because it sacrifices some fidelity to the ST to achieve naturalness. As terms are designations of concepts and should be univocal in nature, in our view, formal equivalence should be a preferred translation strategy for terminology as dynamic equivalence could preclude the translator from encoding the implied pragmatic meaning of terms in translation. This would then lead to terminological mismatches between a source language term and a target language term, where the ideational component of a source term's function would not be captured properly.

A useful model when assessing equivalence in translation is that by House (1997; 2015), designed to compare a ST-TT pair, drawing on Hallidayan Register analysis, in terms of situational variables, function, genre, translation method, language and translation errors. Although there are certain parallels between Nida's formal/dynamic equivalence and House's overt/covert translation[4], we shall refrain from a systematic comparison of the textual 'profile' of the ST and TT, focusing on the lexical, syntactic and textual means used to construct the Register (see *e.g.* House 2015: 71—84). This is because our equivalence focus is on terminology, which allows only for selected elements of the model to be employed to serve our goal (see section 5).

In contemporary translation studies, striving for formal as well as dynamic equivalence too much is not recommended. As much as the translator aims to achieve a high level of fidelity with the ST, they ought not to be too faithful and attempt to reproduce all features of the ST. Similarly, a too free communicative translation is equally castigated for its takes too many liberties with the TT. Based on this it may be claimed that there is no agreement as to what sort of equivalence is to be aimed at in translation. All the same, a plausible translation is the one which preserves the author's intention, upholds the text's purpose, allows the recipient to access the same information and provides them with the same experience.

5. TERMINOLOGICAL EQUIVALENCE IN CLOSE-UP

As far as methodology is concerned, selected philosophical terms from Hume's writing are compared across their Slovak, German and Czech translations, using the methods of comparative textual analysis. The analysis utilizes elements of translation quality assessment models by House; both her revised 1997 as well as new integrative 2015 model. Nonetheless, the paper abstains from reviewing the translations under investigation at a more complex level (assessing style, translation shifts, changes of expression at the macro- and microstylistic level etc.), which would fall outside its remit. Similarly, the core dimensions in House's model (1997; 2015) drawing on Hallidayan Register analysis of Field, Tenor and Mode, are not scrutinized because in their further

[4] According to House, in an overt translation the TT does not pretend to be an original and is clearly not directed at the TT audience. On the other hand, a covert translation "is a translation which enjoys the status of an original source text in the target culture" (House 2015: 56). As the overt/covert distinction is a cline rather than a pair of binary opposites, it works mostly when assessing translations in their entirety. Due to our limited focus on terminology, this translation distinction is less suitable for assessing the equivalence of terms.

subdivisions they take us to various lexical, syntactic and textual means. Although these would be apt for a complex translation quality assessment at all key language levels, they are less appropriate for our terminological analysis narrowed down to equivalence-oriented investigations. For this reason, we shall employ only selected elements of the translation quality assessment model (*i.e.* the concepts of 'covertly erroneous error', 'overtly erroneous error', 'mismatch' and 'profile') so as to reinforce our recommendations for philosophical translation practice. With regard to terminology, translation quality evaluation is based in the first place on its ideational functional component, *i.e.* adequate representation of a philosophical concept. In this paper, we understand terms as units of specialized philosophical knowledge whose correct translation requires an expert degree of conceptual fluency that is present only in semiotic readers. Although the performed probe into philosophical translation is rather limited by the choice of the author, it does have the potential of signposting vital strands of problems in philosophical translation.

When translating philosophical terms, equivalence should be established at the level of pragmatic meaning which overrides semantic meaning. That said, the meaning of a term is manifest 'outside' a term *per se*, being endowed with special illocutionary force, transcending its denotational sense that the translator has to decode. When comparing the ST and TT terminological 'profile' so as to assess its translation quality, 'overtly erroneous errors' (see House 1997; 2015) are to be avoided. These result either from denotative mismatches between the source language term and target language term, giving incorrect meanings, or target system errors which do not conform to the formal grammatical or lexical requirements of the target language. In House's model there are also 'covertly erroneous errors' that result from a breach of the situational dimensions of Hallidayan-influenced Register analysis of Field, Tenor and Mode. As House (2015: 33) herself admits, covertly erroneous errors "demand a much more qualitative-descriptive in-depth analysis [and] have often been neglected". This is relevant for our comparative translational analysis of the selected terms.

Perhaps the most central philosophical terms in Hume's Treatise are those of *justice* and *injustice*. A 'covertly erroneous error' would occur when translating Hume's focal term *justice* in a straightforward denotative manner as *spravodlivosť*. This could be most probably done by a translator who would be only a semantic reader failing to recognize an ideational component of a source term's function and its perlocutionary effect on the target reader. Although at first sight this might seem like a perfectly legitimate equivalent in the TL, the disadvantage of this translation strategy would be that it could cause that the term would acquire a broader meaning than it has in the English ST. Namely, in Slovak *spravodlivosť* is used to refer to a larger scale of concepts than its English equivalent, *e.g.* in a sentence such as "Život nie je spravodlivý", the term *spravodlivý* does not refer to the fact that life disobeys the rules of justice, but that it is not fair. Hence, "Life is not fair" would make the sentence above correct in translation, where "fairness" is a far cry from "justice". In its legal meaning, *justice* refers to "a moral ideal that the law seeks to uphold in the protection of rights and punishment of wrongs" (Law 2015: 351). Although it may be true that *spravodlivosť* also fits the given definition, it is also used to refer to objective universal fairness, which Hume is arguing against,

by claiming justice to be "artificial". Even though the semantic reader did not know what kind of justice Hume had in mind, they would know, by the end of the discourse, that no universal justice as fairness was meant.

Upon interlingual comparison of the philosophical term at hand, one finds out that the same problem crops up in the 1973 German translation. Similarly to the Slovak translation, the German translator did not use *Gerechtigkeit* and *Ungerechtigkeit,* respectively, but went on to use *Rechtsinn* or *Rechtsordnung* for *justice*[5] and *Rechtswidrigkeit* for *injustice*[6]. In the attendant Slovak translation, *justice* is translated as *zmysel pre právo* or *právny poriadok* and *injustice* appears as *protiprávnosť.* The Slovak translation shares similarity with the German translation in being less direct and implicit. Such terminological choices in both languages approximate the translations to the authorial intention and consequently help the reader understand his philosophical message. In addition, the German and Slovak translation both contain the problem that sometimes the reader may lose track of the philosophical argument because they are presented with a double variation of terms for the same concept, which might be confusing (*Rechtsinn* or *Rechtsordnung* and *zmysel pre právo* or *právny poriadok*). However, the presence of the two translation equivalents does not lead to a clash between the ST author and the translator when capturing the ideational component of the ST's function.

Another term that is worthy of scholarly attention is that of *artifice.* Not only does it imply artificiality, as opposed to naturalness, but according to *Cambridge Dictionary* it may also be used to refer to "a clever trick or something intended to deceive"[7]. Consider the following translations under examination:

> English source text: We now proceed to examine two questions concerning the manner in which the rules of justice are established by the *artifice* of men [...] (Hume 1896/1739: 252)
>
> German translation: Wir kommen jetzt zu der Untersuchung von zwei Fragen; die erste betrifft die Art wie die Normen der Rechtsordnung durch *Menschenkunst* festgelegt worden sind [...] (Hume 1973/1739: 289)
>
> Czech translation: Přicházíme nyní ke zkoumání dvou otázek, z nichž prvá se týká způsobu jak byly *uměním člověka* zjištěny normy právního pořádku [...] (Hume 2015/1739: 243)
>
> Slovak translation: Teraz prichádzame k preskúmaniu dvoch otázok, a to ohľadom spôsobu, ktorým sa *zručnosťou človeka* stanovujú pravidlá právneho poriadku [...] (Hume 2007/1739: 238)

As can be seen, the German translation employs the term *Menschenkunst*, with *Mensch* meaning *man* and *Kunst* having the semantics of *art and artificiality*, however, lacking the semantic components of trickery and deceit. The ideational component in the German translation equivalent is thus less strongly marked. Besides, art implies a certain veneer of nobility, while Hume's intention in the Treatise is to emphasize an egoistic nature of the *artifice* by means of which the rules of justice are established.

[5] The German terms *Rechtssinn* and *Rechtsordnung* best correspond to 'sense of law' and 'rule of law', respectively.

[6] *Rechtswidrigkeit* best corresponds to 'unlawfulness' in English.

[7] See https://dictionary.cambridge.org for the exact definition.

In a similar vein, the Czech equivalent *umění* does not capture this semantic feature of meaning, either although it approximates to the English original a tad more faithfully because the Czech word *umět* means to "have a skill". The Slovak translation seems slightly more appropriate by being semantically closer the other original, but it is not the most satisfactory translation solution because it lacks the semantic component of deceit as well. Nonetheless, the advantage of the Slovak term is that it does not have the negative connotation of nobility that both *Kunst* and *umění* have. Although the proposed terms in the German and Czech language versions have their downsides, they do not represent any 'overtly erroneous errors'; there is neither a mismatch of denotative meanings nor any trace of ungrammaticality or dubious acceptability in the target language. All term translations are marked by a high degree of formal equivalence among the individual language versions. A dynamic approach to equivalence in the terms under scrutiny would show disregard for the form of the source text and could distort the original authorial intention.

Another problem when the translator cannot apply the denotative meaning in their translation concerns the term *benevolence* that is formally equivalent with *Wohlwollen* in the German translation. Both the English and the German versions are composed of a word-formation base meaning 'good' (*bene-* and *Wohl-*) and the other one standing for 'to wish' (*-volence* from the Latin 'volantem' and *-wollen*). For the noun phrases *public benevolence* and *private benevolence* the closest Slovak equivalents *verejná benevolencia* and *osobná benevolencia* would impart a calqued impression, in much the same way as translating *justice* and *injustice* denotatively, where the philosophical interpretation by the semiotic reader is necessary. The disadvantage of the tentative Slovak term *benevolencia* is that it is usually associated with the meaning of 'lenience' that is not present in the English original. Hence, the philosophically correct translation equivalents for the terms above are *úsilie o verejné blaho* and *úsilie o osobné blaho*, respectively. In these exceptional cases, however, a too high degree of formal equivalence is not desirable. It would lead to an 'overtly erroneous error' on the part of the translator due to a denotative meaning's mismatch.

Furthermore, there is one important term in the Treatise whose 'profile' deserves to be dissected via a comparative translational analysis. The English term *affection* signifies according to *Oxford English Dictionary* an emotion, a fondness or liking (in a positive sense) and an inclination towards something (in a neutral sense)[8]. In Slovak, the former meaning corresponds to *náklonnosť* whereas the latter to *sklon.* In German, there are two terms, *Zuneigung* and *Neigung*, differing only in the presence of a prefix. Therefore, in the German translation it is obvious that the two TL terms refer to the same SL concept. In Slovak, however, this is not evident because *affection* is rendered in the Slovak translation as *náklonnosť*. Compare the English ST and its pertinent Slovak translation below.

> English source text: So far from thinking, that men have no *affection* for anything beyond themselves, I am of the opinion, that tho' it be rare to meet with one, who loves any single person better than himself [...] (Hume 1896/1739: 253)

[8] See www.oed.com.

Slovak translation: Dištancujúc sa od tvrdenia, že ľudia nepociťujú *náklonnosť* k ničomu mimo nich samých sa domnievam, že aj keď sa dá len zriedkavo natrafiť na človeka, ktorý miluje každú osobu viac než seba samého [...] (Hume 2007/1739: 240)

In lieu of the given TL equivalent, 'city' could be used with a semantic difference. The Slovak translation would then read as follows: "Dištancujúc sa od tvrdenia, že ľudia nemajú *city* k ničomu mimo nich samých sa domnievam [...]". The translation solution of using *city* as an equivalent for *affection* is not entirely devoid of problems, though. Despite being endowed with both a positive and neutral sense, the potential equivalent of the term lacks the semantic aspect of inclination towards something. However, this a far more fitting semantic choice than the version with *náklonnosť.* Here, it is also important to rule out faux amis[9], because one could easily suggest that another possible Slovak equivalent could be that of *afekt*. The formal similarity to the English term would, however, lead to an unfitting TL term and, to put it in House's words, an 'overtly erroneous error'. This is because *afekt* in Slovak refers to a state of mind when one is under the control of strong passions and loses his mental balance[10], which is not implied in the philosophical discourse at all. If the Slovak translator were misled by a faux ami, the lexical requirements of the TL would be clearly violated, so it would be fallacious to add this semantic dimension to the discourse. What is noteworthy though, is that the Czech translation even uses four different terms for *affection*: *náklonnost, afekt, hnutí, zájem.* Although this may help the translator to achieve a smooth and naturally flowing translation in certain places of the discourse, a dynamic approach to equivalence obscures the text's message and makes it even more demanding for the reader to follow the terminology[11].

In sum, based on the performed selective probe into philosophical terminology, it can be seen that a dynamic approach to equivalence may not be an ideal solution as the translator may move away from the implied meaning in such a way that it is almost contrary to the original author's intention, as in the case of *justice* and *artifice.* Apart from this, dynamic equivalence can trigger off terminological inconsistencies, which make it strenuous for the reader to keep track of the terminology and philosophical argument, as in the case of *affection* in the Czech translation. One also needs to be heedful of potential faux amis, which may lead to erroneous translations, *e.g*. *affection* does not correspond to *afekt* in Slovak, as we have witnessed. Last but far from least, it is vital to reiterate that many philosophical terms are contextualized in their meaning only in a particular place of the discourse.

6. CONCLUDING REMARKS

In conclusion, based on the performed probe, we propose the preference of formal equivalence over dynamic one in respect to the translation of philosophical terminology. This is because the form and function of philosophical texts are so intertwined that

[9] Words in two languages that look or sound similar, but have a significantly different meaning which foreign language learners may easily misrecognise.

[10] See www.slovniky.juls.savba.sk for the exact definition.

[11] Intriguingly enough, a similar problem appears in the translation of Kant when *e.g*. his central term 'nature'(*Natur* in the German original) may be translated into Slovak, depending on the context, as either 'príroda' or 'povaha'.

the form even constitutes a part of the text's function. Another argument disregarding dynamic equivalence is that philosophy nullifies concepts that lay people usually assign to certain terms and fills them with new, philosophically-rooted semantics. This causes that certain terms are only intelligible to philosophy connoisseurs, who are semiotic readers, in sharp contrast to semantic chance receivers. If philosophical discourse were to be rendered in a more straightforward manner, it would pave the way for more room for dynamic equivalence. This would, however, run against the nature of philosophy.

Based on the comparative analysis of the excerpted philosophical terms, the following recommendations can be given: the translator has to contextualize and decode the precise meaning of the term depending on its philosophical interpretation; denotative term meanings are to be used with caution; it is essential for the same philosophical term to be used consistently so as not to confuse the reader and distort the message; and the translator should not add any semantic dimensions to terms so as to approximate to the (ideal) reader.

Overall, the paper has provided an account of how and why the form is bound up with the meaning in the specialized ambit of philosophy. Although the treatment of equivalence in the translation of philosophical terminology in this paper is by no means exhaustive, we believe that it has signposted some issues whose verification is in need of further, quantitatively-oriented research, possibly with more philosophical texts from various periods. It could be interesting to move from a text and discourse-oriented approach to translation quality assessment on to a more recent response-based approach and, using the questionnaire method, elicit reader reactions to different translation strategies of philosophical terminology. This could involve translators who are no philosophy experts and those having a philosophical background but no professional translation training. It would also be enticing to look at how semantic and semiotic readers react to translation strategies by the two translator groups. Aside from terminology, it would be tempting to test equivalence in rendering philosophical style and investigate for example what kind of text passages (*e.g.* descriptive or exemplifying) require which basic equivalence orientation and if there is any clear dominance.

© Klaudia Bednárová-Gibová, Sandra Zákutná, 2018

REFERENCES

Blanshard, Brand (1954). *On Philosophical Style*. Indiana: University of Indiana Press.

Eco, Umberto (1994). *The Limits of Interpretation.* Bloomington: Indiana University Press.

Ferenčík, Milan (2016). *English Stylistics as Discourse Analysis.* Prešov: Filozofická fakulta.

Hume, David (1896/1739). *A Treatise of Human Nature*. The Online Library of Liberty. Retrieved from http://oll.libertyfund.org/titles/hume-a-treatise-of-human-nature.

Hume, David (2007/1739). *Rozprava o ľudskej prirodzenosti* [A Treatise of Human Nature]. Bratislava: Slovenské filozofické združenie pri SAV.

Hume, David (1973/1739). *Ein Traktat über die menschliche Natur.* Hamburg: Felix Meiner Verlag.

Hume, David (2015/1739). *Pojednání o lidské přirozenosti* [A Treatise of Human Nature]. Praha: Togga.

House, Juliane (1997). *Translation Quality Assessment: A Model Revisited.* Tübingen: Gunter Narr.

House, Juliane (2015). *Translation Quality Assessment. Past and Present.* London: Routledge.

Kiczko, Ladislav et al. (1997). *Dejiny filozofie* [History of Philosophy]. Bratislava: SPN.

Knuuttila, Simo (2012). Translation and Historical Semantics in Philosophy. *Collegium: Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences*, 12, 1—9.

Law, Jonathan (ed.) (2015). *A Dictionary of Law*. 8th ed. Oxford: Oxford University Press.

Munday, Jeremy (2016). Philosophical approaches to translation In: *Introducing Translation Studies: Theories and Applications.* 4th rev. ed. Routledge: London, 249—273.

Nida, Eugene A. (1964). *Toward a Science of Translating.* Leiden: E.J. Brill.

Nida, Eugene A. & Taber, Charles R. (2003/1969). *The Theory and Practice of Translation*. Shangai: Shangai Foreign Language Education Press.

Nord, Christiane (2005). *Text Analysis in Translation. Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for Translation-Orienteйфычч d Text Analysis.* 2nd ed. Amsterdam/New York: Rodopi.

Parks, Gerald (2004). The Translation of Philosophical Texts. *Rivista internazionale di tecnica della traduzione* / International Journal of Translation, 8, 1—10.

Pym, Anthony (2010). *Exploring Translation Studies*. London/New York: Routledge.

Rée, Jonathan (1996). Being Foreign is Different. *Times Literary Supplement*, 20(2), 185—202. London: News International.

Article history:
Received: 05 October 2017
Revised: 10 January 2018
Accepted: 23 February 2018
For citation:
Bednárová-Gibová, Klaudia and Zákutná, Sandra (2018). Terminological Equivalence in Translation of Philosophical Texts. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (2), 423—435. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-423-435.

Bionotes:
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁ is PhD, Associate Professor of Translation Studies & Erasmus+ Institute Coordinator, Institute of British and American Studies, Faculty of Arts, University of Prešov, Slovakia. *Research interests:* English lexicology, history of the English language, linguistic text analysis, analysis and translation of legal texts, translation theory and practice. *Contact information:* e-mail: klaudia.gibova@gmail.com

SANDRA ZÁKUTNÁ is PhD, Associate Professor of History of Philosophy, Institute of Philosophy, Faculty of Arts, University of Prešov, Slovakia. *Research interests:* Enlightenment philosophy, Immanuel Kant, political philosophy. *Contact information:* e-mail: sandra.zakutna@unipo.sk

FINANCE AND ACKNOWLEDGEMENTS
The paper is the outcome of the VEGA research project 1/0880/17 Philosophy of History in the Enlightenment: History as a Fundamental Moment of Human Self-Interpretation in the Context of 18th Century Philosophy supported by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic.

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-423-435

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ В ПЕРЕВОДЕ ФИЛОСОФСКИХ ТЕКСТОВ

КЛАУДИЯ БЕДНАРОВА-ГИБОВА, САНДРА ЗАКУТНА

Прешовский университет
080 01, Словакия, Прешов, ул. 17 Ноября, д. 1

Исследование посвящено терминологическим соответствиям в переводе философских текстов, которым до сих пор уделялось мало внимания в теории перевода по сравнению с переводом текстов в других научных отраслях. Целью исследования является описать современные практики перевода в области философии и выявить причины уникальности этих практик в философском дискурсе, а также рекомендовать оптимальные практики перевода в этой отрасли знания. Опираясь на теорию переводческой эквивалентности Найды, мы отдаем приоритет формальной эквивалентности над динамической, что связано со спецификой философского дискурса. Отобранные с учетом философской терминологии фрагменты «Трактата о человеческой природе» Д. Юма сравниваются с их переводами на словацкий, немецкий и чешский языки. Акцент делается в первую очередь на методах сравнительного текстуального анализа, а в оценке качества перевода используются элементы модели Хауза (1997; 2015). Терминологическое исследование проводится на основе индукции, поскольку она предполагает уточнение теории исходя из анализа терминов. Сравнительный анализ предполагает, что форма и функционирование в философском дискурсе взаимосвязаны до такой степени, что форма даже определяет часть функции текста. Результаты нашего аналитического опыта могут быть использованы в качестве отправной точки для более глубокого, качественно-ориентированного терминологически-переводного исследования.

Ключевые слова: *философия, терминология, перевод философских текстов, теория эквивалентности, формальная эквивалентность, динамическая эквивалентность, качественно-ориентированное терминологически-переводное исследование*

История статьи:
Дата поступления в редакцию: 05 октября 2017
Дата принятия к печати: 23 февраля 2017

Для цитирования:
Bednárová-Gibová, Klaudia and Zákutná, Sandra (2018). Terminological Equivalence in Translation of Philosophical Texts. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (2), 423—435. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-423-435.

Сведения об авторах:
КЛАУДИЯ БЕДНАРОВА-ГИБОВА — кандидат филологических наук, доцент, координатор Erasmus+, Институт британских и американских исследований, факультет гуманитарных наук, Прешовский Университет (Словакия). *Сфера научных интересов*: английская лексикология, история английского языка, лингвистический анализ текста, анализ и перевод текстов юридического дискурса, теория и практика переводоведения. *Контактная информация:* e-mail: klaudia.gibova@gmail.com

САНДРА ЗАКУТНА — кандидат филологических наук, доцент, Институт философии, факультет гуманитарных наук, Прешовский Университет (Словакия). *Сфера научных интересов:* философия эпохия Просвещения, философия Иммануила Канта, политическая философия. *Контактная информация:* e-mail: sandra.zakutna@unipo.sk

БЛАГОДАРНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Статья является частью исследовательского проекта VEGA 1/0880/17 «Philosophy of History in the Enlightenment: History as a Fundamental Moment of Human Self-Interpretation in the Context of 18th Century Philosophy» при поддержке Министерства образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики.

Russian Journal of Linguistics
Вестник РУДН. Серия: ЛИНГВИСТИКА
2018 Vol. 22 No. 2 436—447
http://journals.rudn.ru/linguistics

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-436-447

«НОСИТЕЛЬ ЯЗЫКА» И «NATIVE SPEAKER»: ИЛЛЮЗОРНОЕ СООТВЕТСТВИЕ

Г.Н. ЛОВЦЕВИЧ, О.Н. ГИЧ

Дальневосточный федеральный университет
690091, Владивосток, Россия, ул. Суханова, д. 8

Обращение к данной проблеме вызвано глобальным распространением английского языка, формированием разнообразных региональных профессиональных лингводидактических культур и различной интерпретацией ключевых лингводидактических терминов. В сложившейся политической, экономической и социокультурной ситуации в мире, где английский язык является языком международного общения, многие казавшиеся ранее нейтральными термины лингводидактики приобретают особую актуальность и значимость. В современном профессиональном лингводидактическом дискурсе термины *native speaker* и *носитель языка* приобретают особую важность в дискуссии о целях (вариантах английского языка), норме (стандарте), модели обучения, преподавателе и его квалификации, а также методах и приемах обучения, соответствующих определенному социокультурному контексту и социальному заказу общества. В статье исследуются различия в употреблении терминов *носитель языка* и *native speaker* в русскоязычном лингводидактическом дискурсе и в англоязычном профессиональном дискурсе преподавателей английского языка. Сопоставительный дефиниционный анализ терминов на материале лингвистических и лингводидактических словарей и энциклопедий на русском и английском языках позволил выявить общее смысловое ядро, а также ряд значительных отличий, обусловленных разной степенью резонансности данных терминов в разных профессиональных социокультурах. Как показало проведенное исследование, в русскоязычном лингводидактическом дискурсе термин *носитель языка* употребляется в традиционно устоявшемся значении, в то время как в современном британо-американском профессиональном дискурсе преподавателей английского языка термин *native speaker* приобретает новые смыслы и ведет к смене лингводидактической парадигмы. В результате проделанной работы авторы пришли к выводу, что термины *носитель языка* и *native speaker* нельзя считать абсолютно тождественными, что это тождество является иллюзорным.

Ключевые слова: *носитель языка, сопоставительный анализ, дефиниция, термин, лингводидактический дискурс, межкультурная профессиональная коммуникация*

1. ВВЕДЕНИЕ

Общеизвестно, что английский язык является самым распространенным языком в современном мире. Данный факт связан с повышением геополитического и социально-экономического влияния Британии и США, распространением, в первую очередь, американской массовой культуры и развитием информационных технологий. Во многих странах английский язык массово изучается и включен в образовательные стандарты. Соответственно, растет число преподавателей английского языка, которые в своих странах формируют свой локальный профессиональный дискурс. Устанавливается все больше профессиональных связей между преподавателями английского языка из разных социокультур.

Однако понятия и представления, на которых базируется некий локальный профессиональный лингводидактический дискурс, не всегда соответствуют тому, как они понимаются в других локальных профессиональных лингводидакти-

ческих дискурсах и международной практике (Ловцевич 2010). В связи с этим поднимается вопрос о сопоставимости терминосистем в лингводидактических дискурсах разных стран. Ведь, как заметила О. С. Ахманова, «формальное совпадение терминов различных языков не только не облегчает международное общение, но, напротив, затрудняет его, так как создает для общающихся видимость равенства, соответствия, которое на самом деле оказывается иллюзорным» (Ахманова 1966: 13).

Ярким примером такого «иллюзорного соответствия» являются термины «носитель языка» и «native speaker», традиционно воспринимаемые как тождественные друг другу в отечественной лингводидактике (Баранов 2003; Руденко-Моргун 2017; Щукин 2006). Анализ научных публикаций в англоязычных и русскоязычных лингводидактических журналах показывает иную картину. В русскоязычном лингводидактическом дискурсе термин «носитель языка» употребляется в контексте нормы и модели обучения иностранному языку. Например, изучение иностранного языка с преподавателем-носителем считается более эффективным и ценится выше, чем изучение языка с преподавателем-неносителем (Носонович, Мильруд 1999; Ширина 2013; Яковлева 2014), а высшей целью в овладении языком считается уровень эффективного функционирования (C1—C2), который приравнивается к уровню образованного носителя языка (Каплун 2011; Кашникова, Чернова 2011; Таюрская 2016). Следовательно, можно сделать вывод, что авторитет и престиж носителей языка в российской методике преподавания английского языка очень высок. На него равняются, ему подражают, его имитируют.

В современном англоязычном лингводидактическом дискурсе наблюдается другая картина: высокочастотное употребление термина «native speaker» с отрицательной коннотацией. Возьмем для примера только заголовки статей с термином «native speaker» из научных журналов TESOL Quarterly, ELT Journal и других за последние 30 лет. Самые резонансные из них гласят, что носителей языка не существует, что в классе больше нет места для носителя языка, что данный термин нужно заменить термином «опытный пользователь» («expert user»), ставится вопрос о том, кто сейчас является носителем языка (Rampton 1990; Jenkins 1996; Cook 1999; Davies 2002; Baker 2010; Majlesifard 2012; Cook 2015).

Многие авторитетные ученые в области лингвистики и межкультурной коммуникации рассматривают понятие «носитель языка» как несуществующее, как лингвистический миф (Paikeday 1985). В социолингвистике встает вопрос о пересмотре данного понятия «в связи с осознанием неоднородности английского языка и роли в межкультурной коммуникации его успешных пользователей, бегло и идиоматично говорящих на нем, несмотря на то, что английский — это не их родной, а второй (а порой и третий) приобретенный ими язык» (Прошина 2017: 100).

В целях повышения эффективности межкультурного профессионального общения мы считаем необходимым рассмотреть сложившуюся ситуацию путем сопоставительного дефиниционного анализа русского термина «носитель языка» и английского термина «native speaker» на материале лингвистических и лингводидактических словарей и энциклопедий на русском и английском языках (Bussmann 1996; Trusk 1997; Medgeys 2000; Абрегова 2003; Баранов 2003; Жеребило 2005; Thorbury 2006; Щукин 2007;Crystal 2008; Азимов, Щукин 2009; Ловцевич 2009; Richards, Schmidt 2010; Руденко-Моргун 2017).

2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ «НОСИТЕЛЬ ЯЗЫКА» И «NATIVE SPEAKER»

Необходимо отметить, что термины «носитель языка» и «native speaker» являются относительно молодыми. Как показывает анализ сервиса Google Books Ngram Viewer[1] английский термин «native speaker» начинает употребляться во второй половине XIX — начале XX века. Однако частотность употребления этого термина значительно растет с 1970-х.

Рис. 1. Частотность использования термина «native speaker» в английском языке
Fig. 1. Frequency of the term «native speaker» in the English language

Русский термин «носитель языка» входит в употребление в середине XX века, и начиная с 1960-х его частотность непрерывно растет. Интересно, что частотность употребления русского термина ненамного ниже, чем английского, хотя количество материалов на английском языке значительно выше.

Рис. 2. Частотность использования термина «носитель языка» в русском языке
Fig. 2. Frequency of the term «native speaker» in the Russian language

[1] Поисковый онлайн-сервис компании Google, позволяющий строить графики частотности языковых единиц на основе огромного количества печатных источников, опубликованных с 16 века и собранных в сервис Google Books.

Высокая частотность термина «носитель языка» в русскоязычных источниках объясняется, по-видимому, тем, что данное понятие является ключевым и присутствует в определениях многих лингводидактических категорий. Например, в словаре Е.Г. Азимова и А.Н. Щукина (Азимов, Щукин 2006) термин «носитель языка» встречается 69 раз в определениях различных методических терминов (2,7% от общего количества статей). В то же время само определение термина «носитель языка» в словаре весьма лаконично и занимает всего несколько строчек. Такой объем определения данного термина типичен для большинства русскоязычных лингвистических и лингводидактических справочников и учебников. Средний объем русского определения составляет 30 слов (табл. 1).

Таблица 1

Примеры русского определения термина «носителя языка» и английского определения термина «native speaker»

Table 1

Examples of Russian and English definitions of the term «native speaker»

«**НОСИТЕЛЬ ЯЗЫКА.** Представитель какой-л. социокультурной и языковой общности, владеющий *нормами* языка, активно использующий данный язык (обычно являющийся для него родным) в различных бытовых, социокультурных, профессиональных и др. *сферах общения*». *(Азимов, Щукин 2009: 163)*	**«Native speaker** *n* — a person who learns a language as a child and continues to use it fluently as a dominant language. Native speakers are said to use a language grammatically, fluently and appropriately, to identify with a community where it is spoken, and to have clear intuitions about what is considered grammatical or ungrammatical in the language. One of the goals of linguistics is to account for the intuitions the native speaker has about his/her language. Dictionaries, reference grammars and grammatical descriptions are usually based on the language use of the native speaker of a dominant or standard variety. In some contexts (the teaching of some languages in some countries) it is taken as a basic assumption that the goal of learning a second or foreign language is to approximate as closely as possible to the standards set by native speakers; in other teaching and learning contexts, this assumption is increasingly being questioned and native speakers no longer have the privileged status they used to have» — *(Richards, Schmidt 2010: 386)*

Говоря об определении термина «native speaker» в англо-американском лингводидактическом дискурсе, считаем важным отметить факт, что объем английской словарной статьи значительно превышает объем русской словарной статьи. Средний объем английского определения составляет 120 слов (см. табл. 1).

Несомненно, английский термин «native speaker», как и русский термин, является ключевым и также используется для объяснения других методических терминов, однако в меньших количествах. Например, в известном словаре издательства Longman (Richards, Schmidt 2010) данный термин употребляется в 47 определениях (1,3% от общего количества статей). Таким образом, количественный анализ подтверждает наше предположение о нетождественности данных терминов в русскоязычном и англоязычном профессиональном лингводидактическом дискурсе.

3. ПРОБЛЕМАТИКА АНГЛИЙСКОГО ТЕРМИНА «NATIVE SPEAKER»

Проведенный дефиниционный анализ позволил выявить как ряд общих (ядерных) черт, так и ряд отличительных признаков терминов «носитель языка» и «native speaker». Общими признаками являются:

- уровень владения языком (*владеет языком как родным, владеет нормами языка и имеет их интуитивное понимание, имеет высокий уровень языковой компетенции, имеет высокий уровень речевых умений, способен творчески обращаться с языком*);
- первичность в овладении языком (*овладение языком в детстве, овладение языком в общении со взрослыми, овладение языком матери*).

Помимо вышеуказанных ядерных признаков отличием словарных статей в англоязычных лингводидактических словарях и справочниках является наличие прагматической информации. В англоязычных источниках присутствует распространенное объяснение современных проблем в использовании термина «native speaker», которые возникают в связи с новым статусом английского языка как языка международного общения, с новыми подходами к преподаванию английского языка как международного языка и как языка-посредника, а также новой парадигмой, согласно которой существует не один английский язык, а множество английских языков (World Englishes Paradigm) (Jenkins 2000; Brutt-Griffler 2002; Kachru&Nelson 2005; Smith 2008; Прошина 2017).

Остановимся подробнее на прагматике словарных определений английского термина. Традиционно носители языка выступали для лингвистов надежным источником данных о том или ином языке (Ferguson 1983; Chomsky 1986). В лингводидактике именно носители служили моделью в обучении иностранным языкам, с ними сравнивали учащегося, чтобы определить степень овладения языком и на них ориентировались при определении языкового стандарта, которому необходимо обучать (Davies 2006). Однако во второй половине XX века такой подход перестал подходить для преподавания английского языка в связи с его стремительным распространением в мире.

В 1980-х критерии, определяющие носителей английского языка, подверглись критике и сомнениям, а это, в свою очередь, привело к сдвигу парадигмы в британо-американской лингводидактике, подточивший, как казалось, незыблемые позиции английского термина «native speaker». На страницах журналов ELT Journal, TESOL Quarterly и других с 1980-х регулярно появляются статьи, призывающие снизить значимость носителя языка в обучении английскому как второму или иностранному языку (Rampton 1990; Jenkins 1996; Cook 1999; Davies 2002; Baker 2010; Majlesifard 2012; Cook 2015).

Термин «native speaker» породил несколько ветвей ожесточенных дискуссий. Одно из ответвлений базируется на тезисе, что английский язык — это язык международного общения и больше не принадлежит его традиционным носителям. Одним и аргументов данной гипотезы является количество людей, владеющих английским языком как вторым или иностранным, значительно превышает количество людей, владеющих английским как первым языком. Количество неносителей, по разным данным, может доходить до миллиарда человек, в то время как

количество носителей, даже с учетом стран расширяющегося круга, не превышает 700 миллионов человек (Crystal 2003: 107). Большая часть коммуникации на английском языке проходит между неносителями, соответственно, подвергается сомнению целесообразность использования носителя языка в качестве модели обучения.

Смежной темой этого ответвления дискуссии является обсуждение стандартов и нормы английского языка. Только во внутреннем нормоопределяющем круге, согласно схеме Б. Качру, существует пять вариантов английского языка (Прошина 2017). Если же обратиться к схеме Тома Макартура, то, по его мнению, существует восемь мировых стандартов английского языка (там же). В связи с этим чаще ставится вопрос о том, каким нормам и стандартам стоит следовать в обучении английскому языку и стоит ли вообще ставить целью изучения второго или иностранного языка максимальное приближение к стандартам, установленным носителями языка (Richards, Schmidt 2010: 386).

Другая ветвь дискуссии основана на том, что авторы считают существующую дихотомию носитель языка/неноситель языка бесполезной и более не отображающей существующие реалии, и предлагаются заменить термины «native speaker» и «non-native speaker» на более нейтральные «expert user/novice user», «more/less accomplished user», «monolingual/bilingual speaker» и т.д. (Mydgyes 1992: 342; Mydgyes 2000: 437). Причиной данных трансформаций служит увеличение количества билингвов и полиглотов, способных свободно общаться на двух, трех и более языках. Также становится все больше культур, где английский язык вытесняет местный язык, причем речь идет уже не о бывших колониях Великобритании, а о таких странах, как Нидерланды, Швеция, Дания, где английский язык активно проникает в разные сферы, постепенно замещая исконный язык этих стран. Люди начинают изучать английский с ранних лет и окружены англоязычной средой, в то же время они владеют местным языком и окружены родной культурой. Встает вопрос о культурной и языковой идентификации таких людей.

Еще одним серьезным вопросом, вызывающим споры, является эффективность носителей как преподавателей английского языка. Носители языка постепенно утрачивают свой привилегированный статус в вопросах освоения английского языка. Они, овладев языком самостоятельно в детстве, как правило, не понимают тех трудностей, с которыми сталкивают учащиеся, изучающие язык в более сознательном возрасте, не являются успешной моделью овладения языком для неносителей, не умеют преподавать эффективные стратегии изучения иностранного языка (Mydgyes 1992). Также неносители языка лучше понимают культурные особенности своих учеников. Американские, канадские, австралийские и прочие преподаватели-носители, как правило, очень общительны, открыты и активны, однако такой тип общения с учениками не всегда легко принимается, например, в некоторых азиатских культурах.

Каждая из этих ветвей дискуссий порождает все больше теоретических дебатов в лингводидактике, которые вряд ли будут разрешены в ближайшее время, хотя большинство лингвистов признают, что для эффективного обучения английскому языку необходимо прийти к консенсусу по вопросам модели и целей обучения (Davies 2006).

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Возвращаясь к сопоставительному дефиниционному анализу русского термина «носитель языка» и английского термина «native speaker», мы приходим к выводу, что у данных терминов, с одной стороны, есть общее смысловое ядро, а, с другой стороны, ряд значительных отличий (табл. 2).

Таблица 2

Сходства и различия терминов «носитель языка» и «native speaker»

Table 2

The common and different aspects of the Russian and English term «native speaker»

	Носитель языка	Native speaker
Общее ядро	♦ Владение языком с детства ♦ Высокий уровень языковой компетенции ♦ Высокий уровень развития речевых умений	
Специфические особенности	♦ Принадлежность к определенному народу, социокультурной и языковой общности	♦ Противоречивость критериев, определяющих, кого считать носителем языка ♦ Роль и место носителя языка в обучении английскому языку как второму или иностранному ♦ Вопрос о статусе билингвов и полиглотов

Как видно из табл. 2, в русскоязычном лингводидактическом дискурсе термин «носитель языка» не является проблемным. Помимо общего с английским термином «native speaker» ядра добавляется лишь одна уникальная черта — принадлежность к определенному народу, социокультурной и языковой общности. Вероятно, это можно объяснить тем, что в русской лингвистической традиции язык тесно связан с культурой народа, и даже часто можно встретить термин «носитель языка и культуры». Отсутствие иных специфических черт объясняется, скорее всего, тем, что авторы русскоязычных словарей и энциклопедий считают термин очевидным для пользователей и не требующим дополнительных разъяснений.

Перенося такое понимание русского термина «носитель языка» на английский термин «native speaker», российские преподаватели и специалисты упускают массив данных, существующий в англо-американском профессиональном лингводидактическом дискурсе, зачастую понимая под носителем языка образованного британца или американца и не осознавая, что такое понимание для современной британо-американской лингводидактики является как минимум спорным. Также русскоязычные пользователи термина «native speaker» обычно не осознают степень этноцентризма, существующую в британо-американском профессиональном дискурсе. При упоминании термина «native speaker» в контексте преподавания языка в англоязычных периодических изданиях речь идет исключительно об английском языке, и вся проблематика данного термина также связана со статусом английского языка в мире и историей его распространения.

Из всего вышесказанного мы делаем вывод, что между русским термином «носитель языка» и английским термином «native speaker» существуют значимые отличия в их понимании представителями разных профессиональных социокуль-

тур. Так, мы можем предположить, что, проводя более глубокий анализ функционирования терминов в лингводидактическом дискурсе, данная разница в восприятии и употреблении только усилится.

Тем не менее, вопросы, поднятые в 80-х в англо-американском профессиональном лингводидактическом дискурсе, постепенно переходят в русский профессиональный лингводидактический дискурс. Появляются русские статьи на эту тему, данные вопросы обсуждаются на конференциях и постепенно начали проникать в монографии, учебники, и словари (Smith 2008; Кравченко 2009; Ловцевич 2009; Ловцевич 2010; Прошина 2012; Прошина 2017; Lovtsevich, Ryan 2016). Это также подтверждается графиком Google Books Ngram Viewer, показывающим повышенный интерес к термину «носитель языка» в течение последнего десятилетия.

© Г.Н. Ловцевич, О.Н. Гич, 2018

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Каплун О.А. Грамматическая компетенция как составляющая коммуникативной компетенции // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2011. № 4. С. 331—338. [Kaplun, O. A. (2011) Grammatical competence as a constituent of communicative competence. Scientific journal of Orel state university. 4, 331—338. (In Russ.)]

Кашникова И.В., Чернова Л.Е. Коммуникативные практики этнонациональных меньшинств и феномен билингвима // Філософия І политологія в контексті сучасної культури. 2011. № 2. С. 438—448. [Kalashnikova, I. V., Chernova, L. E. (2011) Communicative practices of ethnic minorities and the phenomenon of bilingualism. *Philosophy and politology in the context of modern culture*. 2, 438—448. (In Russ.)]

Кравченко А.В. Носители языка, родной язык, и другие интересные вещи // Т. Ю. Тамерьян (ред.). Актуальные проблемы филологии педагогической лингвистики. 2009. № 11. С. 29—37. [Kravchenko, A. V. (2009). Native speakers, native language and other interesting things. *Actual problems of philology and applied linguistics.* 11, 29—37. (In Russ.)]

Ловцевич Г.Н. Кросскультурный терминологический словарь как средство репрезентации терминологии гуманитарных наук. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2010. [Lovtsevich, G. N. (2010). Cross-cultural terminological dictionary as a means of humanitarian terminology representation. Vladivostok: Izdatelstvo Dalnevostochnogo universteta. (In Russ.)]

Носонович Е.В., Мильруд Р.П. Параметры аутентичного учебного текста // Иностранные языки в школе. 1999. № 1. С. 11—18. [Nosonovich, E. V., Milrud, R. P. (1999) Parameters of authentic educational text. *Foreign languages at school*. 1, 11—18. (In Russ.)]

Прошина З. Г. Смена парадигмы языкового образования? // Личность. Культура. Общество. 2012. Том XIV. Вып. 2. № 71—72. С. 176—177. [Proshina, Z. G. (2012) Changing the paradigm of language teaching? *Lichnost', kultura i obshchestvo,* 14-2-71/72, 176—177. (In Russ.)]

Прошина З.Г. Контактная вариантология английского языка: Проблемы теории. World Englishes Paradigm: учеб. пособие. М.: ФЛИНТА: Наука, 2017. [Proshina, Z. G. (2017). *World Englishes Paradigm*. Moscow: Flinta. (In Russ.)]

Смит Л. (Smith L.) Familiar issues from a World Englishes perspective // Культурно-языковые контакты: сборник научн. трудов. 2008. Вып. 10.Владивосток: Изд-во Дальневост. Ун-та. С. 67—73. [Smith, L. (2008). Familiar issues from a World Englishes perspective. *Kul'turno-yazykovye kontakty*, 10, 67—73. (In Russ.)]

Таюрская Н.П. Модель подготовки выпускника педагогического колледжа к формированию иноязычной коммуникативной компетенции школьников // Среднее профессиональное образование. 2016. № 5. С. 38—41. [Tayurskaya, N. P. (2016). Model of Pedagogical College Graduates' Training for Students' Foreign Language Communicative Competence Formation. *Secondary vocational education*, 5, 38—41. (In Russ.)]

Ширина М.С. Поликультурная среда как условие формирования социокультурной компетенции в процессе иноязычного образования будущих кадров экономической сферы [Электронный ресурс] // Ученые записки: электронный научный журнал Купского государственного университета. 2013. № 4(28). URL: http://scientific-notes.ru/index.php?page=6&new=33 (дата обращения: 7.10.2017) [Shirina, M. S. (2013). Policultural environment as a condition for sociocultural competence formation of future cadres of the economic sphere during the process of language learning. *Uchenye zapiski: elektronnyi nauchnyi zhurnal Kupskogo gosudarstvennogo universiteta,* 4 (28). [Electronic resource] Retrieved from http://scientific-notes.ru/index.php?page=6&new=33 (In Russ.)]

Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учебное пособие для преподавателей и студентов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Филоматис, 2006 [Shchukin, A. N. (2006). *Teaching Foreign Languages: Theory and Practice.* Moscow: Filomatis. (In Russ.)]

Яковлева Т.А. Изучение иностранного языка в тандеме // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 10-2. С. 86—92 [Yakovleva T. A. (2014). Learning a foreign language in tandem. *Humanities, social-economic and social sciences,* 10-2, 86—92. (In Russ.)]

Baker, T. J. (2010, December 11). The native speaker myth: Death, wake, and funeral of a fallacy. [Web log post].Retrieved from https://profesorbaker.wordpress.com/2010/12/11/the-native-speaker-myth-death-wake-funeral-of-a-fallacy/.

Brutt-Griffler, J. (2002). *World Englishes: a study of its development.* Clevendon, England: Multilingual Matters.

Chomsky, N. (1986). *Knowledge of language: Its nature, origin and use.* New York: Greenwood Publishing Group.

Cook, V. (1999). Going beyond the native speaker in language teaching. *TESOL Quarterly*, 33(2), 185—209. doi: 10.2307/3587717.

Cook, V. (2015). Where is the Native Speaker Now? *TESOL Quarterly*, 50 (1), 186—189. doi: 10.1002/ tesq.286.

Crystal, D. (2003). *The Cambridge encyclopedia of the English language.* Cambridge: Cambridge University Press.

Davies, A. & Elder, C. (2006). *The Handbook of applied linguistics*. Oxford and Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Davies, A. (2002). *The native speaker: myth or reality*. Clevedon, England: Multilingual Matters.

Ferguson, C. (1983). Language planning and language change. In H. Cobarrubias & J. Fishman (Eds.), *Progress in language planning: international perspectives* (pp. 29—40). Berlin: Mouton.

Jenkins, J. (1996). Native speaker, non-native speaker and English as a foreign language: time for a change. *IATEFL Newsletter.*131.10—11.

Jenkins, J. (2006). Current perspectives on teaching World Englishes and English as Lingua Franca. *TESOL Quarterly,* 40(1), 157—181. doi: 10.2307/40264515.

Kachru, B. & Nelson, C. (2005). World Englishes. In S. McKay, & N. Hornberger (Eds.) *Sociolinguistics and language teaching* (pp. 71—102). Cambridge: Cambridge University Press.

Lovtsevich, G. N. & Ryan, S. M. (2016). Empowering teachers for excellence. *Connecting professionally on ELT in Asia: Crossing the bridge to excellence.* 14thAsiaTEFL@11thFEELTA International Conference on Language Teaching, 5—11.

Majlesifard, H. A. (2012). Pedagogically, There Is No Room for a Native Speaker. *Sino-US English Teacher*. 9 (7), 1277—1287.

Mydgyes, P. (1992). Native or non-native: who's worth more? *ELT Journal*. 46(4), 340—349. doi: 10.1093/elt/46.4.340.

Medgyes, P. (2000). Native Speaker. In M. Byram & C. Brumfit et al. (Eds.) *The Routledge Encyclopedia of Language teaching and Learning* (pp. 436—438). New York: Routledge.

Paikeday, T. M. (1985). *The native speaker is dead! An informal discussion of a linguistic myth with Noam Chomsky and other linguists, philosophers, psychologists, and lexicographers.* Toronto: Paikeday Publishing Inc.

Rampton, B. (1990). Displacing the 'native speaker': Expertise, affiliation and inheritance. *ELTJournal.* 44. 97—101. doi: 10.1093/elt/ccq092.

Словари / Dictionaries

Абрегова А.Н. Словарь русской лингвистической терминологии. Майкоп: Качество, 2003.

Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Икар, 2009.

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская энциклопедия, 1966.

Баранов А.Н. и др. Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике. М.: Помовский и партнеры, 2003.

Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. 4-е изд., испр. и дополн. Назрань: Пилигрим, 2005.

Ловцевич Г.Н. Англо-русский словарь аббревиатур терминов лингводидактики. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2009.

Руденко-Моргун О.И. Учебный лингвистический словарь: для иностранных учащихся, владеющих русским языком в объеме I сертификационного уровня (B1). Москва: Российский ун-т дружбы народов, 2017.

Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь*:* более 2000 единиц. М.: АСТ, 2007.

Bussmann, H. (1996). *Routledge Dictionary of language and linguistics.* London: Routledge.

Crystal, D. (2008). *A Dictionary of Linguistics and Phonetics.* Oxford: Blackwell Publishing.

Richards, J. C., Schmidt, R. (2010). *Longman Dictionary of Language teaching and Applied Linguistics.* Edinburgh Gate: Pearson Education Limited.

Thornbury, S. (2006). *An A—Z of ELT*. London: Macmillan Education

Trask R. L. (1997). *A student dictionary of language and linguistics.* London: Arnold.

История статьи:
Дата поступления в редакцию: 13 сентября 2017
Дата принятия к печати: 20 декабря 2017

Для цитирования:
Ловцевич Г.Н., Гич О.Н. «Носитель языка» и «Native Speaker»: иллюзорное соответствие // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2018. Т. 22. № 2. С. 436—447. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-436-447.

Сведения об авторах:
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ЛОВЦЕВИЧ — доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой лингвистики и межкультурной коммуникации Дальневосточного Федерального университета. *Сфера научных интересов*: терминоведение и терминография, межкультурная коммуникация, социолингвистика, лингводидактика. *Контактная информация:* e-mail: glovtsev@yandex.ru

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ГИЧ — аспирант 2 курса направления Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, ассистент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Дальневосточного Федерального университета. *Сфера научных интересов:* лингводидактика, сопоставительное дискурсоведение, межкультурная коммуникация, лингвосинергетика. *Контактная информация:* e-mail: gich.olga.nik@gmail.com

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-436-447

ENGLISH AND RUSSIAN TERMS "NATIVE SPEAKER": ILLUSORY EQUIVALENTS

GALINA N. LOVTSEVICH, OLGA N. GICH

Far Eastern Federal University
8 Sukhanova St., Vladivostok, 690091, Russian Federation

Abstract

The interest in this issue is caused by the global spread of English, the diversity of regional English language teaching (ELT) communities and the different interpretations of key ELT terms. Under the current political, economic and sociocultural conditions of a world where English is an International Language, many previously neutral ELT terms acquire particular relevance and significance. Thus, the term "native speaker" gains special importance in the discussion of goals (English language variants), the norm (standard) and the model, teachers and their qualifications, methods and techniques appropriate to societal needs in a certain socio-cultural context. This paper explores the differences in usage of the term "native speaker" used in English and Russian ELT discourses. The case study employs comparative definitional analysis of the corresponding Russian and English terms and reveals both the common meaning and significant differences. As the study shows, in Russian professional discourse, the term *nositel' yazyka* (native speaker) is used in the traditionally established meaning, while in British-American ELT discourse it acquires new meanings and leads to a change in the ELT paradigm. The authors conclude that the Russian and English terms are not identical; on the contrary, their equivalence is illusory.

Keywords: *native speaker, comparative analysis, definition, ELT discourse, professional intercultural communication*

Article history:
Received: 13 September 2017
Revised: 10 December 2017
Accepted: 20 December 2017

For citation:
Lovtsevich, Galina and Gich, Olga (2018). English and Rusian Terms "Native Speaker": Illusory Equivalents. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (2), 436—447. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-436-447.

Bionotes:
GALINA N. LOVTSEVICH is Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Linguistics and Intercultural Communication, Far Eastern Federal University. Her research interests embrace terminology and terminography, intercultural communication, sociolinguistics, linguistics didactics, discourse analysis, intercultural communication. *Contact information*: e-mail: glovtsev@yandex.ru

OLGA N. GICH is a post-graduate student and assistant, Department of Linguistics and Intercultural Communication, Far Eastern Federal University. Her research interests focuses on linguistics didactics, intercultural communication, comparative discourse studies, linguosynergetics. *Contact information*: e-mail: gich.olga.nik@gmail.com

Russian Journal of Linguistics
Вестник РУДН. Серия: ЛИНГВИСТИКА
2018 Vol. 22 No. 2 448—473
http://journals.rudn.ru/linguistics

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-448-473

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА РЕЛИГИОЗНО-ЭКСТРЕМИСТСКИХ ТЕКСТОВ В ПРОЦЕССЕ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

А.С. БОРИСОВА[1], Ж.В. КУРГУЗЁНКОВА[2], В.Д. НИКИШИН[3]

[1]Российский университет дружбы народов
117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

[2]Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
119606, Москва, Проспект Вернадского, д. 84

[3]Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина
125993, Россия, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9

Экстремизм представляет собой одну из наиболее опасных угроз для человечества в XXI веке. Распространение данного явления в мире характеризуется не только увеличением количества преступлений экстремистской направленности, но и многообразием форм их проявления. В настоящее время в судебном производстве РФ по делам о противодействии словесному (вербальному) религиозному экстремизму часто рассматриваются переводные тексты, а также тексты, включающие иноязычную речь. В статье освещаются теоретические основы судебно-лингвистической экспертологии, задачи, стоящие перед лингвистом-переводчиком, выступающим в роли эксперта, очерчиваются пределы его компетенции. Авторы выявляют комплекс проблем, возникающих в процессе перевода религиозно-экстремистских текстов; определяют стратегии и тактики, позволяющие адекватно воссоздать на другом языке продукт, эквивалентный оригинальному тексту. Эквивалентность перевода рассматривается в рамках концепции «нейтрализации», заключающейся в необходимости соответствовать установленным переводческим нормам наряду с передачей коммуникативной цели высказывания, учета контекста и лингводискурсионных особенностей. Материалом исследования послужили разножанровые тексты интернет-коммуникации на английском и французском языках, содержащие информацию религиозно-экстремистской направленности (посты, репосты, мемы, лозунги, сообщения и авторские комментарии в социальных сетях). Данные виды текстов обладают как общими (*мультимедийность, креолизованность, гипертекстуальность*), так и отличительными чертами (*регламентированность, характер направленности на адресата, лингвостилистические особенности*). В работе применялись методы контекстуального, структурно-семантического, сравнительно-сопоставительного и лингвокультурологического анализа. В целом статья ориентирована на специалистов в области юридической лингвистики, теории и практики перевода, дискурс-анализа.

Ключевые слова: *юридическая лингвистика, судебно-лингвистическая экспертиза, религиозно-экстремистский текст, интернет-коммуникация, перевод*

1. ВВЕДЕНИЕ

Общепризнанным является утверждение о том, что любые проявления коммуникативного взаимодействия порождают необходимость правового регулирования. Проблема юридизации языка заключается в балансировании между языко-

выми и правовыми нормами. Иными словами, речь идет о системном изучении языка в рамках законов, определяющих вовлечение конкретных речеязыковых явлений в юридическую практику. Данная проблематика находится в фокусе внимания юридической лингвистики — междисциплинарной отрасли научного знания, последовательно занимающейся исследованиями правовых аспектов языка.

В настоящее время юридическая лингвистика представляет собой консолидирующую исследовательскую парадигму, к которой, помимо правоведов, проявляют активный интерес специалисты, занимающиеся научными изысканиями в русле актуальных лингвистических проблем междисциплинарного характера, раскрывающих взаимодействие языка, культуры, сознания и коммуникации.

Среди современных ученых-юристов, изучающих различные взаимоотношения права, закона и языка, целесообразно *упомянуть В.М. Баранова, В.А. Бурковскую, Т.В. Губаеву, Д.А. Керимова, В.П. Малкова, Л.А. Морозову, В.М. Савицкого, А.А. Ушакова*. Важный вклад в осмыслении языковых аспектов юриспруденции, теории и практики лингвокриминалистики, лингвоэкспертологии, речеведения и переводоведения внесли лингвисты *А.Н. Баранов, К.И. Бринёв, Н.Д. Голев, Е.И. Галяшина, Д. А. Дубровский, В.И. Жельвис, Л.П. Крысин, В.И. Карасик, А.А. Леонтьев, И.Б. Левонтина, Н.Б. Мечковская, В.П. Нерознак, В.И. Озюменко, Ю.В. Рождественский, И.А.Стернин, Ю.С. Сорокина, Ю. А. Сафонова. Т.В. Чернышева, А.П. Чудинов* и др.

В целом, *актуальность* рассмотрения проблематики перевода иноязычных религиозно-экстремистских текстов обуславливается значимостью юридического функционирования языка и потребностью его изучения с лингвистических позиций:

1. Тесная взаимосвязь юридической и лингвистической наук позволяет исследователям познавать язык не в *«самом себе и для себя»*, а сквозь призму смежных с ним явлений. В результате происходит своего рода глобализация объекта лингвистического анализа: изучение отдельных лингвистических единиц сменяется изучением дискурса. В отечественной и зарубежной лингвистике понятие дискурс рассматривается «*как язык в его функционировании, в отличие от языка как системы»* (Mils, 2016), *«как текст, погруженный в жизнь»* (Арутюнова, 1998) или *«текст в ситуации общения»* (Карасик, 2002). Дискурс определяется контекстом, который создает текст и его структуру. Понятие «контекст» имеет широкое значение, подразумевает ситуативные условия, психологические факторы, влияющие на процесс коммуникации, а также весь прежний опыт участников речевого взаимодействия (Ларина, 2017:3). В этой связи юридическое функционирование религиозных текстов экстремисткой направленности, фиксирующих конфликтные отношения или способные их спровоцировать, нуждается в комплексном анализе, с максимальным учетом социальных, этнокультурных, психологических и ситуативных наслоений.

2. В современном российском обществе под влиянием экономических, политических и социальных факторов наблюдается насущная потребность в исследовании юридического аспекта языка. Язык имманентен праву, и их взаимодействие требует системного изучения и регуляризации. Особую значимость приобретает «социальный заказ» на проведение судебной лингвистической экспертизы мате-

риалов предположительно религиозно-экстремистской направленности. Значимость подобного рода экспертизы обусловлена активным распространением в виртуальном пространстве (в свободном доступе) деструктивных идей, направленных на возбуждение ненависти к различным религиозным конфессиям, унижение чувств верующих, пропаганды религиозного терроризма.

3. На сегодняшний день функционал средств массовой информации крайне разнообразен. Современные СМИ зачастую устанавливают мировоззренческие и поведенческие ориентиры, создают и контролируют настроения в социуме, «жонглируют» общественным мнением в угоду той или иной конъектуре. Всемирная паутина, в сравнении с любыми традиционными СМИ (пресса, радио, телевидение), обладает колоссальными возможностями воздействия на массовое сознание людей, в силу своей доступности, публичности, скорости распространения информации, условий анонимности и пр. Совершенно очевидно, что в руках недобросовестных манипуляторов Интернет становится крайне опасным оружием. Если виртуальное пространство активно эксплуатируется пользователями, придерживающихся экстремистских убеждений, если данные пользователи обладают определенной репутацией и авторитетом, то последствия от публикуемых ими материалов могут быть непредсказуемы.

В этой связи наука обязана реагировать на запросы социума посредством увеличения числа прикладных задач, требующих специального осмысления. Востребованность судебной лингвистической экспертизы показывает, что это новый вид прикладного языковедческого исследования, которое необходимо проводить в соответствии с определенными правилами и для особых целей.

Настоящая статья выполнена в русле указанной проблематики. *Объектом* исследования являются иноязычные религиозно-экстремистские тексты, распространяемые в сети Интернет, а *предметом* вербальные средства манипуляции общественным сознанием, создающие трудности для перевода в процессе судебно-лингвистической экспертизы. Целесообразно уточнить, что дефиниция текста как религиозно-экстремистского подразумевает как его правовой статус, так и присутствие в нем элементов, граничащих по форме с «языком вражды», а по содержанию с экстремизмом.

Эмпирическую базу исследования составили 70 разножанровых текстов (посты, репосты, мемы, лозунги, авторские комментарии), размещенные в виртуальном пространстве в период с 2015—2017 гг., в частности в таких популярных социальных сетях, как: *Facebook, Twitter, LiveJournal*. Отметим, что выбор текстов, содержащих различные признаки религиозного экстремизма в качестве исследовательского материала, не случаен. Религиозный и национальный экстремизм — одна из самых серьезных проблем мирового сообщества. Кроме того, сам термин «экстремизм» синонимичен понятиям «национализм» и «сепаратизм».

Цель статьи заключается в том, чтобы очертить круг задач, стоящих перед лингвистом-переводчиком, выступающим в роли эксперта в процессе судебно-лингвистической экспертизы; выявить, описать и проанализировать комплекс проблем, возникающих при переводе религиозно-экстремистских текстов; определить стратегии и тактики, позволяющие адекватно воссоздать на другом языке информацию, эквивалентную оригиналу.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К ИССЛЕДОВАНИЮ

2.1. Понятия «экстремизм», «религиозный экстремизм»: определение и виды

В последние десятилетия общество сталкивается с таким многогранным по форме и содержанию явлением, как экстремизм, который представляет серьезную угрозу безопасности для мировых держав и их населения, влечет за собой весомые экономические, политические, нравственные, а самое главное — человеческие потери.

В толковом словаре иноязычных слов отечественного лингвиста Л.П Крысина понятие «экстремизм» трактуется как «*приверженность крайним взглядам и мерам»* (Крысин 2006).

Юридическое определение данного термина прописано в тексте «Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 15 июня 2001 года:

«Экстремизм — какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством сторон» (http://www.mid.ru).

Традиционно различаются такие виды экстремизма, как политический, национальный и религиозный.

Религиозный экстремизм (далее РЭ) обычно определяется как проявление нетерпимости к членам различных конфессий или противоборство внутри отдельного религиозного сообщества. Кроме того, в современных реалиях это явление тесно переплетается с религиозным фундаментализмом, т.е. осознанным стремлением создать или же воссоздать истинную («свою») цивилизацию, свободную о чужих (чуждых) идей. Обобщая данное понятие, можно сказать, что РЭ представляет собой приверженность в религии к крайним убеждениям и действия, а его фундамент составляют агрессия, насилие, жестокость в сочетании с демагогией.

В наши дни РЭ непосредственно связан с различными религиозными организациями, которые прикрываясь вероучениями ведут массовую пропаганду своих личных интересов, контролируя сознание индивида и оказывая деструктивное влияние на его личность. Более того, активно продолжает крепнуть связь с религиозным терроризмом. Международные политологи полагают, что зарождение религиозного терроризма произошло в Иране (Революция 1980 г.). В этот период под словом «религиозный» подразумевался исключительно исламский терроризм. Однако современные экстремистские и террористические организации связаны с самыми разными мировыми религиями, культами и сектами. Основная задача, которую ставит перед собой РЭ — это распространение и признание единственной веры, уничтожение иных религиозных конфессий, насильственное присоединение их к своей вере.

Совершенно очевидно, что РЭ — не случайное явление, оно имеет объективные причины возникновения. Важно подчеркнуть, что на сегодняшний день нет ни одного отдельного фактора, на который можно было бы возложить ответственность за развитие экстремизма в целом, и РЭ в частности. Это сложный феномен с различными прямыми и косвенными предпосылками, часть из которых берет начало в прошлом, а часть в настоящем. По мнению Е.И. Галяшиной, его корни «*лежат в обострении социально-политических и экономических противоречий, порождающих конфликты в обществе и вызывающих их разрешение насильственным путем*» (Галяшина, 2006). Однако целесообразно предположить, что одна из главных причин появления РЭ кроется в самом человеке, в противоречиях между его внутренним миром и окружающей действительностью. Внутренние психологические проблемы вполне могут привести индивида или группу индивидов к нетерпимости, жестокому и агрессивному поведению.

Федеральный закон РФ «О противодействии экстремистской деятельности» дает четкое определение и конкретное описание действий, квалифицирующихся как экстремистские. Рассмотрим некоторые из них: публичное оправдание терроризма; возбуждение национальной, расовой, социальной и религиозной вражды; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики/символики; публичные призывы к осуществлению противоправных деяний или массовое распространение заведомо экстремистских материалов, их изготовление и хранение; финансирование, организация и подготовка вышеуказанных деяний, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг[1].

Некоторые из вышеперечисленных действий, в частности пропаганда и публичные призывы, обладают признаками языкового экстремизма, т.е. реализуются посредством различных языковых средств, а соответственно, могут выступать в качестве объекта лингвистических научных изысканий.

2.2. Словесный (вербальный) религиозный экстремизм: «риторика ненависти»

Бурное развитие информационно-коммуникативных технологий породило абсолютно новые стандарты подачи информации и ее восприятия: информация из категории получаемых и передаваемых сведений постепенно превращается в инструмент управления и манипуляции общественным сознанием, новый способ совершения преступлений и ведения войн. Если в начале XXI века религиозный экстремизм ассоциировался с различного рода угрозами и насильственными действиями со стороны радикальных группировок, сект, религиозных фанатиков и пр., то сегодня на первый план выходят его словесные проявления. Уже давно не вызывает сомнений тот факт, что именно речь обладает самой мощной перлокутивной функцией. Посредством различных речевых действий (просьбы, угово-

[1] Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (http://base.garant.ru/12127578/).

ры, внушения. обещания, угрозы и пр.) происходит имплицитное или эксплицитное воздействие на личность индивида, способное изменить его мировидение и поведение, побудить к определенным поступкам. Порой подобное воздействие может быть благим, иногда губительным, а зачастую во благо одним, другим — во вред. Сегодня человек живет под нескончаемым прицелом *«речевых атак»* (СМИ, Интернет, реклама), что в значительной степени затрудняет восприятие и фильтрацию распространяемой информации.

Словесный (вербальный) религиозный экстремизм (далее — ВРЭ), как правило, проявляется в виде пропаганды и агитации. Данное явление можно рассматривать как форму насилия над личностью индивида, так как с помощью определенных технологий можно заставить человека совершить поступки, противоречащие его природе, нормам морали, религиозным догматам. Превращение человека в террориста-смертника — это самый страшный пример экстремистской пропаганды и агитации. Пропаганда и агитация — это идеи, облеченные в слова. Таким образом, ВРЭ приобретает собственные правовые и лингвистические характеристики.

В правовом поле ВРЭ — это речевое правонарушение, подразумевающее совершение субъектом вербальных действий (в устной или письменной формах), унижающих человеческое достоинство, оскорбляющих религиозные чувства верующих, возбуждающих ненависть и вражду между представителями различных конфессий, а также призывающих к осуществлению экстремисткой и террористической деятельности (Tulkens 2012).

С языковедческих позиций признаки ВРЭ проявляются в текстах различной жанровой и стилистической направленности, в которых экстремистские идеи и призывы актуализируются различными средствами литературного языка и социолектов.

В этой связи особый исследовательский интерес вызывает понятие «язык вражды» / “hate speech” (McGonagle, Tarlach 2013, Perry, Olsson 2009, Prentice, Rayson, Taylor 2010).

Феномен «ЯВ» еще не получил всестороннего научного распространения, но скрывающаяся за ним проблематика обсуждается в международных академических кругах и имеет ярко выраженный междисциплинарный характер. К этому вопросу привлечено внимание отечественных специалистов в области социолингвистики и лингвопрагматики (Карасик, 2002, Копнина 2007, Чернявская 2006), теории речевых жанров и актов (Дементьев 2015, Маслова 2007), межкультурной коммуникации и лингвокультурологии (Тер-Минасова, 2008, Маслова 2004, Шейгал 2002), речевой агрессии и конфликтологии (Жельвис 1992, Матвеева, 2004).

Целесообразно отметить, что перевод английского словосочетания “hate speech” как «языка вражды» (далее ЯВ) вызывает ряд сомнений. Возможно, более корректно с лингвистической точки зрения данное заимствование следует перевести буквально — «речь ненависти». В этом случае имплицитно актуализируется образ «ненавидящего», выступающего в роли субъекта коммуникации. Таким образом, *«наличие лингвистической составляющей „речь“ и прагматической составляющей „ненависть“»* (Денисова 2008), которую может испытывать адре-

сант сообщения в определенных ситуациях, обуславливает возможность рассматривать «язык вражды» в качестве особого дискурсивного пространства.

В отечественном языкознании существует обобщенная дефиниция ЯВ, предложенная В.В. Кузнецовой и Е.Е. Соколовой: *«лингвистические средства выражения резко отрицательного отношения к каким-либо явлениям общественной жизни (культурным, национальным, религиозным и т.п.), а также к людям, являющимся носителями иных, противоположных автору духовных ценностей»* (Кузнецова, Соколова 2004).

В рамках классификации, разработанной под руководством Д.А. Дубровского (Дубровский, 2003), тексты внутри которых реализуются элементы ЯВ, подразделяются на две основные категории:

- Тексты, в которых присутствует деление на «МЫ» и «ОНИ». Противопоставление осуществляется по ряду признаков, которые считаются характерными для каждой группы в целом. Характеристики группы «ОНИ» — отрицательные, группы «МЫ» — положительные.
- Тексты, помимо разделения на «МЫ» и «ОНИ», содержат побудительные конструкции, призывающие к совершению негативных действий против группы «ОНИ».

Более подробная классификация способов вербальной репрезентации ЯВ присутствует в научном исследовании А.М. Верховского, который выделяет такие типы ЯВ, как *«жесткий»*, *«средний»*, *«мягкий»* (Верховский 2002):

К способам реализации *жесткого* ЯВ исследователь относит открытые и скрытые (завуалированные) призывы к насилию и/или дискриминации в форме общих лозунгов. Например, зачастую в подобного рода текстах прослеживается пропаганда положительного либо современного, либо исторического опыта насильственно-дискриминационной деятельности.

Репрезентация *среднего* ЯВ предполагает публичное оправдание общепризнанных исторических случаев дискриминации и насилия, утверждения о преступлениях определенной этнической или религиозной группы, обвинения в деструктивном влиянии на социум, государство с целью ее последующей дискредитации.

«Мягкий» ЯВ проявляется в создании общего негативного образа той или иной группы. В данном случае речь идет о упоминаниях названий этнической, религиозной, социальной групп или их представителей в уничижительном контексте.

Пропаганда, агитация, утверждение, оправдание, оскорбление, различного рода эмоции и т.д. — все это актуализируется в текстовом сообщении при помощи как лингвистических, так и экстралингвистических средств.

Принимая во внимание все вышесказанное, отметим следующее: вербальный религиозный экстремизм (ВРЭ) представляет собой многогранное явление, лежащее в плоскости как лингвистических дисциплин, так и правоведения. Соответственно, выявление и описание элементов «языка вражды» (ЯВ) должно определяться правовыми свойствами данного явления.

3. СУДЕБНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТЕКСТОВ РЕЛИГИОЗНО-ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУГА ПРОБЛЕМ

3.1. Цель, задачи, предмет, объект

Участие в общественной жизни различных объединений и организаций, отличающихся по своим религиозным, этническим, политическим и социальным убеждениям, не только дает возможность каждому гражданину влиять на ход событий внутри своей страны, но и косвенным образом является причиной роста преступлений, совершаемых по мотивам ненависти, вражды, розни. Увеличение подобного рода противоправных действий также обусловлено стремительным развитием информационных технологий, влияющих на массовое сознание целевой аудитории. Например, специалисты американского научного центра SCNARC[2], занимающегося когнитивными исследованиями, доказали, что если более 10% участников группы (например, тематические группы/сообщества в социальных сетях) будут искренне разделять определенные идеи, мнения и распространять их, то через некоторое время их неизбежно примет большинство членов такой группы.

В этой связи важно подчеркнуть, что в XXI веке социальные сети, блоги стали универсальным средством общения, количество их пользователей в мире к концу 2017 года составило более 3 миллиардов человек. Характерными особенностями являются: возможность создания открытых и закрытых личных профилей[3]; обширный спектр средств для обмена информацией с носителями любых идей (фото, видео, текст, личная переписка, формирование тематических сообществ/групп); низкий уровень контроля за контактами и общением пользователей.

Очевидно, что именно в силу своей технической и коммуникативной специфики интернет-пространство постепенно становится главной и самой доступной «трибуной» для различного разного рода адептов, идеологов и экстремистов. Сотрудники МВД РФ подтверждают эту тенденцию и приводят следующие данные: в последние 3—5 лет экстремисты отошли от силовых акций и начали активно пропагандировать свои идеи, вербовать новых сторонников через всемирную паутину. В период с января по сентябрь 2017 года российские суды рассмотрели 1189 уголовных дел этой категории — почти в два с половиной раза больше, чем в предыдущие годы[4]. По данным информационно-аналитического центра «Сова», значительную долю составили обвинительные приговоры именно за экстремистские высказывания, 85% которых публиковались и распространялись через Интернет, в частности в социальных сетях.

Для изучения материалов экстремисткой направленности необходимо привлекать специалистов различных областей знания, развивать методологический и инструментальный аппарат экспертной деятельности. На сегодняшний день

[2] Social Cognitive Networks Academic Research Center, USA: http://scnarc.rpi.edu.

[3] В личных профилях пользователя часто требуется указать личные данные (ФИО, контакты) и общую информацию о пользователе (место работы/учебы, сфера интересов и т.д.).

[4] https://мвд.рф/reports/item/11341800.

в этот процесс помимо правоведов вовлечены языковеды, когнитологи, психологи, социологи, философы и религиоведы. В результате возникают трудности в определении сущности экспертизы, ее основной цели, предмета и объекта. Эксперты дискутируют о приоритете тех или иных исследований, создают новые методики анализа, описывающие различные виды экспертиз по делам экстремистской направленности. Однако при этом в современной российской судебной практике наиболее востребованной считается лингвистическая экспертиза.

Судебная лингвистическая экспертиза (далее — СЛЭ) — это самостоятельный вид деятельности процессуального характера, в рамках которой проводится комплексный лингвистический анализ речевого произведения, зафиксированного на любом материальном носителе и выступающего в значении доказательства. СЛЭ может назначаться по спорным текстам СМИ в связи с уголовными делами по обвинению в экстремизме, разжигании межнациональной и религиозной вражды). По результатам проведенного исследования составляется заключение эксперта/специалиста.

Предметом СЛЭ в отношении текстов предположительно религиозно-экстремистской направленности являются факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе изучения закономерностей существования и функционирования языка, а *объектом* — художественные и публицистические произведения, тексты интернет-коммуникации (посты, репосты, гиперссылки), лозунги, креолизованные тексты (карикатуры, мемы, демотиваторы, аудио- и видео записи) и т.д.

Основная *цель* СЛЭ заключается в обозначении смысловой направленности спорных текстов и используемых в них приемов пропаганды. Иными словами, необходимо выявить коммуникативно-смысловой функционал подобных сообщений, а именно, определить, какие идеи, установки в них пропагандируются и какими способами они навязываются массовой аудитории.

Таким образом, в круг *задач* лингвиста-эксперта входит идентификация признаков экстремистской деятельности. Как отмечает К.И. Бринёв (Бринёв 2009), эксперту необходимо ответить на три основных вопроса: *присутствуют ли в спорном тексте оскорбительные и уничижительные высказывания в отношении члена той или иной этнической, национальной, религиозной или социальной общности; содержит ли спорное речевое сообщение коммуникативные признаки призыва; создается ли в спорном тексте образ врага.*

В то же время следует понимать, что в процессе проведения СЛЭ по исследуемой нами категории дел существуют вопросы, которые выходят за рамки профессиональных компетенций языковедов. Например, эксперт не имеет права устанавливать реальные (не коммуникативные) намерения адресанта спорного текста, а также давать оценку возможности или невозможности негативных последствий.

Целесообразно отметить, что описанная выше проблематика проведения СЛЭ по делам о преступлениях религиозно-экстремистской направленности позволяет квалифицировать основные черты вербального экстремизма, но стремительное развитие форм, средств и способов экстремистской деятельности подразумевает необходимость расширения перечня вопросов и состава экспертов для проведения комплексных исследований.

3.2. СЛЭ переводных (вторичных текстов)

Одной из наиболее спорных и сложных проблем судебно-лингвистического исследования считается анализ так называемых «вторичных текстов» (далее — ВТ). В статье под данным понятием подразумевается переводной текст, созданный на базе первичного/исходного текста. В современной судебно-лингвистической экспертологии ВТ как объект изучения существует только де-факто. Прежде всего, этого связано с природой переводного текста и особенностями переводческого процесса.

В современном преводоведении функционал переводчика предполагает следующее: замена языковых единиц текста на исходном языке эквивалентами другого языка; семантические трансформации безэквивалентной лексики; формирование и оформление текста на языке перевода (Комиссаров 2001). При этом переводчик выступает как посредник, точнее интерпретатор, который в результате своей деятельности создает новый продукт речевой деятельности — текст на языке перевода.

Переводной текст является производным от исходного текста, создается с учетом его определенных характеристик и воспроизводится средствами иного языка в условиях иной культуры (Латышев 1981). Иными словами, перевод — это не просто техническая замена одного языка другим, это многогранный процесс, при котором происходит столкновение языковых, культурных и ментальных парадигм, которые могут относиться даже к различным историческим периодам.

Базируясь на переводческих постулатах Л.К. Латышева, другой отечественный исследователь И.В. Широких, рассматривающий переводной текст как дериват исходного, отмечает, что языковое содержание оригинала практически невозможно воссоздать в полном объеме. Переводные тексты представляют собой особые кодовые преобразования, основанные на субъективности, что придает им *«статистико-вероятностный характер»* (Широких 2002).

Аналогичного мнения придерживается Д.А. Ольшанский, который образно называет перевод особой формой насилия: переводчику приходится либо искать *«„чистый смысл“, тем самым искажая национальный характер текста, либо заниматься индивидуальным творчеством на языке А по мотивам произведения на языке В»* (Ольшанский 2002).

Таким образом, можно сделать вывод, что перевод — это модификация исходного текста, в котором одни аспекты его семантики сохраняются, приобретая более эксплицитную форму, а другие могут редуцироваться вплоть до полной элиминации. Данный факт, безусловно, говорит о противоречивости изучения переводного текста в рамках СЛЭ, так как возникает опасность изменения объекта исследования. Обеспечение сохранности и неизменности объектов исследования в интересах судопроизводства продиктовано их доказательственным статусом. Специалисты расходятся во мнениях относительно возможности рассмотрения вторичных текстов в современной экспертной практике. На сегодняшний день существуют два варианта решений: либо категорически признать переводной текст непригодным для анализа, либо полностью проигнорировать его специфику и про-

водить СЛЭ по алгоритму первичного текста. Во втором случае встает вопрос о необходимости привлечения наряду с судебным экспертом-лингвистом эксперта-переводчика, имеющего подготовку по специальности «Перевод и переводоведение» или эквивалентной. В этой связи градус ответственности, возлагаемой на переводчика, повышается, так как для суда значение будет иметь именно переводной текст, а не оригинал.

Также отметим, что в последние годы в России ужесточилась реакция государства на словесные проявления экстремизма в целом, и религиозного-экстремизма в частности[5]. В правовом поле традиционные лицензионные СМИ (телевидение, радио, газеты) остаются закрытыми площадками для экстремистов-радикалов, а вот всемирная паутина — слабое звено. Власти осознали, что первичный инструментарий фильтрации интернет-контента и блокировки доступа неэффективен.

Интернет-аудитория — необъятна, интернациональна и 24 часа в сутки готова к общению.

При этом абсолютно стираются языковые барьеры. Если пользователь не владеет тем или иным иностранным языком, то «на помощь» всегда придут либо более сведущие «онлайн-друзья», либо онлайн-переводчики (качество перевода может быть далеким от идеала, но общий смыл будет понятен, особенно при наличии графического или видео изображения). Можно написать небольшую ремарку в социальных сетях на любую тему и на любом языке, и уже через мгновение появляются собеседники, готовые обсудить, поспорить или поддержать, а далее уже «дело техники». Методика информационного воздействия — разнообразна, но по своей сути не оригинальна. Она включает в себя старые и хорошо знакомые средства: экспрессивная риторика, подтасовка фактов, игра на необразованности и некомпетентности пользователей в какой-то определенной области знаний, тенденциозная подборка новостей и пр. Данные методы прекрасно работают и в повседневной жизни. Давайте вспомним, как просто «заводится» толпа на массовых митингах, как порой случайно оброненная кем-то фраза начинает домысливаться, обрастать новыми подробностями и в результате приобретает совершенно иную тональность. Социальные сети — это тоже своего рода «толпа людей», только здесь охват массовой аудитории, пусть даже говорящей на разных языках, происходит существенно быстрее. Если еще принимать во внимание тот факт, что у современных интернет-пользователей уже давно выработалась привычка нажимать кнопки “Repost”, “Retweet”, “Share” при виде яркой картинки или заголовка, то процесс распространения каких-либо идей (в том числе и религиозно-экстремистских) напоминает неконтролируемое «цунами».

Для борьбы с таким волнообразным «вбросом» информации необходим регулярный мониторинг виртуального пространства и тщательная проверка его как русскоязычного, так и иноязычного контента.

[5] Дорожная карта национальной безопасности РФ до 2020 года, утвержденная Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537, предусматривает создание развитой системы выявления и противодействия политическому и религиозному экстремизму, национализму и этническому сепаратизму. Несколько пунктов данной программы затрагивают проблему публичных экстремистских высказываний, в том числе и в сети Интернет.

4. К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕВОДА СПОРНЫХ ТЕКСТОВ РЕЛИГИОЗНО-ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

4.1. Структурные и содержательные характеристики РЭТ

Разножанровые материалы, содержащие признаки религиозного экстремизма и функционирующие в интернет-пространстве, в частности в социальных сетях *Twitter, Facebook, LiveJournal*, — это сложная система языковых знаков — письменных, визуальных и аудиальных. В рамках семиотической традиции осмысленная последовательность разнородных знаков — это текст. Для наиболее полного определения религиозно-экстремистского текста (далее — РЭТ) необходимо исходить из понятия о тексте в целом.

В лингвистике текст рассматривается с позиций связанности, цельности его содержательных характеристик, а также отношений между автором, адресатом и тем внутренним/внешним контекстом, в котором он реализуется (Барт 1994, Крылова 2006). Иными словами, для полноценного и объективного анализа РЭТ следует комплексно учитывать три уровня знаковой организации: синтактика, семантика и прагматика.

Опираясь на общепринятую концепцию текста, сформулируем следующее определение: РЭТ— это особый вид текста массовой коммуникации, созданный по определенному замыслу автора посредством различных лингвистических и экстралингвистических средств, обладающий специфическими композиционными и семантическими чертами, а также особенной прагматической установкой, стилевой и жанровой принадлежностью.

Относительно классификации существующих жанровых разновидностей РЭТ анализ практического материала показал, что наиболее часто в социальных сетях на английском и французском языках встречаются тексты малого объема (лозунги), посты, репосты, сообщения и авторские комментарии.

Синтаксический уровень РЭТ

Синтаксический слой РЭТ представляет собой последовательность элементов восприятия, имеющих различный иерархический статус. Синтаксическая иерархия обуславливается особенностями восприятия того или иного типа знака, т.е. зависит от степени однозначности и объективности интерпретации. В этом случае знаки-символы, в большинстве своем языковые, способны организовать текстовое пространство как единое целое. Эти функции в той или иной мере выполняют вербальные структурные компоненты РЭТ, среди которых можно выделить три основных: вербальный текст, визуальный ряд, звучание. Наличие трех различных компонентов внутри одного текста предполагает, что каждый из них «*должен вносить что-либо от себя — ни в одном из них не должно быть пустых мест, провалов, ничего не вносящих в целое»* (Почепцов 2006). Таким образом, изучение структурных элементов РЭТ в их тесном взаимодействии представляется необходимым, так как каждый из них способен подкрепить действия другого или же заменить, взяв его функции на себя. В рамках предпринятого исследования авторов статьи, прежде всего, интересует вербальная часть.

Анализ эмпирического материала показал, что вербальная структура РЭТ обычно включает в себя два компонента: *заголовок, основной текст*. Иногда встречаются РЭТ, в которых присутствует 3-й элемент — *эхо-фраза*.

Заголовок РЭТ представляет собой четкое выражение основной идеи сообщения, характеризуется лаконичностью, эмоциональностью, простым и легким языком, способствующему быстрому восприятию и запоминаемости информации. Заголовок должен в доступной форме отражать суть послания, заинтересовать адресата настолько, чтобы он прочитал основной текст. В ходе анализа эмпирического материала удалось выявить заголовки, состоящие минимум из 3—7, а максимум из 10—15 слов.

Таблица 1

Количественные показатели длины заголовков РЭТ

Заголовок	Длина	Перевод (здесь и далее перевод авторов статьи)
Франкоязычные РЭТ		
Dieu aimerait Adolf!	3	Бог полюбил бы Адольфа!
Future est sur Islam!	4	Будущее принадлежит Исламу!
Non, Allah ne nous le reprochera jamais!	7	Нет, Аллах нас в этом никогда не упрекнет!
Le Grand Allah lui-même a demandé à Ibrahim de sacrifier son fils. Qu'attendez-vous?	15	Даже всемогущий Аллах попросил Ибрагима принести в жертву своего сына. Чего же вы ждете?
Англоязычные РЭТ		
For the Caliphate!	3	За Халифат!
Kudos to our true brothers in Islam!	7	Хвала, нашим верным Исламским братьям!
True Soldiers of Allah don't know fear	7	Истинные воины Аллаха не ведают страха!
Living in the world without infidels…	7	Мир без неверных!
Brussels Daily Special: 4 fresh shot dead BLOODY JEWS! Wanna Try????	11	Блюдо дня по-брюссельски: 4 свежезастреленных ЧЕРТОВЫХ ЕВРЕЯ! Хочешь попробовать?

Основной текст обычно следует сразу за заголовком и представляет собой совокупность доводов и аргументов, объясняющих и подтверждающих положения, выдвинутые в заголовке. В целом длина основного сообщения варьируется от 25 до 40 слов.

Эхо-фраза встречалась достаточно редко как в английских, так и во французских РЭТ. Тем не менее, наши наблюдения показали, что данный структурный компонент повторяет главную мысль основного текста, подчеркивает ее убедительность.

Например, крайне радикальный англоязычный пост в социальной сети Facebook включал в себя все три структурных элемента:

FOR THE CALIPHATE[6]

I was only 10 when I killed my first infidel. I didn't have a gun. I just stubbed him. At that moment Allah put hands on me and gave blessing…

When ALLAH chooses you, DON'T FAIL

[6] Данный пост был удален 1 час спустя после размещения. Пользователь заблокирован и внесен в черный список. Количество репостов за 1 час — 356.

(ЗА ХАЛИФАТ!

Мне было всего 10 лет, когда я убил своего первого неверного. У меня не было ружья, поэтому я его просто зарезал. В тот момент сам Аллах положил на меня руки и благословил……

Когда АЛЛАХ выберет тебя, НЕ ПОДВЕДИ)

В условиях коммуникации в социальных сетях все три структурных компонента РЭТ (заголовок, основной текст и эхо-фраза) сопровождаются графическим и/или видео (аудио) рядом, что значительно сужает спектр интерпретаций экстремистского сообщения[7].

За основу анализа синтаксических особенностей РЭТ было взято предложение. Предложения изучались по цели высказывания и эмоциональной окраске, а затем классифицировались по принципу частотности. В целом выбор повествовательного, побудительного, вопросительного, восклицательного или отрицательного типа предложений обусловлен желанием автора придать своему сообщению дополнительную смысловую нагрузку. Большинство синтаксических конструкций франкоязычных и англоязычных РЭТ — побудительные и вопросительно-побудительные.

Побудительные предложения отличаются чрезмерной степенью агрессии и зачастую выражают прямой призыв. Так, М.А. Осадчий (Осадчий 2013) предлагает определять побуждение к конкретным экстремистским действиям по наличию в тексте *субъекта*, к которому обращен призыв, *императива* (непосредственное побуждение к преступному деянию) и *объекта* в отношении которого предлагается совершить противоправные действия.

Наиболее яркой императивной функциональностью обладает глагол. Во франкоязычных РЭТ, распространяемых в социальных сетях наци-скинхедами[8], самыми частотными способами выражения прямого призыва является повелительное наклонение в формах второго (ед. ч) и первого лица (мн. ч.):

*Réveille-toi! Protège ta Patrie de ces racailles musulmanes! Fait- les taire une fois pour toutes! (Проснись! Защити свою Родину от этих мусульманских мразей! Заставь их замолчать раз и навсегда!); Non au RACISME! Juifs, Musulman, Hare Krishna et toute cette merde — On s'en fout! Tuons tous! (Нет РАСИЗСМУ! Иудеи, Мусульмане и все прочее д**мо[9] — нам плевать! Убьем (Замочим) Всех!*

Однако отметим, что не все интернет-экстремисты так прямолинейны, как французские наци-скинхеды. Например, в англоязычных РЭТ были выявлены вопросительно-побудительные конструкции, реализующие так называемые непря-

[7] Авторы статьи проводили анализ РЭТ в единстве вербального и графического (видеоаудио) воплощения, однако намеренно отказались от их использования в теле статьи в качестве дополнительного иллюстративного материла, ввиду их крайне оскорбительного и радикального характера.

[8] Наци-скинхеды считают себя солдатами Четвертого Рейха, которые ведут расовую священную войну. Это радикальные расисты, антисемиты и ксенофобы, жесткие противники нелегальной иммиграции и смешанных браков.

[9] В нецензурных словах некоторые буквы заменяются на * (зд. и далее).

мые (косвенные) призывы. Как правило, косвенный призыв не предполагает четкого указания на адресата, т.е. получателем информации может стать любой потенциальный читатель. Так, в социальной сети Facebook появился репост изображения маленькой девочки, которая испуганно смотрит на своего отца, читающего газету. На первой полосе газеты изображены мужчины в одежде с символикой «ИГИЛ». Под изображением надпись на английском языке: *Daddy, you'll protect me, right? (Папочка, ты ведь защитишь меня?*). Важно подчеркнуть, что в РЭТ часто выражается скрытый призыв к действиям, которые сами по себе не являются экстремистскими, но опосредованно связанны с ними. Например, высказывания, побуждающие адресата вступить в какую-либо националистическую организацию или принять участие в акциях против представителей других культур и религий. Так, несколько дней спустя после терактов в Лондоне и Манчестере в английских социальных сетях распространялись листовки, призывающие жителей участвовать в погромах эмигрантских кварталов. Изображение группы молодых людей с бейсбольными битами в руках сопровождалось следующим заголовком: *Are you in or not? (Ты с нами или нет?).*

Семантический уровень РЭТ

Под семантическим единством РЭТ понимается основная идея, которую автор намеревается донести до свой целевой аудитории, чтобы впоследствии убедить адресата в ее исключительной правильности и побудить к определенным действиям. Как правило, базовой организационной чертой семантического уровня РЭТ является оппозиция, проявляющаяся в негативном контексте. Например, противопоставления «СВОИ—ЧУЖИЕ», «МЫ—ОНИ», «ХОРОШИЕ—ПЛОХИЕ». Впоследствии эти содержательные характеристики сливаются воедино и образует общий оценочный образ «ИДЕАЛ—ВРАГ». В современной отечественной и зарубежной лингвистической парадигме данные противопоставления изучаются с позиций различных теоретических и методологических подходов.

Например, по мнению Е.И. Шейгал (Шейгал 2000), подобные оппозиции в тексте реализуются посредством осмысленного подбора оценочной лексики (положительной или отрицательной), могут иметь как эксплицитную (наличие специальных маркеров), так и имплицитную форму выражения (идеологические коннотации, общая тональность дискурса).

В исследованиях О.С. Иссерс и М.Х. Рахимбергеновой противопоставления, в частности «СВОЙ—ЧУЖОЙ», описываются с точки зрения языкового выражения межэтнических взаимодействий: *«В „своих" все вызывает интерес: где живут, что едят, как общаются, мотивация действий, обычаи, традиции».* Отношение к «чужим» отличается наличием негативных эмоций — страх, отвращение, брезгливость, отторжение и т.д. (Иссерс, Рахимбергенова 2007).

Для создания отрицательных и положительных образов в англоязычных и франкоязычных РЭТ используется обширный спектр средств выразительности на всех уровнях языка. Анализ эмпирического материала показал, что к наиболее частотным стилистическим средствам в РЭТ на уровне лексики относятся: *антитеза, метафора, персонификация, сравнение.*

Общеизвестно, что метафора представляет собой перенос свойств одного объекта на другой ввиду их прямого или косвенного сходства. Обычно метафора воспринимается ярче, если сходство с реальным объектом наименее очевидно. Адресат, сталкиваясь с метафоризацией информации, начинает мыслить образно, соответственно рациональное мышление и способность декодировать истинный смыл полученной информации снижается. Например, сообщение одного пользователя социальной сети Tweeter после терактов в Париже в ноябре 2015:

Notre monde est malade. Ils l'ont infecté. Leur Allah bénise la pire épidemie que ce monde ait connu. Notre Dieu est indulgent, mais même LUI est fatigué! Allons tuer cette maladie sale. Et que Dieu nous vienne en aide! (Наш мир болен. Они заразили его. Их Аллах благословил самую страшную эпидемию, которую когда-либо знал этот мир. Наш Бог — всепрощающий, но даже ОН устал! Давайте уничтожим эту грязную заразу. И да поможет нам в этом Бог!)

Сравнение и пресонификация активно используются в качестве приемов для создания образа «ВРАГ». Например:

We can have only one Russian friend. It's KALASHNIKOV (У нас может быть только один русский друг. Это Калашников!); Qui a besoin de ces pleurnicheurs chrétiens! Nous les écrasons comme des cafards (Кому нужны эти христианские нытики! Мы их раздавим как тараканов); Goddamn Muslims and the rest! There are so many of them, just everywhere. It's like the gates of HELL open up and let Demons get their hands on our world. (Чертовы Мусульмане и иже с ними! Да, они везде! Как-будто ворота ада окрылись и выпустили демонов, чтобы они прибрали к рукам наш мир.)

Анализ РЭТ также показал, что максимально ярко и четко образ «чужого» можно сформировать при помощи антитезы. Этот стилистический прием используется авторами РЭТ, чтобы противопоставить контрастирующие понятия и показать адресату, что хорошо, а что плохо. В качестве примера приведем своеобразный манифест сторонников радикально-экстремисткой группировки «ИГИЛ», который получил большое количество репостов в социальных сетях Facebook и LiveJournal:

FUTURE BELONGS TO US[10]
When YOU drink or take drugs — WE train our body and spirit!!!
When YOU relax — WE work!!!
WE get new recruits every day — YOU lose people!!!
YOU know NOTHING about US — WE know ALL about you!!!
Any word, any action against US — MAKE US STRONGER!!!
Join to OUR VICTORY or BE SCARED!!!
Read this post and BE SCARED!!!
Look how close WE ARE!!!

(БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
Когда ВЫ пьете или принимаете наркотики — МЫ тренируем тело и дух!!!
МЫ приобретаем новых сторонников каждый день — ВЫ теряете людей!!!

[10] В данном примере сохранена графическая капитализация слов, которая использовалась авторами для усиления эффекта воздействия.

ВЫ НИЧЕГО не знаете про нас — МЫ знаем про ВАС ВСЕ!!!
Любое слово, Любое действие против НАС — ДЕЛАЕТ НАС СИЛЬНЕЕ!!!
Присоединяйся к НАШЕЙ ПОБЕДЕ ИЛИ БОЙСЯ НАС!!!
Читай этот пост И БОЙСЯ!!!
Посмотри, КАК МЫ БЛИЗКО!!!)

Использованные в составе данной антитезы лексические антонимы, повторы, параллельные грамматические конструкции эксплицитно выражают оппозицию «СВОЙ—ЧУЖОЙ», формируют образ «ВРАГА», явно и четко, путем апелляции к страху призывают адресата вступить в ряды данной организации!

Прагматический уровень РЭТ

Прагматический потенциал религиозно-экстремистских сообщений в условиях интернет-коммуникации имеет ряд особенностей. Основной фактор, который необходимо принимать во внимание при анализе данных видов текста — это религиозная и общественно-политическая тональность коммуникации в социальных сетях. Субъекты такой коммуникации воспринимаются как носители определенной религиозной, политической и общественно значимой идеологии. Для них создание и распространение экстремистских посланий — это, прежде всего, способ достижения идеологического идеала (Голиков 2012). А.Н. Баранов отмечает, что подобные характерологические особенности изначально создают благоприятные условия для реализации и последующего функционирования экстремистских посланий (Баранов, 2007). РЭТ, появляющиеся в социальных сетях, имеют публичный коммуникативный характер, так как нацелены на массовую, а не на конкретную аудиторию. Каким образом пользователи социальных сетей воспримут тиражируемую информацию — нельзя ни предугадать, ни фактически проверить. Кроме того, различные интернет-жанры РЭТ распространяются в условиях анонимности, порожденной спецификой виртуальной коммуникации (дистантность общения, логины). На наш взгляд, именно анонимность создает ощущение безнаказанности, ведет к разрушению речевой, моральной и правовой нормативности.

Как показали наши наблюдения, вербальное и визуальное воплощение франкоязычных и англоязычных РЭТ направлено на достижение двух коммуникативных целей: заставить адресата совершить определенные действия (прямые и косвенные призывы в структуре РЭТ); сформировать или же изменить его мировидение (использование широкого спектра убеждающих средств: от поощрения до порицания и угроз). Обе эти цели в большинстве исследуемых нами примеров сопровождались инвективностью. Таким образом, можно сделать вывод, что оскорбления как визуального, так и вербального характера — это базовая черта религиозно-экстремистских сообщений, способствующая их коммуникативной успешности.

4.2. РЭТ: степень переводимости

Принимая во внимание неоднозначное отношение современной экспертологии к иноязычному (вторичному) тексту как к объекту СЛЭ, а также тот факт, что в случае выявления в подобном тексте религиозно-экстремистской семантики в суде рассматривается именно его перевод, а не оригинал — проблема адекватности перевода стоит особенно остро. Общеизвестно, что основная трудность

переводческой деятельности заключается в поиске эквивалентности. Для переводчика, осуществляющего перевод текста в процессе СЛЭ, эквивалентность приобретает первостепенное значение.

В теории перевода понятие «эквивалентность» предполагает «постоянное равнозначное соответствие», которое рассматривается на уровне слова, предложения и всего текста (Рецкер, 2004). Однако на практике, особенно если речь идет о лексической эквивалентности «*равенство объектов во всех отношениях*», невозможно (Латышев, Семенов 2008).

В данном параграфе авторы статьи предпринимают попытку выявить комплекс проблем, возникающих в процессе перевода религиозно-экстремистских текстов, а также определить стратегии и тактики, позволяющие адекватно воссоздать на другом языке продукт, максимально эквивалентный оригинальному тексту.

Большая часть исследуемых нами РЭТ обладает всеми признаками креолизованного текста. Креолизованность[11] текста может как затруднить, так и облегчить переводческий процесс. Важно подчеркнуть, что если переводчик сталкивается с креолизованным текстом, то помимо вербальных составляющих ему необходимо учитывать и иконические. Как справедливо отмечает Н.М. Дугалич, в этом случае создается своего рода новый текст, который «*должен быть эквивалентен первичному, содержать итог декодирования визуального ряда и анализ содержания непрямого варианта, т.е. прецедентные, метафорические, специфические социокультурные данные и другие парадигмы как текстового, так и иконического плана*» (Дугалич 2017).

Как показали наши наблюдения, англоязычные и франкоязычные РЭТ, функционирующие в международных социальных сетях и блогосферах, подразделяются на 3 типа по степени переводимости на русский язык:

- полная переводимость;
- частичная переводимость;
- сложная переводимость.

Рассмотрим данную типологию на конкретных примерах.

Полная переводимость:

Пост на английском языке в сети Facebook, включающий в себя вербальный и иконический элементы:

> **Изображение:** Бритоголовый молодой человек в джинсах с камуфляжным рисунком и подвернутыми манжетами, в грубых армейских ботинках одной рукой держит за горло бородатого мужчину в чалме и длинной белой рубашке. Вторая рука занесена для удара.

Исходный текст (ИТ):

To be or not to be?
Beat or not to beat?
Stop asking questions!
Just beat!

[11] 54 текста и 70 составивших картотеку исследования содержат иконические (изобразительные) компоненты.

Перевод (ПТ):

Быть или не быть?
Бить или не бить?
Хватит задавать вопросы!
Просто бей!

В данном случае наблюдается абсолютный параллелизм структуры и лексического наполнения ИТ и ПТ. Небольшой объем лексики, простые синтаксические конструкции, отсутствие полисемантических слов позволяют осуществить дословный последовательный перевод всех компонентов без каких-либо трансформаций. Графическое изображение также однозначно декодируется.

Пост на французском языке в сети Facebook, включающий в себя вербальный и иконический элементы:

Изображение: Николя Саркози в военной форме грозно наблюдает за тем, как группу людей в национальной мусульманской одежде сажают в крытые грузовики.
ИТ: *Envoyez-les TOUS à Pétaouchnok!*
ПТ: *Отправить их всех в Тмутаракань!*

В этом примере также видим дословный перевод на всех уровнях, несмотря на наличие в тексте фразеологизма. Обычно перевод иноязычных ФЕ сопряжен с определенными трудностями, однако здесь переводчику удалось их преодолеть. Во французском языке ФЕ “Pétaouchnok” обозначает далекий населенный пункт, настолько удаленный и недоступный, что никто точно не знает, где он находится и как туда попасть. Предположительно “Pétaouchnok” находится в Южной Америке. Для русского человека таким же далеким и неизвестным местом считается город Тмутаракань, столица древнего княжества, когда-то входившего в состав Киевской Руси. Переводчик сохранил топонимическое обозначение и передал национально-культурную специфику. Иконический компонент ИТ соответствует вербальному воплощению и абсолютно понятен адресату. Николя Саркози — фигура, известная во всем мире! Кроме того, бывший французский Президент в свое время публично позволял себе некорректные высказывания по отношению к представителям других национальностей. Так, во время беспорядков в пригородных районах Парижа в 2005 году он публично назвал их участников (мигрантов) — *“voyous et racailles”* (*хулиганы и отбросы*) и призвал французов *“nettoyer les rues par KARCHERS”* (*очистить улицы города при помощи моющих машин фирмы «Керхер»*).

Частичная переводимость

Авторский комментарий в Tweeter после новостных сообщений о теракте в Лондоне 22 марта 2017 года:

Неизвестный мужчина за рулем автомобиля сначала сбил несколько прохожих, а затем смертельно ранил офицера британской полиции. Ответственность за эту атаку взяла на себя запрещенная в России и в мире террористическая группировка ИГИЛ. Премьер-министр Тереза Мей, в свою очередь, официально заявила, что убийца действовал в одиночку, но был «воодушевлен исламистской идеологией». Террорист был убит при задержании.

Изображение: отсутствует
ИТ: *It serves you right, ASSHOLE! Bullet in your head for our guy!!!!*
ПТ: *Так тебе и надо, КОЗЁЛ. Пулю ему в голову за нашего парня!*

В данном примере трудность в достижении полной эквивалентности обусловлена наличием в ИТ полисемичной лексемы "*asshole*", которая согласно англо-русским словарям может иметь следующие значения: *задница, анус, глупый и нудный человек*. Переводчик отходит от буквального перевода и использует прием лексической замены с зоосемантическим компонентом. Отметим, что изначально в русском языке слово *«козел»* не считается табуированным, но при определенном контексте может расцениваться как обзывание и оскорбление. Кроме того, в определенной степени данный пример иллюстрирует прием эвфемизации. В англо-русских словарях ненормативной лексики содержатся гораздо более оскорбительные варианты перевода данной лексемы: *урод, придурок, кретин, мудак, говнюк, у***к* и пр. Переводчик не может точно определить степень авторского эмоционального накала, поэтому выбирает относительно нейтральную по сравнению с другими лексему.

Правомерность переводческих приемов в данном примере, с нашей точки зрения, не вызывает сомнений. Как отмечает Т.В. Ларина, английские и русские инвективы не следует переводить дословно, так как они зачастую имеют различные коннотации. Сталкиваясь с бранной лексикой, переводчику необходимо отобразить ее эмоциональное звучание путем подбора адекватных русских языковых средств, допустимых в *«подобных коммуникативных контекстах»* (Ларина 2009: 391).

Вышесказанное можно отнести и к примерам франкоязычных РЭТ, в которых также очень часто используются инвективные лексемы:

Авторский комментарий в Tweeter, после серии терактов в Париже в 2015 г.
Изображение: отсутствует
ИТ: *Hey, Hollande! Que tu vas faire maintenant avec ces enfants de merde? L'après-midi ils lisent leur Coran dans les mosquées au centre-ville, le soir ils font sauter les Parisiens…*
ПТ: *Эй, Олланд! Что ты теперь собираешься делать с этими сукиными детьми? Днем они читают свой Коран в мечетях в центре города, а по вечерам взрывают Парижан…*

Переводчик отказался от буквального перевода словосочетания *"enfants de merde"* (буквальный перевод французского слова "merde" — г**но, д**мо), подобрав замену — *«сукины дети»*. Несмотря на то, что перевод словосочетания по степени экспрессии относится к матерной лексике, его вполне можно назвать адекватным и уместным в данном коммуникативном контексте.

Сложная переводимость

Репост в открытой группе с тематическим названием "*Quoi de neuf en France?" (Что нового во Франции?)* в социальной сети Facebook.

Изображение: Ночь, на фоне Эйфелевой башни группа людей: мужчины разного возраста в камуфляже. На лицах — черные маски, в руках автоматы.
ИТ: *La Nuit tombe, les Infidèls aussi!*
ПТ: *С наступлением ночи неверные умирают!*

В данном примере высокий уровень сложности перевода обусловлен использованием каламбура в ИТ. В ИТ обыгрывается первичное значение глагола *«tomber» (падать)* и ФЕ «*La nuit tombe» (наступила ночь*). С одной стороны, переводчику удалось перевести всю конструкцию на русский язык с опорой на иконический компонент, но в ПТ игра слов, равно как и их двойное значение, были утеряны.

Сообщение на английском языке в Tweeter:

Изображение: отсутствует
ИТ: 14/88 — Forever!!!!
ПТ: 14/88 — Навсегда!!!

Переводчик предлагает дословный перевод, однако здесь требуется подробный переводческий комментарий, без которого невозможно понимание ни смысла данной фразы, ни авторской интенции. Дело в том, что в ИТ присутствует своего рода цифровой код, хорошо знакомый сторонникам нацистской идеологии: 14 — это количество слов в расистской цитате Дэвида Лейна[12], 88 — количество заповедей, прописанных в его манифесте по обеспечению установления, сохранения и защиты белого населения в мире.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследуемые нами различные жанры англоязычных и франкоязычных РЭТ обладают как общими (*мультимедийность, креолизованность, гипертекстуальность*), так и отличительными чертами (*регламентированность, характер направленности на адресата, лингвостилистические особенности*).

Проведенный анализ показал, что подобные структурные и содержательные характеристики создают особые переводческие проблемы, ставят перед переводчиком особые задачи, особенно если впоследствии созданный им переводческий текст будет выступать в качестве объекта судебно-лингвистической экспертизы. Основные трудности перевода РЭТ обусловлены их жанровой спецификой, которая подразумевает соблюдение темпоральной напряженности, а также многозначностью лексем, их номинативной детализацией и наличием национально-прецедентной информации. Кроме того, тексты религиозно-экстремистской направленности осуществляют ряд функций, которые важно принимать во внимание при выборе тех или иных лексем, грамматических и синтаксических конструкций. Если переводчик имеет дело с креолизованным типом РЭТ, то при переводе важно учитывать экстралингвистическое значение визуального ряда. В целом эквивалентность перевода РЭТ достигается в рамках концепции «нейтрализации», заключающейся в необходимости соответствовать установленным переводческим нормам наряду с передачей коммуникативной цели высказывания, учета контекста и лингводискурсионных особенностей.

© А.С. Борисова, Ж.В. Кургузенкова, В.Д. Никишин, 2018

[12] Дэвид Лейн — приверженец идей белого национализма. Его знаменитая цитата: “We must secure the existence of our people and a future for White children”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Антонова Ю.А. и др. Экстремистский текст и деструктивная личность. Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2014. [Antonova, Yu. A. and al. (2014). Ekstremistskii tekst i destruktivnaya lichnost' (Extremist Text and Destructive Personality). Ural. gos. ped. un-t. Ekaterinburg. (In Russ.)]

Арутюнова Н.Д. Дискурс // Языкознание. Большой лингвистический словарь. М.: Большая Рос. Энцикл., 1998. С. 136—137. [Arutyunova, N.D. (1998). Diskours.Yazikoznanie (Discourse and Linguisitics). Bol'shoi lingvisticheskii slovar'. M.: Bol'shaya Ros. Entsikl. 136—137. (In Russ.)]

Баранов А.Н. Авторизация текста: пример экспертизы // Введение в прикладную лингвистику: Учебное пособие. М.: Эдиториал УРСС, 2001. [Baranov, A.N. (2001). Avtorizatsiya teksta: primer ekspertizy // Vvedenie v prikladnuyu lingvistiku (Text Authorization. Introduction to Applied Linguistics). Uchebnoe posobie. Moscow: Editorial URSS. (In Russ.)]

Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика. М.: Флинта: Наука, 2007. [Baranov, A.N. (2007). Lingvisticheskaya ekspertiza teksta: teoriya i praktika (Text Linguistic Examination: Theory and Practice). Moscow: Flinta: (In Russ.)]

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 462—518 [Bart, R. (1994). Izbrannye raboty: Semiotika. Poetika (Selected Papers: Semiotics. Poetics. Moscow, pp. 462—518. (In Russ.)]

Бринев К.И. Судебная лингвистическая экспертиза. Методология и методика. М.: Наука, Флинта, 2014. [Brinev, K. I. (2014). Sudebnaya lingvisticheskaya ekspertiza. Metodologiya i metodika (Forensic Linguistic Examination: methodology and methods). M: Nauka, Flinta. (In Russ.)]

Бурковская В.А. Криминальный религиозный экстремизм в современной России. М.: Ин-т правовых и сравнительных исследований, 2005. 49 с. [Burkovskaya, V. A. (2005). Kriminal'nyi religioznyi ekstremizm v sovremennoi Rossii (Criminal religious extremism in modern Russia). Moscow: Institut pravovykh i sravnitel'nykh issledovanii. (In Russ.)]

Верховский А.М. Цена ненависти. Национализм в России и противодействие расистским преступлениям: сб. статей. М.: Центр «Сова», 2005. 256 с. [Verkhovskii, A. M. (2005). Tsena nenavisti. Natsionalizm v Rossii i protivodeistvie rasistskim prestupleniyam (The price of hatred. Nationalism in Russia and Counteracting Racist Crimes). Moscow: Tsentr «Sova». (In Russ.)]

Галяшина Е.И. Лингвистика vs экстремизма: в помощь судьям, следователям, экспертам / Под ред. проф. М.В. Горбаневского. М.: Юридический мир, 2006. [Galyashina, E. I. (2006) Gorbanevskii M. V. (eds.) Lingvistika vs ekstremizma (Linguistics vs Extremism). Moscow: Yuridicheskii mir. (In Russ.)]

Галяшина Е.И. Основы судебного речеведения: Монография / под ред. М.В. Горбаневского. М.: СТЭНСИ, 2003. 236 с. [Galyashina, E. I. (2003) Gorbanevskii M. V. (eds.) Osnovy sudebnogo rechevedeniya (Basics of Forensic Linguistics). Moscow: STENSI. (In Russ.)]

Галяшина Е.И. Судебная экспертиза вербальных проявлений экстремизма: правовые и методические проблемы // *Эксперт-криминалист*. 2009. № 2. С. 14—16. [Galyashina, E. I. (2009). Forensic Examination of Verbal Manifestations of Extremism: Legal and Methodological Problems. *Expert-Criminalist*, 2, 14—16. (In Russ.)]

Гладилин А.В. «Язык вражды» как коммуникация // *Современные исследования социальных проблем* № 11(19), 2012. [Gladilin, A. V. (2012). "Hate speech" as Communication. Society of Russia: educational space, psychological structures and social values, 11(19). (In Russ.)]

Голев Н.Д., Матвеева О.Н. Значение лингвистической экспертизы для юриспруденции и лингвистики // Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации // Под ред. проф. М.В. Горбаневского. 3-е изд., испр. и доп. М., Галерия, 2002. [Golev, N.D., Matveeva, O.N. (2002). Znachenie lingvisticheskoi ekspertizy dlya yurisprudentsii i lingvistiki (Linguistic Examination in Law and Linguistics). Tsena slova: Iz praktiki lingvisticheskikh

ekspertiz tekstov SMI v sudebnykh protsessakh po iskam o zashchite chesti, dostoinstva i delovoi reputatsii. Pod red. prof. M.V. Gorbanevskogo. 3-e izd., ispr. i dop. Moscow: Galeriya, (In Russ.)]

Дубровский Д.В. и др. Язык вражды в русскоязычном Интернете: материалы исследования по опознаванию текстов ненависти. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2003. 72 с. [Dubrovskii, D. V. (2003). Yazyk vrazhdy v russkoyazychnom Internete: materialy issledovaniya po opoznavaniyu tekstov nenavisti (Hate speech in the Russian-language Internet: materials of the study on the identification of hate texts). Saint Petersburg: EUSP Press. (In Russ.)]

Дугалич Н.М. Проблема перевода вербального компонента креолизованного текста политической карикатуры (на материале арабского и французского языков) // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2017. Т. 8. No 4. С. 902—91 [Dugalich, N.M. (2017). The problem of translating the verbal component of the creolized text of the political caricature (based upon the material of the Arabic and French languages). *RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics*, 2017, 8 (4), 902—911. (In Russ.)].

Жельвис В.И. Поле брани. Сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира. Изд. 2-е. М.: Ладомир, 2001. [Zhelvis, V.I. (2001). Field of battle. Swearing as a social problem in the languages and cultures. 2-nd edition. Moscow: Ladomir Publ, 2001 (In Russ.)].

Иссерс О.С. Языковые маркеры этнической ксенофобии (на материале российской прессы) [Электронный ресурс] / О.С Иссерс, М.Х. Рахимбергенова. Режим доступа: http://www.philology.ru/linguistics2/issers-rakhimbergenova-07.htm. [Issers, O. S., Rakhimbergenova, M.H. Yazykovye markery etnicheskoĭ ksenofobii (na materiale rossiiskoi pressy). Retrieved from: http://www.philology.ru/linguistics2/issers-rakhimbergenova-07.htm. (In Russ.)].

Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. [Karasik, V.I. (2002). Yazykovoy krug: Lichnost, concepti, diskours. Volgograd: Paradigma. (In Russ).]

Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. 2-е изд., испр. М.: Р. Валент, 2014. [Komissarov, V.N. (2014). Sovremennoye perevodovedeniye (Theory of translation). Moscow. (In Russ).]

Крылова О.А. Лингвистическая стилистика. Кн. 1: Теория. Уч. пособие. М., 2006. [Krylova, Olga (2006) Lingvisticheskaya stilistika. Kn. 1: Teoriya. Uch. Posobie. Moscow. (In Russ).]

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Эксмо, 2005. [Krysin, L.P. (2005). Tolkovyi slovar' inoyazychnykh slov (Dictionnary of Foreign Words). M.: Eksmo, 2005. (In Russ).]

Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации: Сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций. М.: Языки славянских культур, 2009. (Язык. Семиотика. Культура). [Larina, Tatiana (2009). Politeness and Communicative Styles: comparative analyses of English and Russian communicative traditions, Moscow: Languages of Slavic Cultures Publ. (Language, Semiotics, Culture). (In Russ.)]

Ларина Т.В., Озюменко В.И., Горностаева А.А. Сквернословие в речи носителей английского языка: функционально-прагматический аспект // *Вопросы психолингвистики.* 2012, 2 (16), С. 30—39. [Larina, Tatiana, Ozyumenko, V., Gornostaeva, A. (2012). Swear Words in English Communication: Meaning and Functions. *Journal of Psycholinguistics*, 2 (16), 30—39. (In Russ.)]

Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: Теория, практика и методика преподавания: Учебник. 4-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия». [Latyshev, L.K., Semionov, A.L. (2008) Perevod: Teoriya, praktika y metodyka prepodavaniya (Translation: Theory, practice and teaching methodology). Moscow: Akademiya. (In Russ.)]

Озюменко В.И. Медийный дискурс в ситуации информационной войны: от манипуляции — к агрессии // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2017. Т. 21. No 1. С. 203—220. [Ozyumenko, V. I. (2017). [Media Discourse in an Atmosphere of Information Warfare: From Manipulation to Aggression]. *Russian Journal of Linguistics*, 21 (1), 203—220. (In Russ.)]

Осадчий М.А. Русский язык. На грани права. М.: Либроком, 2013. [Osadchii, M.A. (2013). Russkii yazyk. Na grani prava (Russian Language. Law Line). M.: Librokom (In Russ.)]

Ольшанский Д.А. Межкультурная коммуникация: насилие перевода // Материалы международной научно-практической конференции «Коммуникация: теория и практика в различных социальных контекстах» — «Коммуникация-2002» (“Communication across Differences”) Ч. II. Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2002. С. 12—14. [Ol'shanskii, D.A. (2002). Mezhkul'turnaya kommunikatsiya: nasilie perevoda // Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii “*Kommunikatsiya: teoriya i praktika v razlichnykh sotsial'nykh kontekstakh” — “Kommunikatsiya-2002”* (“Communication across Differences”) Ch. II. Pyatigorsk: Izd-vo PGLU, pp. 12—14. (In Russ.)]

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М.: Валент, 2004. [Retsker, Y.I. (2004) Teoriya perevoda y perevodcheskaya praktika (Theory and practice of translation). Moscow: Valent. (In Russ.)]

Стернин И.А. Проблемы сквернословия. Изд. 6-е. М.—Берлин: Директ-Медиа, 2015. [Sternin, I.A. (2015). *Problems of swearing*. 6th ed. Moscow—Berlin: Direct-Media. (In Russ.)]

Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция // Оптимизация речевого воздействия. М., 1990 (Sorokin,Yu.A. Tarasov, E.F. (1990). Creolized texts and their communicative function. In Optimization of speech influence. Moscow. (In Russ.)

Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур. М.: Слово, 2008. [Ter-Minasova, S.G. (2008). Voina i mir yazykov i kul'tur (War and Peace: Lamguages and Cultures). Moscow: Slovo. (In Russ.)

Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса: Проблемы речевого воздействия. М.: Флинта, 2012. [Chernyavskaya, V.Ye. (2012). Diskours vlasti i vlast’ diskoursa (Power Discourse and Discourse Power M.: Flinta. (In Russ).]

Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991—2000). Екатеринбург, 2001. [Chudinov, A.P. (2001). Rossiya v metaforicheskom zerkale: kognitivnoe issledovanie politicheskoi metafory (1991—2000). Ekaterinburg. (In Russ).]

Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М.: Гнозис, 2004. [Sheigal, E.I. (2004). Semiotika politicheskogo diskoursa (Semiotics of Political Discourse) Moscow: Gnozis. (In Russ).]

Щербинина Ю.В. Речевая агрессия. Территория вражды. М.: Форум, 2016. [Scherbinina, Yu.V. (2016). *Verbal aggression. The territory of enmity*. Moscow: Forum Publ. (In Russ.)]

McGonagle, Tarlach. (2013, November 7—8) The Council of Europe against online hate speech: Conundrums and challenges. Expert paper. Belgrade: Council of Europe Conference of Ministers responsible for Media and Information Society.

Ponton D., Larina T. (2016). Discourse Analysis in the 21st Century: Theory and Practice (I). *Russian Journal of Linguistics*, 20 (4), 7—25.

Ponton D., Larina T. (2017). Discourse Analysis in the 21st Century: Theory and Practice (II). *Russian Journal of Linguistics*, 21 (1), 7—21.

Perry, B., & Olsson, P. (2009) Cyberhate: the globalization of hate. Information & Communications Technology Law, 18(2). Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13600830902814984.

Prentice, S., Rayson, P., & Taylor, P. (2010). The language of Islamic extremism: Towards an automated identification of beliefs, motivations and justifications. *International Journal of Corpus Linguistics.*

Tulkens, Françoise. (2012, October 12) When to say is to do Freedom of expression and hate speech in the case-law of the European Court of Human Rights. Strasbourg: Seminar on Human Rights for European Judicial Trainers.

История статьи:
Дата поступления в редакцию: 15 января 2018
Дата принятия к печати: 21 марта 2018

Для цитирования:
Борисова А.С., Кургузенкова Ж.В., Никишин В.Д. Проблема перевода религиозно-экстремистских текстов в процессе судебной лингвистической экспертизы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2018. Т. 22. № 2. 448—473. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-448-473.

Сведения об авторах:
БОРИСОВА АННА СТЕПАНОВНА — кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН. *Сфера научных интересов:* язык, культура, коммуникация; межкультурная прагматика; межкультурная коммуникация; дискурс-анализ, теория и практика перевода. *Контактная информация:* e-mail: borissovaa_anna@mail.ru

КУРГУЗЕНКОВА ЖАННА ВЯЧЕЛАВОВНА — кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры языковой подготовки кадров государственного управления факультета международного регионоведения и регионального управления Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. *Сфера научных интересов:* социолингвистика; язык и культура; межкультурная коммуникация; дискурс-анализ, переводоведение. *Контактная информация:* e-mail: zhanna-rudn2005@rambler.ru

НИКИШИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ — ассистент кафедры судебных экспертиз, аспирант Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); *Сфера научных интересов*: судебная лингвистическая экспертиза, прикладная лингвистика. *Контактная информация*: e-mail: nikishin.v.d@mail.ru

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-448-473

TRANSLATION OF RELIGIOUS AND EXTREMIST TEXTS: FORENSIC-LINGUISTIC EXPERT EXAMINATION

ANNA S. BORISSOVA[1], ZHANNA V. KURGUZENKOVA[2], VLADIMIR D. NIKISHIN[3]

[1]Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University)
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, 117198, Russian Federation

[2]Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA)
84 Vernadsky Prospekt, Moscow, 119606, Russian Federation

[3]Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
9 Sadovo-Kudrinskaya St., Moscow, 125993, Russian Federation

Abstract

Extremism is one of the most dangerous threats to humanity in the 21st century. The spread of this phenomenon in the world is characterized not only by the increase in the number of extremist crimes, but also by the variety of their forms. Currently, translated texts and texts including foreign speech are often come on judicial proceedings of the Russian Federation concerning cases against verbal religious

extremism. The article highlights theoretical basis of forensic-linguistic expertology, the tasks for translators acting as experts; the limits of competence are outlined. The authors reveal a complex of problems which appears in the process of translating religious extremist texts; determine the strategies and tactics that allow to create a product equivalent to the original text in a different language. Equivalence of translation is considered within the framework of "neutralization" concept, which should be complied with the established translation norms along with the transfer of communicative purposes in the utterance, context and linguistic peculiarities. Heterogeneous texts of Internet communication in English and French, containing religious extremist information (posts, reposts, memes, slogans, messages in social networks) were the material for the research. These types of texts have both general (multimedia, creole, hypertextuality) and distinctive features (regulation, focus on the addressee, language features). The methods of contextual, structural — semantic, comparative and linguocultural analysis were applied in the study. In general, the article is focused on specialists in the field of legal linguistics, theory and practice of translation, discourse analysis.

Keywords: *legal linguistics, forensic-linguistic expert examination, religious extremist text, Internet communication, translation*

Article history:
Received: 15 January 2018
Revised: 18 February 2018
Accepted: 21 March 2018

For citation:
Borissova, Anna S., Zhanna V. Kurguzenkova, and Vladimir D. Nikishin (2018). Translation of Religious and Extremist Texts: Forensic-Linguistic Expert Examination. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (2), 448—473. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-448-473.

Bionotes:

Dr. ANNA S. BORISSOVA is Associate Professor at RUDN University. Her *research interests* embrace language, culture and communication; intercultural pragmatics; intercultural communication; discourse analysis; translation studies. *Contact information*: e-mail: borissovaa_anna@mail.ru

Dr. ZHANNA V. KURGUZENKOVA is Associate Professor at Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. *Research interests:* sociolinguistics; intercultural communication; language and culture; discourse and translation studies. *Contact information*: e-mail: zhanna-rudn2005@rambler.ru

VLADIMIR D. NIKISHIN is an assistant lecturer, postgraduate of Forensic expertise department of Kutafin Moscow State Law University (MSAL). His *research interests* are focused on forensic and applied linguistics. *Contact information:* e-mail: nikishin.v.d@mai

Russian Journal of Linguistics
Вестник РУДН. Серия: ЛИНГВИСТИКА
2018 Vol. 22 No. 2 474—479
http://journals.rudn.ru/linguistics

ХРОНИКА
CHRONICLE

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-474-479

РЕЦЕНЗИЯ НА КОЛЛЕКТИВНУЮ МОНОГРАФИЮ *Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии* / отв. ред. В.В. Фещенко. М.: Культурная революция, 2016. — 500 с.

REVIEW of V.V. Feshhenko (ed.), 2016. *Linguistics and Semiotics of Cultural Transfer: Methods, Principles, Technology.* Moscow: Kul'turnaja revoljucija Publ, 500 pp. (In Russ.)

XXI век — время цельного знания, которое влечет за собой изменение параметров научного мышления — стремление к синтезу, интегрированию. Это предвидел В.И. Вернадский, один из основоположников антропокосмизма, в своей работе «Научная мысль как планетарное явление» (Вернадский 1991). К настоящему времени гуманитарное знание, в том числе лингвистика, зашло в тупик, описывая системные отношения и стремясь к точности. Так, французский исследователь К. Ажеж писал: «Лингвистика, изучая самое человеческое, что есть в человеке, никак не может быть замкнутой областью знания... Одержимость научностью придала ее облику ложную строгость, равную которой нельзя обнаружить более нигде, включая самые точные науки. Увлечение формальной записью в конце концов загнало ее в тесную келью технического дискурса...» (Ажеж 2003, с. 279).

Выход из тупика ученые увидели в интегрировании наук, привлечении «далековатых идей», как говорил М. Ломоносов. Поэтому результаты лингвистических исследований переплетаются с достижениями философии, психологии, антропологии, культурологии и ряда других наук, что приводит к зарождению междисциплинарных подходов. Многие современные ученые об этом говорили давно. Ю.С. Степанов, К. Ажеж, В.З. Демьянков и другие отмечали, что лингвистика не может быть замкнутой областью знания, поэтому не случайно в последние 30—40 лет научная парадигма смещается в сторону человека. Антропоцентризм в лингвстике привел к пониманию того, что необходимо учитывать, чего достигает человек посредством языка. Как справедливо заметил В.А. Звегинцев, «язык образует главный компонент той среды, вне которой невозможны все виды интеллектуальной и духовной деятельности человека» (Звегинцев 1996, с. 206). По мнению В.З. Демьянков, в эпоху междисциплинарных подходов есть два типа

лингвистов: теоретик-экспортер, он экспортирует знания своей науки в другие, и теоретик-импортер, который свежие идеи из других наук переносит в лингвистику (Демьянков 2013). При исследовании лингвистических проблем важно использовать оба подхода. Рецензируемая монография находится в русле второго типа.

Монография является одной из первых работ в России по разработке лингвистической теории трансфера на базе мировых практик межкультурного взаимодействия. На год раньше появилась лишь монография «Культурные трансферы: проблемы кодов» [Культурные... 2015]. Авторы монографии понимают под культурным трансфером процесс переноса знаний между разными культурами, профессиональными сообществами и дискурсами (с. 5).

Общегуманитарная теория «культурного трансфера» была разработана в 80-е годы французскими историками и литературоведами М. Эспанем (Espagne 1999) и М. Вернером (Werner 2006). Сейчас данный термин получил широкое распространение в таких областях научных знаний, как теория перевода, психология, история, лингвистика, банковское дело, туризм, экономика, образовательная среда, политика, менеджмент и т.д. Методология трансферов предполагает выявление механизмов «культурного перемещения смыслов» (Фещенко, Бочевар, 2016, с. 5). В монографии показано, что проблема конвертируемости знаний между разными культурными практиками и областями гуманитарных знаний (философии, семиотики, лингвистики, филологии, этнографии и др.) возникает в связи с синтезом знаний, их проникновением из одной области в другую.

Рецензируемая монография состоит из 4-х разделов, каждый из которых по широте охвата — отдельное завершенное монографическое исследование. Отдельный интерес представляет обширное введение, авторы которого В.В. Фещенко и С.Ю. Бочевар. Здесь дана краткая историческая справка о термине трансфер, который пришел в лингвистику из психологии, когда, еще в 1905 году, З. Фрейд описал явление, которое назвал Ubertragung, в переводе на английский и французский оно получило звучание — трансфер. Польско-американский лингвист У. Вайнрайх использовал его в своей известной работе «Языковые контакты» (Вайнрайх 1953). М. Экспань рассматривает русских ученых А.Н. Веселовского, Г. Шпета, И.А. Бодуэна де Куртэне как проводников идеи культурного трансфера в Россию. К тому времени в Германии она почти потеряла свою значимость, а в России все более набирала популярность, в дальнейшем уже из России идеи реэкспортировались в Европу. Идеи трансфера оказались соответствующими духу времени в понимании необходимости создания интегративного направления, каким и явилась теория трансфера, объединяющая методы и положения ряда междисциплинарных наук.

В первом разделе рецензируемой монографии, авторами которого являются В.И. Постовалова, В.З. Демьянков и А.В. Вдовиченко, уточняется сам термин «трансфер знаний», показаны предпосылки конструирования лингво-семиотических механизмов трансферизации знаний; выявлены языковые техники «трансфера знаний»; доказано, что разные типы знаний соответствуют различным эпистемологиям гуманитарных наук; излагаются теоретические основания «языковой

девавилонизации», поднимаются проблемы взаимопонимания в условиях «концептуального многоязычия»; показано, что специфику гуманитарного познания и общение составляет концептуальное многоязычие» и «разномыслие» ученых, богословов, художников; обосновывается классификация видов знания и выдвигаются лингвистические и внелингвистические основания разных типов знания — всеобщего, универсального, личностного, национального и др.

В данном разделе показано, что использование понятия трансфера в лингвистике — это не простой перенос термина, здесь речь идет о циркуляции и преображении культурных ценностей в результате их интерпретации в новых областях знаний, о поиске интегральных метапарадигм знания. Поэтому транфсер позволяет говорить о разнонаправленном взаимодействии человека и его сознания, языков и культур, их инкрустациях, причем с непредсказуемыми результатами, когда может восстановиться утраченная цельность человеческой мысли и духа. В междисциплинарном термине трансфер авторы выделяют два важнейших свойства — транзитивность (перехордность) и векторная направленность, причем — это многовекторность.

Второй раздел, написанный О.К. Ирисхановой, М.И. Киосе, И.В. Зыковой, И.А. Пильщиковым и В.В. Фещенко, посвящен разработке понятийного аппарата: переносу междисциплинарных терминов в лингвистику, а также доказательству того, что термину «трансфер» присуща многовекторность.

Если встать на позиции культурного трансфера, то статус лингвокультурологии существенно изменится. Дело в том, что если сам факт существования лингвокультурологии сегодня не вызывает сомнений, то ее статус является предметом дискуссий: это метанаучное направление, отдельная наука или подраздел лингвистики; новый интегративный подход, реализованный трансфером знаний через важнейшие понятия, позволяет рассматривать лингвокультурологию и как особое метанаучное (метагуманитарное) направление, и как самостоятельную гуманитарную науку. Трансфер способен творчески синтезировать современные результаты теоретических изысканий в разных областях науки о человеке, его языке и культуре и создать новую интегральную метапарадигму знания о языковой личности в культуре.

В третьем разделе под названием «Межъязыковое и междискурсивное взаимодействие в перспективе культурных трансферов» авторы Н.М. Азарова, О.В. Соколова, И.В. Силантьев, Т.Е. Янко и А.Л. Полян демонстрируют переход к уровню языка и дискурса: исследуется поэтический билингвизм с позиции трансфера, выявляются его когнитивные основания; описываются типы междискурсного взаимодействия; механизмы перевода языка науки на язык искусства; изучается взаимодействие устного и письменного дискурсов.

Особо следует сказать о главе, в которой анализируется поэтический билингвизм, при этом автор заявляет, что данная проблема должна стать отдельным направлением исследования, хотя это давно отдельное направление, о чем свидетельствуют и традиция, и многие современные работы. Например, в РУДН проходит ежегодная международная конференция по билингвизму.

Давно известно, что иноязычное слово в литературном произведении — это достаточно мощный указатель на иной народ (нацию), его культуру, традицию, историю, эпоху, на уникальный национальный ментальный формат. В XX столетии вопросами взаимного влияния контактирующих языков в условиях билингвизма занимались такие выдающиеся российские лингвисты, как И.А. Бодуэн де Куртене, В.А. Богородицкий, Е.Д. Поливанов, Л.В. Щерба, Б.А. Ларин. Принципиально новый толчок разработка проблемы дала книга американского лингвиста Уриеля Вайнрайха Languages In Contact (1953), в котором были заложены прочные, по сей день не утратившие своей актуальности основы изучения дву- и многоязычия в рамках общей теории языковых контактов. Индивидуальный (литературный, поэтический) исследуют Бернар Дадье, В.Е. Багно, У.М. Бахтикиреева, Р.Ю. Данилевский, Ю.Д. Левин, С.Г Николаев, М.Н. Эпштейн, Барбара Лённквист и др.

Последний, четвертый, раздел, авторами которого являются С.Г. Проскурин, А.В. Проскурина, И.В. Зыкова и М.Л. Ковшова, посвящен взаимодействию кодов в культурных практиках. Понятие «код» впервые появилось в технике связи и математике, а позднее проникло в теорию информации, информатику, прикладную лингвистику, психологию, семиотику, психолингвистику, когнитивную лингвистику, лингвистику текста, теорию коммуникации, этнолингвистику, лингвокультурологию и другие области знаний. Под кодом чаще всего понимается совокупность знаков и определенных правил, при помощи которых можно передавать, обрабатывать и хранить информацию. На сегодняшний день простейшими кодами являются цифровые коды, телеграфные, сигнальные, а коды культуры, которые функционируют в языке, — самые сложные.

Культурный код — способ постижения мира, потому что содержит в себе информацию о том, как знание передавалось от поколения к поколению. Когда человек появляется на свет, он невольно помещается в пространство культурных кодов, которое формирует его ценности, способы познания мира, жизненные ориентиры, идеалы.

Пространство культурных кодов насыщено архетипическими представлениями, отражающими коллективную психологию, определяя все действия людей, их цели и результаты их деятельности. Мы полагаем, что лингвокультурный код связан с общей таксономией элементов картины мира, состоящих в особых связях и отношениях, которые образуют языковую картину мира. Любой национальный язык неразрывно связан со своей национальной культурой; происходит экспансия культурных кодов в этноязык, а именно — в сферы образной лексики, фразеологии и паремиологии. Код — это генеративно-интерпретативный аспект знаковой системы; — это глубинное культурное пространство, к которому можно применить метафору «контейнер», в понимании Е.С. Кубряковой. В качестве культурного кода может выступать практически любая чувственно воспринимаемая часть действительности: небесные тела, явления природы, флора, фауна, человеческое тело, техника, оружие и т.д. Коды культуры — это специфический для каждой культуры набор способов социальной практики, свод ценностей и правил игры коллективного существования, выработанная людьми система нормативных и оце-

ночных критериев, сквозь которые народ постигает мир. Это совокупность реалий, выражающих определенные культурные смыслы и ценности.

Таким образом, использование термина «трансфер» приводит к циркуляции и преображению культурных ценностей в результате их интерпретации в новых областях знаний, что приводит к поиску интегральных метапарадигм знания. Поэтому транфсер позволяет говорить о разнонаправленном взаимодействии человека и его сознания, языков и культур, их инкрустациях, причем с непредсказуемыми результатами, когда может восстановиться утраченная цельность человеческой мысли и духа.

В целом рецензируемая монография представляется нам своевременной, необходимой и важной работой. Она предназначена для всех, кто интересуется вопросами лингвистики, поэтики, теории перевода, лингвокультурологии, фразеологии других гуманитарных дисциплин.

© В.А. Маслова, 2018

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Ажеж К. Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки: Пер. с фр. М.: Едиториал УРСС, 2003. 304 с. [Azhezh, K. (2003). *Chelovek govoryashchii: Vklad lingvistiki v gumanitarnye nauki*: Per. s fr. (Man who speaks: The contribution of Linguistics to the Liberal Arts). Moscow. (In Russ).]

Вайнрайх У. Языковые контакты М.,1953. [Vainraikh, U. (1953). *Yazykovye kontakty* (Language Contacts). Moscow. (In Russ).]

Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление / Ответ. Ред. А.Л.Яншин. М.: Наука, 1991, 270 с. [Vernadckii, V.I. (1991). *Naychnaya mycl' kak planetarnoe yavlenie* (Scientific Thought as a Global phenomena). Otvet. Red. A.L.Yanshin. Moscow. (In Russ).]

Демьянков В.З. Синтактика, семантика и прагматика в научном творчестве Ю.С. Степанова // Языковые параметры современной цивилизации. Сборник научных трудов первой научной конференции памяти академика РАН Ю.С. Степанова. М.: Институт языкознания РАН; Калуга, 2013. [Dem'yankov, V.Z. (2013). *Sintaktika, semantika i pragmatika v nauchnom tvorchestve Yu.S. Stepanova* (Syntactics, Semantics and Pragmatics in Yu.S. Stepanov Scientific Creativity). Yazykovye parametry sovremennoi tsivilizatsii. Sbornik nauchnykh trudov pervoi nauchnoi konferentsii pamyati akademika RAN Yu.S. Stepanova. Kaluga. (In Russ).]

Звегинцев В.А. Мысли о лингвистике. М.: МГУ, 1996. 335 с. [Zvegintsev, V.A. (1996). *Mysli o lingvistike* (Thoughts of Linguistics). Moscow. (In Russ).]

Культурные трансферы: проблемы кодов. Коллект. моногр. / под ред. С.Г. Проскурина. Новосибирск, М., 2015. [*Kul'turnye transfery: problemy kodov.* (Cultural Transfers: Codes Problems). Kollekt. Monogr. pod red. S.G. Proskurina. Novosibirsk—Moscow. (In Russ).]

Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии / отв. ред. В.В. Фещенко. М.: Культурная революция, 2016. 500 с. [Feshchenko, V.V. (2016). Lingvistika i semiotika kul'turnykh transferov: metody, printsipy, tekhnologii (Linguistics and Semiotics of Cultural Transfers: methods, principles, technologies). Moscow. (In Russ).]

Фещенко В.В., Бочевар С.Ю. Теория культурных трансферов // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии / отв. ред. В.В. Фещенко. М.: Культурная революция, 2016. [Feshchenko, V.V., Bochevar, S.Yu. (2016). *Teoriya kul'turnykh transferov* (Cultural Transfers Theory). Lingvistika i semiotika kul'turnykh transferov: metody, printsipy, tekhnologii / otv. red. V.V. Feshchenko. Moscow. (In Russ).]

Espagne, M. (1999). Les Transferts culturels franco-allemfnds. Paris.

Werner, M. (2006). Transfert culturel. Dictionnaire des sciences humaines. Paris.

Для цитирования:
Маслова В.А. Рецензия на коллективную монографию *Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии* / отв. ред. В.В. Фещенко. М.: Культурная революция, 2016. — 500 с. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2018, № 2. С. 474—479. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-474-479.

For citation:
Maslova, V.A. Review of V.V. Feshhenko (ed.) (2016). *Linguistics and Semiotics of Cultural Transfer: Methods, Principles, Technology*. Moscow: Kul'turnaja revoljucija Publ, 500 pp. *Russian Journal of Linguistics*, 22 (2), 474—479. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-474-479.

Сведения об авторе:
ВАЛЕНТИНА АВРААМОВНА МАСЛОВА — доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры германской филологии Витебского государственного университета имени П.М. Машерова. *Сфера научных интересов:* теория языка, лингвокультурология, лингвоконцептология. Автор около 500 научных публикаций, из них более 10 монографий, около 20 учебников и учебных пособий. *Контактная информация*: e-mail: mvavit@tut.by

Bionote:
VALENTINA MASLOVA is a Doctor of Philology, Professor, Professor of the Department of Germanic Languages at P. M. Masherov Vitebsk State University. Her research interests cover theory of language, language and culture, cognitive linguistics. She has over 500 scientific articles, 10 monographs and 20 textbooks and teaching aids. *Contact information*: e-mail: mvavit@tut.by

Russian Journal of Linguistics
Вестник РУДН. Серия: ЛИНГВИСТИКА
2018 Vol. 22 No. 2 480—488
http://journals.rudn.ru/linguistics

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-480-488

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ Дубровская Т.В., Рева Е.К., Кожемякин Е.А., Ярославцева Я.Ф., Арехина Д.В. / под общ. ред. Дубровской Т.В. *Политический, юридический и массмедийный дискурс в аспекте конструирования межнациональных отношений Российской Федерации*. — М.: Флинта: Наука, 2017. — 248 с.

REVIEW of T.V. Dubrovskaya, E.K. Reva, E.A. Kozhemyakin, Ya.F. Yaroslavtseva, D.V. Arekhina (2017). *Political, legal and mass media discourse in terms of discursive construction of Russia's international and interethnic relations.* Moscow: Flinta: Nauka Publ, 248 pp. (In Russ.)

Современная общественно-политическая ситуация, которая характеризуется непростыми межнациональными отношениями как внутри страны, так и во всем мире, диктует необходимость пристального изучения механизмов их формирования и регулирования. Проблема межнациональных отношений приобретает новое звучание и особенно актуальна в условиях новых рисков и угроз.

Рецензируемая коллективная монография, выполненная в конструктивистском ключе с опорой на критический дискурс-анализ и другие методологические базы, предлагает междисциплинарный взгляд на проблему межнациональных отношений. Междисциплинарный подход становится неотъемлемой характеристикой современной научной парадигмы: в последнее время целый ряд работ придерживается данного подхода для более полного и многомерного моделирования изучаемого феномена (Толерантность как культурная, политическая, лингвистическая проблема 2017; Дискурсы власти 2015; Новгородское медиаполе: опыты лингвистических исследований 2015 и др.). Именно междисциплинарный характер выполненного исследования позволяет связать воедино социальный контекст (его историческую и современную составляющие) и дискурсивные практики, выработать лингвистический инструментарий и отследить медийные трансформации, расшифровать механизмы конструирования межнациональных отношений и представить их двустороннюю репрезентацию (взгляд изнутри и извне) на разнообразном языковом материале.

Поиски новых научных подходов к разрешению поставленной проблемы неизменно сталкиваются с риском конфликта понятийного аппарата различных наук, однако авторам монографии удалось избежать дисбаланса и привести к единому знаменателю достижения социологии, политологии, права, лингвистики

и философии. Во введении Т.В. Дубровская подчеркивает социальный и собственно научный аспекты исследования (с. 5): первый непосредственно связан с внутренней и внешней политикой России, возникновением стереотипов о России и странах Запада, формированием определенного восприятия действительности, тогда как последний ставит во главу угла изучение дискурсивных практик и отводит важнейшую роль языку как «мощному инструменту власти» (с. 7).

Коллективная монография состоит из введения и четырех глав. Одновременно глубокий и в то же время прозрачный исследовательский подход сочетает в себе весомые теоретические изыскания с практической методологией. Авторы монографии впервые подвергают систематизации и обобщению богатый теоретический и эмпирический материал, накопленный в рамках критического дискурс-анализа и социального конструктивизма. Предлагая конструкционистский подход к межнациональным отношениям, исследователи подчеркивают определяющую роль дискурсивных практик: межнациональные отношения рассматриваются как дискурсивный конструкт (с. 11).

В исходной главе «Межнациональные и межэтнические отношения в контексте конструкционистско-дискурсивной парадигмы» особое внимание уделено трем аспектам: категории нации и этноса, концепту межнациональных отношений и микро- и макроподходам к межнациональным отношениям.

Погружая в контекст исследований, связанных с развитием теорий нации и этнических идентичностей (примордиализма, инструментализма), Е.А. Кожемякин и Т.В. Дубровская обосновывают эволюционную необходимость обращения к конструктивистской парадигме интерпретации данных категорий; рассматривают нацию и межнациональные отношения как социальные конструкты (при этом нация «представляет собой некоторый «идеальный тип» (М. Вебер), цель, комплекс представлений индивидов о себе» (с. 16)) и ставят в центр исследования «анализ дискурса как условия и инструментария „производства“ нации, национальных отношений, этничности, и соответствующих механизмов идентификации» (с. 16).

В ряде исследований отмечается, что до недавнего времени национальная идентичность воспринималась как данность, однако в последнее десятилетие эта проблема вышла на первый план. Миграционные процессы, глобализация, рост мультикультурализма породили новую реальность (Дубровская 2015; Харламова 2016).

Следует отметить, что «все современные государства в той или иной мере проводят «политику идентичности», направленную на интеграцию стоящих за ними сообществ, на поощрение солидарности, формирование определенного представления о «Нас», опирающегося на те или иные интерпретации истории и культуры, и т.п. (Малинова 2010: 3), поэтому выявление механизмов конструирования межнациональных и межэтнических отношений является чрезвычайно актуальным.

Основные положения первой главы закладывают прочный фундамент для трех последующих глав. Если в исходной части сформулированы основные теоретические положения исследования, предлагается инструментарий и модели

анализа, то каждая последующая глава сфокусирована на отдельном виде дискурса и его роли в моделировании межнациональных отношений. При этом оправданным является выбор трех дискурсов — юридического, политического и масс-медийного. Данные виды дискурсов тесно взаимодействуют друг с другом в процессе конструирования межнациональных отношений, перетекая из одного в другой. Авторы монографии умело демонстрируют взаимодействие всех трех типов дискурса и их подчиненность единой цели — конструированию межнациональных отношений. В этом симбиозе прослеживается установочная функция *юридического дискурса* как источника законодательных актов и стратегических документов государственной важности и *политического дискурса* как своеобразной дискурсивной площадки для формирования ценностей в межнациональной сфере, тогда как *дискурс масс-медиа* отвечает за ретрансляцию и интерпретацию их основных положений и ценностных ориентиров.

Особый интерес вызывает собранный в ходе исследования материал — корпус текстов на русском и английском языках в области межнациональных отношений, который представляет ценность как для практиков, работающих в данной сфере, так и для дальнейшего развития новых теорий и концепций. Корпусы охватывают тексты устных выступлений официальных представителей внешнеполитических ведомств России и США, документы, регулирующие внутригосударственные межнациональные отношения (Конституция РФ, Конституция США, Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.) и регламентирующие миграционные процессы (Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», американский «Акт об иммиграции и гражданстве), публикации сайтов, российских печатных и электронных изданий («Известия», «Российская газета», «Огонек», «Вокруг света» и др.), которые ретранслируют положения внешнеполитического и юридического дискурсов и задают определенный характер дискурсивного конструирования межнациональных отношений. Весь этот обширный материал, который ранее не подвергался комплексному анализу в данном ключе, помогает воссоздать конструируемую действительность в изучаемой сфере.

Для получения многогранного описания исследуемого феномена во второй и третьей главах, посвященных концептуализации межнациональных отношений во внешнеполитическом и юридическом дискурсах, авторы используют для анализа триаду «акторы — репрезентации — средства создания репрезентаций (семантические компоненты оппозиции / прагматические стратегии / топосы)». Вторая глава опирается на исследование внешнеполитического дискурса, который рассматривается как разновидность политического дискурса (с. 30). Для более полного понимания механизмов конструирования межнациональных отношений предлагается целый спектр характеристик внешнеполитического дискурса, а именно его *функции* (в качестве основной функции выделяется борьба за власть между политическими акторами на политической арене), *коммуниканты* (официальные представители внешнеполитических ведомств; в качестве адресанта может выступать в том числе массовая аудитория), *семантические оппозиции и конструкты*

(особое внимание уделяется оппозиции «сила — слабость» в конструировании межнациональных отношений в российском и американском внешнеполитическом дискурсе (раздел 2.3) и конструкту «Запад» в российском внешнеполитическом дискурсе (раздел 2.4)), *жанры* (анализ проводится на базе устных публичных жанров) и *языковые средства* (семантические компоненты категории «сила — слабость» и прагматические стратегии).

Привлекают внимание разделы 2.3 и 2.4, в которых изучаются семантические оппозиции и конструкты российского и американского внешнеполитического дискурсов, не получившие ранее освещения в дискурсивных исследованиях. Семантическая оппозиция «сила — слабость» приравнивается авторами к основным базовым оппозициям внешнеполитического дискурса, наряду с оппозицией «свой — чужой». Признавая достижения лексической семантики, прагматики и когнитивной лингвистики, авторы видят значительный потенциал в применении семантико-прагматического подхода, в рамках которого рассматривают семантику широко (вслед за Ю.С. Степановым) как «все содержание, информация, передаваемые языком или какой-либо единицей» (с. 45). Авторы убедительно доказывают влияние социального контекста, а именно проводимой Россией и США внешней политики различной направленности, на взаимоотношения этих акторов на международной арене и на дискурсивные практики, осуществляемые официальными представителями этих стран.

Кроме того, авторы предлагают собственную методологию выделения семантических компонентов категории «сила — слабость», конструирующих репрезентации России и США. При этом они выходят за рамки традиционного анализа словарных дефиниций соответствующих лексем и предлагают свое оригинальное видение механизма анализа, выделяя три основные группы семантических компонентов категории «сила» на материале русского и английского языков: качества, присущие актору, способы поведения по отношению к другим акторам и последствия действий актора (с. 49).

Несомненный интерес представляют результаты проведенного анализа: репрезентация российско-американских отношений в изучаемом дискурсе базируется «на противопоставлении двух сильных акторов, каждый из которых получает положительный аксиологический заряд в контексте самопрезентаций и отрицательный аксиологический заряд в контексте репрезентаций актором-оппонентом» (с. 79), тогда как категория «слабость», как правило, не получает эксплицитного выражения. В данном случае речь идет о парадоксальности данной категории, так как слабость актора-оппонента конструируется сквозь призму силы — силы деструктивной.

Таким образом, можно говорить о том, что во внешнеполитическом дискурсе фактически порождается такая оппозиция, как «созидательная сила vs. деструктивная сила». Данная методика анализа позволяет наглядно представить создаваемые конструкты и механизмы их формирования.

Для моделирования конструкта «Запад» авторы прибегают к трем стратегиям — оценки, эмоционализации и прогноза — в двух аксиологически противо-

положных вариантах (с отрицательным и положительным зарядом). Исследователи размышляют над изменчивостью и гибкостью создаваемых дискурсивных конструктов в зависимости от политического контекста и стратегических установок автора и находят подтверждение этому на примере конструкта «Запад», который может обладать и положительным, и отрицательным аксиологическим зарядом, а также варьироваться с точки зрения набора акторов и приобретать новые характеристики.

В фокусе внимания третьей главы находится юридический дискурс, который не был ранее достаточного изучен в рамках социально-конструктивистской парадигмы, однако именно «право выполняет функцию поддержки существующего порядка и приводит общественное устройство в соответствие с определенными политическими ценностями и идеалами» (с. 103). Перспективным является поиск универсальных и национально-специфических особенностей межнациональных отношений путем сопоставительного анализа законодательных документов России и США. В этом заключается еще и просветительская функция проведенного исследования.

Одной из важных авторских находок, представленных в данной части исследования, является изучение межнациональных отношений сквозь призму триады «акторы — репрезентации — топосы».

Т.В. Дубровская проводит тщательный анализ существующей терминологии и четко формулирует свое понимание терминологического аппарата. В частности, вводится понятие «топосы межнациональных отношений», которое интерпретируются как «смысловые доминанты, получающие вербальное выражение в тексте и способствующие созданию таких репрезентаций действительности и межнациональных отношений, которые соответствуют стратегическим коммуникативным задачам автора, обезличенного законодателя» (с. 107), при этом топосы облекаются в форму условных постулатов (вслед за М. Рейзигл и Р. Водак). Анализ топоса народного единства, топоса равноправия и топоса верховенства международного права позволил автору данной главы выявить значительные различия и несовпадающие акценты в дискурсивном конструировании внутригосударственных межнациональных отношений России и США, в частности закрытый характер американского законодательства и открытый характер российского по отношению к международному праву (с. 115). Разнонаправленные тенденции высвечиваются и в дискурсе миграции, в силу особенностей исторического и культурного развития двух стран, при этом меняется набор доминантных топосов — доминантными становятся топосы равноправия, гуманизма и национальной безопасности. Кроме того, авторы отмечают иерархичность и определенную специфику акторов как для конструирования внутренних, так и внешних межнациональных отношений.

Особого внимания заслуживают параграфы 2.5 и 3.4, посвященные ретрансляции внешнеполитического и юридического дискурсов в СМИ. Следует отметить, что проблема массмедийных интерпретаций и формирования особой реальности является одной из центральных проблем современной лингвистики. Так, исследователи Сибирского федерального университета предлагают ввести новый

термин «лингвистика информационно-психологической войны» и отмечают необходимость «нейтрализации информационно-психологического воздействия» (Лингвистика информационно-психологической войны 2017: 6), целью которого является разрушение национального сознания и традиций народа. Кроме того, целый ряд исследователей подчеркивают тенденцию к манипулированию сознанием адресата, мифологизации конструируемой реальности, подмене объективной реальности медийной, виртуальной реальностью и определенному форматированию сознания (Вражнова 2015; Озюменко 2017; Садуов 2008; Харламова 2016).

Одним из важных достижений авторов является разработка модели анализа медийных репрезентаций, которая включает в себя анализ репрезентаций хронотопа и заголовков статей, выявление типов акторов, дискурсивных способов их конфигурации и частных характеристик медийных репрезентаций. Данная модель становится основой для описания межнациональных отношений в массмедийной реальности, целью которой является не столько отражение реальных фактов, сколько конструирование социальной значимости события в контексте общественно-политической ситуации и под влиянием идеологических установок (с. 94). Авторы приходят к интересному выводу о том, что при медийной ретрансляции может меняться степень эксплицитности законодательного текста, который, как правило, помещается в аксиологическую рамку с помощью широкого набора эмоционально-оценочных средств и политических ярлыков и приобретает политизированную интерпретацию (с. 163).

Таким образом, механизмы конструирования межнациональной действительности в медийном пространстве предполагают трансформацию политического/юридического текста (или любого другого типа текста), т.е. ретранслируемые тексты не сохраняют все характеристики дискурса, помещаемого в медийную среду, а приобретают новые. Например, законодательный текст может сохранять свойственную ему деонтическую модальность, но теряет прямолинейность и однозначность. В процессе ретрансляции важное значение приобретают такие факторы, как текущая общественно-политическая ситуация, меняющиеся государственные интересы, массовый характер адресата, политическая и медийная повестки дня.

Заключительная глава затрагивает проблему репрезентации этнической культуры народов России в массмедийном дискурсе. В данной главе авторы смещают фокус внимания с межэтнических отношений на репрезентации этнокультур народов РФ, а именно народов Северного Кавказа, коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и выявляют основные темы, жанры и топосы, которые являются средствами конструирования образа этих народов.

В этой части исследования авторы не столько концентрируются на проблеме взаимодействия разных народов РФ, сколько делают упор на задачи, сформулированные в документе «Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 года» (сохранение и развитие культур и языков народов РФ, распространение знаний об их истории и культуре) и их отражение в средствах массовой информации и коммуникации. В данном случае речь идет о ретрансляции основного топоса «Стратегии ГНП РФ» (топоса народного единства) и его

актуализации в частных топосах массмедийного дискурса (топосы этнокультурного многообразия, безопасности, уважения к национальной культуре и др.).

Изложенное в рецензируемой монографии представление межнациональных и межэтнических отношений в контексте конструктивистско-дискурсивной парадигмы, обобщение и систематизация существующих и новых положений в данной сфере несомненно важны для отечественной и зарубежной дискурсологии, так как исследования такого рода формируют векторы ее дальнейшего развития.

Особая ценность исследования заключается в том, что предложенную методологическую рамку конструирования межнациональных отношений можно приложить и к другим сферам, попадающим в круг проблем критического дискурс-анализа.

Рецензируемая коллективная монография — весомое научно-практическое исследование, которое представляет собой диалог с читателем о способах конструирования современного дискурсивного пространства и заставляет задуматься о многомерности и разнородности существующей действительности. Данная книга несомненно будет интересна широкому кругу читателей — начинающим исследователям и экспертам в области межнациональных отношений, представителям государственной власти и законодателям, политологам и журналистам.

© Т.В. Харламова, 2018

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Вражнова И.Г. Концептуальная метафора как средство формирования отрицательного образа государства (на материале британских печатных СМИ) // Иностранные языки в контексте межкультурной коммуникации: материалы докладов VII Международной конференции «Иностранные языки в контексте межкультурной коммуникации». Саратов: Издательский Центр «Наука», 2015. С. 27—33. [Vrazhnova, I. G. (2015). Conceptual Metaphor as a Means of Shaping the Negative Image of the State (A Case Study of the British Press). *Foreign Languages in the Context of Cross-cultural Communication: Proceedings of VII International Conference "Foreign Languages in the Context of Cross-cultural Communication".* Saratov: Publishing Centre «Nauka», 27—33. (In Russ.)]

Дискурсы власти: коллективная монография / Н.А. Меркурьева, А.В. Овсянников, А.Г. Пастухов (отв. ред.). Орел: ООО «Горизонт». 378 с. [Diskursy vlasti: kollektivnaya monografiya (2015). (Power Discourses: monograph) / N.A. Merkur'eva, A.V. Ovsyannikov, A.G. Pastukhov (ed.). Orel: OOO «Gorizont». (In Russ.)]

Дубровская Т.В. 'I Was the First Westerner, The Only English Person': дискурсивное конструирование национальной идентичности // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Лингвистика. 2015. № 2. С. 25—40. [Dubrovskaya, T.V. (2015). 'I Was the First Westerner, The Only English Person': discursive construction of national identity. *Russian Journal of Linguistics*, 2, 25—40. (In Russ.)]

Лингвистика информационно-психологической войны: монография. Книга I / А.А. Бернацкая, И.В. Евсеева, А.В. Колмогорова, Г.А. Копнина, А.П. Сковородников, Б.Я. Шарифуллин; под ред. проф. А.П. Сковородникова. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. 340 с. [Lingvistika informatsionno-psikhologicheskoi *voiny: monografiya. Kniga I* (2017). (Linguistics of Information War of Nerves: monograph. Book I) / A.A. Bernatskaya, I.V. Evseeva, A.V. Kolmogorova, G.A. Kopnina, A.P. Skovorodnikov, B.Ya. Sharifullin; pod red. prof. A.P. Skovorodnikova. Krasnoyarsk: Sibirskii federal'nyi universitet. (In Russ.)]

Малинова О.Ю. Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России: символическая политика в трансформирующейся публичной сфере [Электронный ресурс] // Журнал ПОЛИТЭКС. 2010. № 1. URL: http://www.politex.info/content/view/662/30/ (дата обращения: 15.02.2017). [Malinova, O.Yu. (2010). Construction of Macro-political Identity in Post-Soviet Russia: Symbolic Politics in Transformed Public Sphere. *Political Expertise: POLITEX Journal*, 1. Retrieved from: http://www.politex.info/content/view/662/30/ (Last viewed: 15.02.2017). (In Russ.)]

Новгородское медиаполе: опыты лингвистических исследований: коллективная монография / под ред. Т.В. Шмелевой. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, каф. журналистики, 2015. 223 с. [*Novgorodskoe mediapole: opyty lingvisticheskikh issledovanii: kollektivnaya monografiya* (Novgorod Media Field: Linguistic Research Experience: monograph) / pod red. T. V. Shmelevoi. Velikii Novgorod: NovGU im. Yaroslava Mudrogo, kaf. zhurnalistiki. (In Russ.)]

Озюменко В.И. Медийный дискурс в ситуации информационной войны: от манипуляции — к агрессии // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2017. Т. 21. № 1. С. 203—220. [Ozyumenko, V.I. Media Discourse in an Atmosphere of Information Warfare: From Manipulation to Aggression. *Russian Journal of Linguistics*, 21 (1), 203—220. (In Russ.)]

Садуов Р.Т. Мифология в политическом дискурсе: анализ речей Тони Блэра // Политическая лингвистика. 2008. №3 (26). С. 95—101. [Saduov, R.T. (2008). Mythology in Political Discourse: Tony Blair's. Speeches Analyzed. *Political Linguistics Journal*, 3(26), 95—101. (In Russ.)]

Толерантность как культурная, политическая, лингвистическая проблема (анализ материалов СМИ и политического дискурса): монография. Н. Новгород: Деком, 2017. 304 с. [*Tolerantnost' kak kul'turnaya, politicheskaya, lingvisticheskaya problema (analiz materialov SMI i politicheskogo diskursa): monografiya* (2017). (Tolerance as a Cultural, Political, and Linguistic Problem (Analysis of Media Materials and Political Discourse): monograph). N. Novgorod: Dekom. (In Russ.)]

Харламова Т.В. Жизнь мифа в современном политическом медиадискурсе США и Великобритании // Медиалингвистика. 2016. № 4(14). С. 25—35. [Kharlamova, T.V. (2016). “Life” of Myth in Modern Political Media Discourse of the US and Great Britain. *Media Linguistics*, 4(14), 25—35. (In Russ.)]

Харламова Т.В. Проблема формирования национальной идентичности в России и США: динамический аспект // Медиакультурное пространство России, Европы и Северной Америки как пространство риска. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию гуманитарного образования в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского. Саратов: ООО Издательский Центр «Наука», 2016. С. 33—41. [Kharlamova, T.V. (2016). The Dynamics of Developing National Identity in Russia and the USA. *Proceedings of the International Scientific and Practical Conference Devoted to the 100th Anniversary of Liberal Arts Education in Saratov State University*. Saratov: Publishing Centre “Nauka”, 33—41. (In Rus.)]

Для цитирования:
Харламова Т.В. Рецензия на монографию Дубровская Т.В., Рева Е.К., Кожемякин Е.А., Ярославцева Я.Ф., Арехина Д.В. /под общ. ред. Дубровской Т.В. *Политический, юридический и массмедийный дискурс в аспекте конструирования межнациональных отношений Российской Федерации*. М.: Флинта: Наука, 2017. — 248 с. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2018, № 2. С. 480—488. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-480-488.

For citation:
Kharlamova, Tatiana V. Review of T.V. Dubrovskaya, E.K. Reva, E.A. Kozhemyakin, Ya.F. Yaroslavtseva, D.V. Arekhina (2017). ***Political, legal and mass media discourse in terms of discursive construction of Russia's international and interethnic relations.*** **Moscow: Flinta: Nauka Publ, 248 pp. (In Russ.)** ***Russian Journal of Linguistics*****, 22 (2), 480—488. doi: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-480-488.**

Сведения об авторе:
ТАТЬЯНА ВАЛЕРИЕВНА ХАРЛАМОВА — кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой романо-германской филологии и переводоведения Института филологии и журналистики Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Автор более 40 научных публикаций. *Сфера научных интересов:* политическая лингвистика, дискурс-анализ, межкультурная коммуникация. *Контактная информация:* e-mail: kharlamovatv@yandex.ru

Bionote:
TATIANA V. KHARLAMOVA is PhD, Associate Professor, Chair of the Department of Romance-Germanic Philology and Translation Studies, Institute of Philology and Journalism, Saratov State University. *Research interests:* political linguistics, discourse analysis, cross-cultural communication. Author of over 40 publications. *Contact information:* e-mail: kharlamovatv@yandex.ru

Russian Journal of Linguistics
Вестник РУДН. Серия: ЛИНГВИСТИКА
2018 Vol. 22 No. 2 489—492
http://journals.rudn.ru/linguistics

DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-2-489-492

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ *«ИНДИЯ И РОССИЯ: КРОСС-КУЛЬТУРНАЯ СИНЕРГИЯ»*, ДЕЛИ, ИНДИЯ 22—23 ФЕВРАЛЯ 2018 Г.

INTERNATIONAL CONFERENCE *“INDIA AND RUSSIA: CROSS-CULTURAL SYNERGY”*, DELHI, INDIA, 22—23 FEBRUARY 2018

22—23 февраля 2018 г., в Делийском университете, в Индии, прошла Международная научная конференция «Индия и Россия: кросс-культурная синергия», посвященная 70-летию создания первой в Индии кафедры русского языка в Делийском университете (в настоящее время это кафедра славянских и финно-угорских исследований), а также 70-летию установления дипломатических отношений между Индией и Россией.

Конференция получила поддержку руководства университета, Индийского совета по социальным наукам (ICSSR), Посольства Российской Федерации в Индии и Российского центра науки и культуры. На нее приехали как известные, так и молодые ученые и преподаватели из разных городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Казани, Иванова, Мурманска, Екатеринбурга, а также из других стран — Грузии, Турции и Шри-Ланки. Вместе с индийскими учеными они обсудили вопросы сотрудничества и взаимовлияния двух культур в области литературы, философии, лингвистики, журналистики, образования, музыки, живописи и кино.

Открыла конференцию заведующая кафедрой славянских и финно-угорских исследований Делийского университета, выпускница РУДН, Нилакши Сурьянараян, которая отметила важность проводимого мероприятия и определила цели и задачи конференции. Участников конференции приветствовали ректор Делийского университета профессор Йогеш Тьяги, Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Индии Н.Р. Кудашев, директор Российского центра науки и культуры Ф.А. Розовский, декан филологического факультета Российского университета дружбы народов В.В. Барабаш. На открытии конференции также выступила известный деятель образования и культуры Индии, историк, литератор и переводчик, лауреат премии имени С.А. Есенина Ачала Маулик — автор ряда книг по русской истории и литературе (Moulik 1977, 2008, 2010 и др.). За заслуги в области культуры, гуманитарных наук и литературы она была удостоена государственной награды Российской Федерации — Медали Пушкина. В докладах выступающих подчеркивалась необходимость продолжения сотрудничества между индийскими и российскими учеными в целях дальнейшего сближения и укрепления отношений между двумя странами и народами.

На пленарных заседаниях выступили известные индийские и российские ученые. Профессор Калпана Сахни (Центр русских исследований Университета

имени Джавахарлала Неру) начала свое выступление с рассказа о своем личном опыте жизни и учебы в Советском Союзе. В своем докладе под названием «Скрытые истории» она призвала аудиторию и молодое поколение выходить за пределы поверхностностного взгляда на историю и находить более глубокие и более удивительные исторические истины. Доктор исторических наук Е. Ю. Ванина, ведущий научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук, автор известной книги об Индии (Ванина 2007), посвятила свой доклад сопоставительному анализу взгляда на Индию со стороны России и Запада в 18-м и 19-м веках. Профессор Т.А. Гоголадзе (Государственный педагогический университет Гори, Грузия) показала восприятие Индии двумя путешественниками — Афанасием Никитиным и Рафаилом Данибегашвили. Доктор исторических наук С.И. Рыжакова (Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук) посвятила свой доклад взаимовлиянию русского балета и индийского классического танца. Кандидат филологических наук Е.Ю. Борзов (Ивановская государственная текстильная академия) рассказал о визите А. Тарковского в Индию.

На конференции работало несколько секций, где было заслушано в общей сложности 70 докладов. Особое внимание было уделено междисциплинарным и сопоставительным исследованиям в области языка и литературы (И. Аржанова, М.А. Загот, Т.В. Михайлова, Kumar Mudit, Saxena Ranjana, Kumari Riya, Jatotu Naresh и др.), вопросам преподавания русского языка как иностранного (Петрова Г.М., Пиневич Е.В.), преподаванию русского языка и литературы в Индии (Saini Sonu и др.) и преподаванию языка хинди в России (Соколова И.А., Панина Е.В.), а также проблемам перевода (Антоненко Д., Вепрева И.Т., Леонтович О.А.). Доклады участников конференции сопровождались презентацией книг, словарей и учебников (Загот 2014, Ларина 2017, Купина 2015 и др.).

Кроме декана филологического факультета профессора В.В. Барабаша, Российский университет дружбы народов на конференции представляли профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета Г.Н. Трофимова, которая посвятила свой доклад современным технологиям в преподавании русского языка как иностранного, и профессор кафедры иностранных языков филологического факультета, главный редактор журнала «Вестник Российского университета дружбы народов / Russian Journal of Linguistics» Т.В. Ларина, которая вместе с профессором Н. Сурьянараян на материале индийской и русской коммуникативных культур показала необходимость культурной грамотности для понимания и эффективного общения. Совместно с членами редколлегии профессором Н. Сурьянараян и профессором Волгоградского государственного социально-педагогического университета О.А. Леонтович Т.В. Ларина провела также презентацию журнала и пригласила участников конференции к сотрудничеству.

Отрадно заметить, что, помимо известных и состоявшихся ученых, на конференции присутствовало много молодежи — студентов, аспирантов и молодых ученых, которые получили уникальную возможность обогатиться полезными знаниями и приобрести новый опыт.

Во время работы конференции представители издательства «Русский язык. Курсы» и издательства «Златоуст» огранизовали выставку-ярмарку книг и учебников по русскому языку и культуре, которая вызвала большой интерес участников

конференции и студентов. Также были выставлены книги и журналы с публикациями преподавателей кафедры славянских и финно-угорских исследований и диссертации аспирантов.

По случаю знаменательной даты — 70-летия создания кафедры русского языка в Делийском университете и 70-летия установления дипломатических отношений между Индией и Россией — издательство Goyal Publishers & Distributors, специализирующееся на издании учебников иностранных языков, включая и русский, учредило стипендию для молодого преподавателя русского языка для поездки в Россию на курсы повышения квалификации.

При подведении итогов конференции выступающие отметили высокий уровень ее организации и выразили большую благодарность организаторам, которые, помимо научного общения, предложили гостям прекрасную культурную программу. Гости Делийского университета получили возможность познакомиться с известным танцевальным коллективом индийского классического танца бхаратанатьям под руководством Гиты Чандран, лаурета государственной премии Падмашри. В продолжение темы конференции ансамбль исполнил классические танцы как под индийскую музыку, так и, к удивлению и восхищению всех присутствовавших, под музыку П. И. Чайковского. В Российском центре науки и культуры с музыкальной программой выступили участники конференции — заслуженный работник культуры Российской Федерации, доктор филологических наук, профессор Российского университета дружбы народов Г.Н. Трофимова и литературный переводчик, поэт-песенник, доцент Московского государственного университета М.А. Загот. После концерта посол Российской Федерации пригласил участников конференции на торжественный ужин.

Конференция в очередной раз продемонстрировала особый характер отношений между двумя странами, которые отличаются теплотой и взаимопониманием, и дала новый толчок их развитию на уровне академического сотрудничества.

© Нилакши Сурьянараян, 2018

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Ванина Е.Ю. Средневековое мышление: индийский вариант. М.: Восточная литература, 2007. [Vanina, E.Yu. (2007). Srednevekovoe myshlenie: indiiskii variant. Moscow: Vostochnaya literatura Publ. (In Russ.)]

Загот М.А. Ищите и найдете, или Англо-русский словарь библеизмов для всех и каждого. М.: Валент, 2014. [Zagot, M.A. (2014). Ishchite i naidete, ili Anglo-russkii slovar' bibleizmov dlya vsekh i kazhdogo. Moscow: Valent (In Russ.)]

Купина Н.А. Тоталитарный язык: Словарь и речевые реакции. Изд. 2—3 испр. и доп. Екатеринбург: Изд-во урал. ун-та, 2015. [Kupina, N.A. (2015). Totalitarnyi yazyk: Slovar' i rechevye reaktsii. 2-nd edition. Ekaterinburg: Uralskiy University Publ. (In Russ.)]

Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации: учебник для студ. учреждений высш. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2017 [Larina, T.V. (2017). Osnovy mezhkul'turnoi kommunikatsii. Moscow: Akademiya Publ. (In Russ.)]

Moulik, Achala. (1976). Silhouettes of Russian Literature. Mysore University Publ.

Moulik, Achala (2010). A Hundred Years of Lev Tolstoy and the Indian Connection. Har Anand Publications, New Delhi.

Moulik, Achala. (2008). Pushkin's Last Poem — A Play. National Book Trust of India.

Сведения об авторе

НИЛАКШИ СУРЬЯНАРАЯН — доктор, заведующая кафедрой славянских и финно-угорских исследований Делийского университета. *Сфера научных интересов*: русский язык, литература и кино, межкультурная прагматика, сопоставительные исследования стилей коммуникации, коммодификация русского языка. *Контактная информация*: neelakshi55@yahoo.co.in

Bionote

NEELAKSHI SURYANARAYAN is Dr, Head of the Department of Slavonic and Finno-Ugrian studies. Her research interests include Russian language, literature and cinema, intercultural pragmatics, comparative studies of communicative styles, commodification of Russian. *Contact information:* neelakshi55@yahoo.co.in